

ВЛАДИМИР
БРАГИН

В
СТРАНЕ
ДРЕМУЧИХ
ТРАВ



Владимир Брагин

В стране дремучих трав

Роман-сказка

От автора

Удивительные живые существа владеют этой страной. Одни из них, находясь на охоте, с такой точностью, умеют своим стилетом поразить добычу, что она не может двинуться с места — остается ни жива и ни мертва.

Другие существа здесь наряжаются так, что враг, находясь совсем рядом, не замечает их. Они как бы превращаются в невидимок.

Некоторые обитатели этой страны десять лет живут так скрытно, что нельзя даже подумать, будто они и существуют. Но затем они меняют образ жизни, появляются на короткий срок и погибают.

За десятки километров находят обитатели этой страны нужное им направление.

Здесь бывает так, что некоторые существа, желая избавиться от непрошеного гостя, проникшего в их город, набрасываются на него и замуровывают живого в стене. Из чего только не строят здесь дома! Не только из древесины, но из бумаги и шелка, из цемента и листьев. Выделывают в этой стране картон и нитки, гамаки и глиняные горшки, воск, вату, спирт...

В разное время на разных языках описывалась жизнь и приключения человека, оказавшегося в этой стране.

Более десяти лет назад в книге «В Стране Дремучих Трав» (Детгиз, 1948) было рассказано о судьбе одного человека, Сергея Думчева, прожившего около сорока лет в этой стране, и о том, как он вернулся в город Ченск.

За истекшие годы я получил от читателей много писем, в которых нашел интересные советы, а также указания на некоторые неточности в описании Страны Дремучих Трав. Теперь, подготовив вторую редакцию романа, я жду дальнейших откликов на свой труд.

Но что это за страна? Где она находится? Со слов людей, которые в ней побывали, я и повелю свой рассказ. Но он будет чуть-чуть странен...

Предисловие

Около десяти лет назад, после знакомства с первым изданием романа Владимира Брагина «В Стране Дремучих Трав», я поместил в журнале «Новый мир» свой отклик на это динамическое и своеобразное произведение. Там я говорил, что научно-фантастический роман является тем жанром, который мы должны всемерно развивать. Значение книг этого жанра состоит не только в познавательности, а и в том, что сама фантазия нашего юношества в значительной степени воспитывается чтением научно-фантастической и научно-приключенческой литературы, а следовательно, к произведениям этого жанра мы должны всегда предъявлять повышенные требования. Тогда же я высказал мнение, что роман В. Брагина «В Стране Дремучих Трав» отвечает в значительной степени вышеуказанным задачам.

Автор романа, основываясь на обычном приеме научно-художественной литературы (перемена масштабов), создал оригинальное произведение и ввел нас в мир энтомологии.

Сказочно уменьшив героев в сто — двести раз, автор позволил увидеть и ощутить ту жизнь, мимо которой мы проходили, не замечая ее. Это жизнь различных насекомых: муравьев, пчел, ос, бабочек, жуков, тлей, а также разных видов пауков, населяющих Страну

Трав и маленький ручеек, который теперь для героев романа превратился в Великую Медленную реку. Таким образом, книга В. Брагина содействует познанию жизни насекомых в свойственной им среде. А мы знаем, какое большое практическое значение это имеет для борьбы с многочисленными вредителями нашего сельского хозяйства. Такая борьба возможна только при хорошем знании мира насекомых, и большой заслугой В. Брагина является то, что он дает нашему юному читателю эти знания в художественной, увлекательной форме.

Автор не скрывает, что судьба главного героя романа — Сергея Думчева очень трагична. Но вместе с тем с большой выразительной силой и поэтичностью в романе показано, что герой «освоил» Страну Трав, смог своим разумом победить инстинкты обитателей этой страны, и все время, находясь в опасности, он тем не менее продолжал свои поиски, делал открытия, изобретал. Эта крепкая оптимистическая нить проходит через весь роман.

Книга В. Брагина содержит большой познавательный материал, она затрагивает ряд общебиологических вопросов и тут же без всякого напряжения сообщает интересные сведения из истории техники.

Автор весьма умело организует и распределяет в сюжете романа этот материал из биологии и техники, чем и помогает читателю понять органическую взаимосвязь разных наук.

Это может послужить весьма положительным примером для других авторов, приступающих к работе в жанре научно-художественной литературы. Книги, написанные в таком плане, помогут выработать материалистический взгляд на природу.

Занимательность сюжета, хорошо поданный познавательный материал, смелое сочетание реализма с фантастикой, оптимизм — все это разрешает нам рассматривать талантливый роман «В Стране Дремучих Трав», как интересный опыт вхождения искусства в науку, как опыт серьезного новаторства, где намечаются своеобразные пути в большом и важном жанре научно-художественной литературы.

Академик А. И. Опарин.

Часть первая Чужой букет цветов

Итак, в путь

«Конечно, Солнцу нет дела до человека. Но у человека всегда было дело к Солнцу. Больше чем две тысячи лет назад Эратосфен при помощи тени от Солнца вычислил величину земного шара, подсчитал, что окружность Земли по экватору равна 250.000 стадий, примерно 38.000 верст! А ведь тот мир, который мог знать древнегреческий географ Эратосфен, был так мал, так мал!..

Я черчу на песке мир Эратосфена — без Америки, без Австралии. Теплые берега Средиземноморья... Персия... Скифия... Мир был так мал! Но вот предстала перед Эратосфеном оглушающая цифра — 250.000 стадий! И не испуг, не беспомощность, а дерзание, жажда узнать, открыть, увидеть — овладели душой человека. Перед Эратосфеном мир расширился и разрастался постепенно, от одного неторопливого математического подсчета к другому. Но передо мной мир и предметы выросли сразу. Вдруг! В сто, в двести раз! Отчаянный час, непонятный миг!

...Сегодня я уложил дорожный мешок. В нем — дневник наблюдений и открытий, сделанных мною в этой стране. Бесконечен путь, необозримы пространства, которые надо пройти с вьючным животным. Беспокорство и страх

овладевают мною.

Сумерки скрывают чертежи на песке. Пора спать...»

«Дописываю этот последний листок за № 2876 рано утром.

Вчера, когда ночь скрывает чертежи на песке, я долго смотрел на звезды. Почему-то подумал, что они живут одиноко и грустно в своем небе. Пожалел их. Я сказал им: «Не скучайте!» При помощи водяных выстрелов-толчков движется личинка стрекозы. По этому принципу летит в небо горящая ракета во время больших праздников и народных гуляний. При помощи этого же способа люди поведут свои воздушные корабли с Земли на Луну и к вам, далекие планеты. Веселее и теплее станет на них от людского говора и смеха. Что? До вас далеко? Ничего, человек долетит! Личинка стрекозы — живой ракетный двигатель! Его я увидел здесь в действии. Это только одно из многих открытий, записанных мною в дневнике, который я понесу и передам людям.

Задвигая камнем вход в свой дом, я сказал звездам: «Покойной ночи!» И они еще ярче засверкали мне в ответ и даже чуть-чуть качнули в небе своими ресницами-лучами. Сегодня я укладываю в дневник открытий и этот листок. Хорошо! Сердце спокойно. Ни робости, ни страха. Вьючное животное на привязи. Дижонваль... Дижонваль... Иду проверить погоду по его барометру. Пока дошел, думал о Поливанове... Барометр предсказывает: ясно, тепло.

Итак, в путь! За долгие годы ни разу не обманул меня этот барометр...»

Степан Егорович Тарасевич, директор Ченского педагогического института, чуть улыбнулся:

— Необычность текста, упоминание несуществующей системы барометра, а равно и то, что кто-то зачем-то в десятки раз уменьшил текст неизвестным способом, так что текст пришлось читать под сильнейшей лупой, чтобы продиктовать машинистке, — все это вместе взятое может действительно озадачить кого угодно.

При этом Степан Егорович пристально посмотрел на спичечную коробку, в которой я принес тончайшие, крошечные листочки с микротекстом.

— Да. Вы говорите, что листочки оказались в букете цветов, который случайно бросили к вам в номер гостиницы? Не так ли? Но ведь это шутка! Вы сейчас убедитесь. Я вызову студента Белянкина, и он разъяснит нам, почему для шуточной переписки с друзьями им был выбран столь странный метод и столь странный текст.

— И уменьшение этого текста при помощи фотоаппарата, по-видимому, тоже ради шутки?

— Конечно!

— Но студент Белянкин уже отказался: не он писал, не он уменьшал эти листочки.

— Так и сказал? Вам? При студентах?!

— Да!

— Ну-с, знаете!.. Вы человек новый, неожиданный в институте. — Профессор Тарасевич неторопливо и мерно постучал согнутым пальцем по столу, со слегка скрытой иронией посмотрел на меня. — Вы, кажется, литератор из Москвы? В институте идет своя обычная жизнь, и вдруг... трах! Появляетесь вы, незнакомец, в руке букет цветов и спичечная коробка. В коробке листки, а в них — изложение фантастических выдумок и чувств Белянкина. И неудивительно — юноша смутился, опешил: нет, не я писал!

— Но в письме, которое мы только что прочли, нет ни слова шуточного, смешливого, а есть взволнованный разговор о каком-то путешествии, об Эратосфене, о каком-то вьючном животном...

— Согласен, странно. Но думаю — и писал и уменьшал при помощи фотоаппарата Белянкин. Для шутки! Сейчас вызову его. — Директор открыл дверь: — Ирина Сергеевна,

пожалуйста... Простите... — Он обернулся ко мне: — Секретаря нет на месте. Сейчас студентов попрошу позвать.

Директор ушел.

Где-то в длинных коридорах института гулко отдавалось: «Белянкина к директору... Белянкина к директору!»

Беспокойная радость

Как это все случилось? Ведь в Ченске я только проездом. Мне надо быть в кассах пароходства, ехать дальше морем в один из курортных городков, а я — в Педагогическом институте и сижу в кабинете директора в кожаном кресле. Вместо блеска морской волны — блеск стекол книжных шкафов; вместо беспредельной глади — зеленые, слегка выгоревшие шторы на окнах. Зачем я жду студента Белянкина и директора института Степана Егоровича Тарасевича? Седой, спокойный, немного усталый человек, он, наверное, свободно и просто общается со студентами, всегда вникает во все подробности жизни института.

Скоро ли он вернется?

...Последние дни и ночи в Москве, неутомные и хлопотливые, полные тревог и опасений за успех пьесы, крайне утомили меня. Сел в поезд. Трое суток пробыл в пути. Остановился в Ченске, чтобы пересесть на пароход.

Поезд пришел вчера рано утром. С вокзала я сразу отправился на пристань. Спросил о прибытии парохода.

Ответили:

— Ждите! Пароход в нужном для вас направлении будет завтра.

Потом осматривал городок. Обедал. А уж после этого отправился в гостиницу. С главной улицы, мимо магазинов с большими светлыми витринами под парусиновыми тентами, я свернул в переулок, сбегавший с горы.

Переулок мостили. Гарь от горячего асфальта и пыль стояли в воздухе. Но сладкий запах резины, тягучий, мягкий запах левкоев, густой запах роз неотступно следовал за мной из всех палисадников переулка.

Где-то слышался певучий звук поперечной пилы. И стучали-стучали топоры, отрывисто и четко, то перебивая, то догоняя друг друга.

Двухэтажный дом гостиницы был построен, наверно очень давно. Выглядел он довольно несуразно. Первый этаж был каменный, второй — деревянный. В первом этаже, видно, когда-то помещались лавки двух хозяев: две двери по обе стороны дома вели на второй этаж. Теперь через одну дверь входили в гостиницу; над ней вывеска — «Волна». Вторая дверь, по-видимому, вела в квартиры.

В светлом коридоре гостиницы за столом сидела девушка. Я увидел прямой пробор и дважды обвитые вокруг головы косы. Она низко склонилась над книгой.

— Можно ли получить номер?

Не отрываясь от книги, девушка произнесла:

— «Простите, Эдмон... простите ради меня, ради моей любви к вам!»

— Я не Эдмон, не граф Монте-Кристо, — сказал я девушке, читающей книгу.

— «Достоинство замужней женщины остановило порыв истерзанного сердца», — прочла вслух девушка и, положив указательный пальчик на строчку книги, посмотрела на меня: — Простите, гражданин, никак не могу остановиться.

— Есть ли свободные номера?

— «Чело ее склонилось почти до самого пола».

— Мне нужен номер на сутки. Завтра уезжаю...

— «Граф бросился к ней...»

Приподняв свой чемодан, я повернулся к дверям, хотел было уйти, оставив девушку читать вслух роман Дюма «Граф Монте-Кристо», но снова спросил:

— Есть ли свободные номера? Девушка повторила:

— «Граф бросился к ней...» — и протянула руку к стене, на которой висел небольшой плоский шкафчик с открытой стеклянной дверцей.

В шкафчике на крючках висели ключи с номерками. Дежурная, не отрывая глаз от книги, сняла с крючка ключ, протянула его мне и сказала:

— Заполните листок по форме — это первое; оставьте восемь рублей — это второе. А третье... да... «Боже мой, я называю вас Эдмоном, почему вы не называете меня Мерседес?»

— Но позвольте, Мерседес, — сказал я дежурной, — я не граф Монте-Кристо...

— Да, — внимательно посмотрев на меня, вздохнула девушка, — какой же вы граф Монте-Кристо... Если вздумаете прожить больше суток в гостинице, не забудьте предупредить меня.

Я хотел было что-то сказать, о чем-то спросить, но безнадежно — дежурная по гостинице навсегда ушла в книгу.

Я пошел с ключом по длинному коридору.

В номере — гардероб, стол, покрытый вышитой белой скатертью, умывальник, несколько стульев. Чистотой сверкали вымытые доски пола.

Распахнул окно, облокотился на подоконник. Какие маленькие домики напротив! Окна небольшие, квадратные, с легкими занавесками. В створках ставней вырезаны маленькие сердечки.

На крылечках сидят старушки. Я не слышу, о чем они говорят. Но, видно, медленно, не спеша, с расстановкой тянется, все тянется их разговор. Просты и незатейливы их слова... О чем?.. Как поострее приготовить баклажанную икру, как лучше засушить виноград, какие средства существуют от ломоты в пояснице, а может быть, жалуются на то, что теперь солнце не так греет и чаще идут дожди.

Мог ли я предвидеть, мог ли предугадать, что здесь, в этом городе, в 19.. году, в тихий летний вечер, всего через несколько минут, я стану участником таких событий, в достоверность которых я потом едва поверю!

Из-за угла показались юноша и девушка. Они идут медленно-медленно. Возможно, они идут так медленно, чтобы подольше побыть друг с другом. Они молчат: верно, собираются сказать друг другу какое-нибудь заветное слово — всё собираются с духом и не соберутся. Вот они остановились под моим окном. И мне слышно, как девушка говорит:

— Спасибо, Павлик, вот я и пришла. Посмотрите, каким большим стал фикус, отросток которого ваша мама мне дала.

По-видимому, окно квартиры девушки было совсем рядом с моим. Когда она указывала на фикус, мне показалось, что она смотрит на меня.

— Лена! Я хочу вам сказать... Лена смеется:

— Ты знаешь, о чем я думаю? О чудесах. Вот этот фикус, на моем окошке, обыкновенный фикус в старом глиняном горшке, а я смотрю на него и слышу, как шуршат гигантские змеи, проползающие мимо фикусов в джунглях. Вижу, как, задевая фикус огромными серыми боками, проходит задумчивый слон с маленьким слоненком... Ах, Павлик! Фикусы растут не в глиняных горшках на подоконниках, а в тропических джунглях. Ведь оттуда их когда-то привезли. Павел... Павлик, каждое растение — это чудо, тайна.

— Понимаю... понимаю... опыление...

— «Опыление»! Ой, скучно! Рыльца, пестики, пыльца... А краски? Запахи? За городом так много полевых цветов!.. Вы там живете... И ни одного букетика, ни одного букетика...

— Я тороплюсь всегда подольше быть с тобою... и некогда их собирать... Я все хочу, хочу вам сказать...

Они говорят друг другу то «вы», то «ты».

— Еще зимой вот здесь... помнишь... тогда была сильная вьюга. Зимой... Вы точно так же начали: «Лена, я собираюсь вам сказать...»

— Я тогда не сказал, потому что... — отвечает Павел, — потому что у тебя замерзли руки и я хотел, чтобы вы скорее отогрелись у печки...

— Теперь вьюга не мешает нам. Говори!
— Я многое тебе говорю, когда один.
— Но я тогда не слышу.
— Несколько раз я вам писал длинные-длинные письма. — Но я их не получала.
— Не решался отправить. Боялся. Учиться вместе в одном институте, видеть друг друга каждый день и... писать письма...

— Лена! Леночка! — послышался голос из соседнего окна. — Пора ужинать!
— Иду, иду, мама!.. Прощайте. Жду удивительных писем и цветов, полевых цветов. Большой букет!

Скоро за деревянной стеной моего номера послышались приглушенные голоса, звон посуды.

Время шло. Уже темнело. А я все стоял и стоял у окна.

Горели звезды на небе. И в густой темноте под звездами совсем по-другому зазвучали гудки пароходов.

Откуда-то издали приходили и уходили звуки: обрывок песни, торопливые шаги прохожего, смех из-за занавески чужого окна. А я думал о хорошем чужом счастье, о том, как беспокойна бывает радость.

И мне казалось: я очень давно знаю этот городок, знаком и этот номер гостиницы и когда-то я уже слышал что-то очень похожее на разговор Павлика и Лены. А может быть, так показалось, потому что сам я, как Павел, когда-то провожал кого-то и был полон радости, смущения и хороших слов. Хотел много сказать, но молчал. Писал письма, но не отправлял...

Я включил настольную лампу. В окно влетела большая бабочка.

Она покружилась над столом и прильнула к абажуру.

Я бережно снял ее и подошел к окну:

— Лети, ночной гость!

Она отлетела и вернулась к лампе, опять села на абажур.

Я снова снял ее.

Раздался резкий писк. Я хорошо ее рассмотрел: на спинке желтый рисунок, напоминающий череп. Передние крылья черно-бурые. Я снова поднес ее к открытому окну. Лети! И она улетела.

Городок спал. Было совсем тихо. Вдруг рядом за стеной, где живет Лена, кто-то заиграл на пианино. Знакомая дорогая мелодия. Не доиграли — мелодия оборвалась. То ли слишком загрустил тот, кто играет, то ли вспомнил о чем-то и задумался. Я ждал, скоро ли опять заговорит пианино. Не дождался. Хорошо, когда ты молод и юность не прошла. Хорошо Лене ждать цветов... Павлу их собирать, волноваться... приносить... передавать из рук в руки. А мне пора спать.

В соседней комнате погасили лампу: светлый квадрат окна, спокойно лежавший на земле за досками тротуара, вдруг потух. Я выключил свет в номере. И почти сразу же услышал торопливые шаги по доскам тротуара. Кто-то почти бежал. Остановился. Что-то влетело в мою комнату и упало на пол. Шаги быстро удалились. Зажег свет — букет! Сразу догадался. Подбежал к окну:

— Павел! Павел!..

Улица была пуста.

Долго и осторожно наливал я воду в кувшин. Бережно поставил в него чужой букет. Чужой букет!

Чужой букет цветов

Пришло утро с жарким солнцем, посылающим зайчиков плясать по стенам и двери, с острым свистом стрижей, пролетающих мимо окна, с круглым чайником на столе и далекими гудками, которые теперь звучали бодро, смело и дерзко.

Букет, собранный Павлом и по ошибке брошенный ко мне в окно — розовые цветы дикого шиповника, окруженные голубыми глазками незабудок, — этот букет приветливо смотрел на меня из кувшина с водой.

Да, надо зайти в соседнюю квартиру и передать его по назначению.

Я взял осторожно цветы. Чтобы вода стекла в кувшин, чуть-чуть встряхнул их. И... на белую скатерть из букета полетели два крошечных квадратика бумаги. Что это? С недоумением глядел я на них, рассматривая. На каждом крошечном листочке виднелись какие-то знаки. Письмо? Мне вспомнился вчерашний разговор под окном: «Несколько раз я вам писал длинные письма». — «Но я их не получала». — «Не решался...» — «Жду удивительных писем и... полевых цветов».

Вряд ли можно было и под лупой прочесть это письмо. Но, даже если бы у меня и была лупа, я не стал бы читать чужие письма. Я взял листочки и положил в спичечную коробку. Все это надо отдать...

В квартире Лены мне сказали, что она в институте. Оставить цветы? Но как сказать, объяснить — от кого? Что же делать с крошечными листочками? И я пошел в институт.

Незавидное дело — идти по незнакомому городу, держа в руке букет чужих цветов, спрашивая прохожих, как лучше пройти к Педагогическому институту, читать названия улиц и думать... о чужой любви.

Все чувства и мысли, вероятно, изложил Павлик на крошечных листочках. Как он это сделал? При помощи микрофотографии? Видно, немало труда потратил он, чтобы написать эти две записки, сфотографировать их, а при печатании — уменьшить. Будто бы слово, уменьшенное фотоаппаратом, звучит спокойнее и точнее... Пожалуй, в институте лучше передать это послание Павлу — тому, кто писал, а не Лене.

Я прошел через густой городской сад и вдруг в испуге остановился: мне показалось, что спичечная коробочка с микрописьмами вывалилась. Нет, вот она!

Наверное, всякий раз, когда Павел встречал Лену, им овладевали застенчивость и робость: создавался порог, который он не смел перешагнуть.

А вот и Педагогический институт: большая дверь из черного дуба, на солнце блестят полированные медные ручки.

Я обстоятельно описал старику сторожу института все приметы того юноши, которого видел вчера вечером, но по этим приметам сторож не знал, какого Павла позвать.

Разве мало студентов, которых зовут Павлами, учиться в институте? Еще минута — и я оказался бы в довольно смешном положении. Чего доброго, пять или десять юношей — и каждого зовут Павлом — окружили бы меня, а я протягивал бы всем им букет цветов. Что делать? И тогда я рассказал сторожу, что вчера вечером видел того Павла, который провожал студентку Лену до ее дома.

— А-а, Павла Белянкина, — протянул сторож. Через минуту Павел стоял передо мной. Я представился. Юноша с недоумением посмотрел на меня.

— Вот ваш букет. Он случайно залетел ко мне в окно гостиницы. Простите, он немного завял...

Юноша неловко взял букет. Он был удивлен:

— Стоило ли беспокоиться? Цветы всегда вянут...

Странно, — подумал я, — почему он не беспокоится о письме?».

Я протянул ему спичечную коробку:

— Вот ваши микрописьма.

— Что? Какие письма?

— В букете, который вы бросили в окно, были фотописьма.

— Фотописьма?.. Я не занимаюсь фотографией.

— Но ведь фотописьма были в вашем букете! Ваши фотописьма...

Лицо Павла стало злым. Черты его обострились. Я не увидел и следа вчерашнего смущения и робости. Он с подозрением посмотрел на меня.

— Не навязывайте, гражданин, мне чужие письма! — Но ведь... ведь...

— Оставьте меня в покое! И знаете что... До свидания!

Я не знал, что сказать. Смешное, нелепое положение: полутемный вестибюль института, длинные ряды пустых вешалок за барьером, я со спичечной коробкой, с микрописьмами в протянутой руке, а Павел — в другом конце зала — засовывает в урну букет, который я бережно нес через весь город.

Вдруг дверь одной аудитории открылась, и шумная группа студентов ворвалась в зал. Они, видно, еще не остыли после полученной только что консультации и яростно спорили.

— Павел, что случилось? — узнал я голос Лены.

Я попытался что-то объяснить. Все сразу замолчали и с недоумением посматривали на меня.

— Не пройдет ли вы в кабинет? — сказал мне человек со спокойными, уверенными движениями, перед которым расступились студенты.

Вот при каких несколько странных обстоятельствах я оказался не на пароходе в море, а в кабинете директора Педагогического института — Степана Егоровича Тарасевича. Сажу и смотрю на стол, где лежат две крошечные записки с микротекстом, а рядом с ними — обычные листы бумаги. На них машинистка напечатала, через два интервала текст, который читали под сильной лупой.

Жду. Вот сейчас вместе с директором института придет автор микрозаписок студент Белянкин. Он скажет, что все это его личное дело, шутка, как справедливо утверждает Степан Егорович. Дождусь их прихода отправлюсь на пристань.

Три вопроса профессора Тарасевича

Директор положил перед студентом спичечную коробку с листочками и текст, переписанный на машинке:

— Белянкин, ответьте, пожалуйста, на три вопроса. Первый: что за странная манера вести переписку при помощи микрофотографии? Вопрос второй: почему вы отпираетесь от своих писем и так нелюбезны с человеком, который деликатности ради возвращает их вам? А теперь и третий вопрос: из писем видно, что вы собираетесь в какое-то длительное путешествие. Я не против туризма, но скажите, пожалуйста, что это за барометр... Дижонваля?

— Степан Егорович, не писал я этих писем! Я сразу об этом сказал еще там, у вешалки!

— Как же так? Букет — ваш, а листки в этом букете — чужие?

— Степан Егорович, действительно цветы я собирал, но записок этих не писал. Я накануне другое письмо написал и собирался отдать. Вот оно! Впрочем, я не могу вам его показать, это только для... Ну, словом, личное... — Белянкин смутился и замолчал.

В его ответе чувствовались правдивость и юношеская искренность, а в самой недоговоренности — беспокойство: разве можно, чтобы не Лена, а кто-то другой прочел его письмо? Студент стоял перед нами молчаливый и сосредоточенный, и рука крепко сжимала письмо. И как раньше там, в вестибюле, где я пытался вручить вместе с букетом крошечные листки, так и здесь, в кабинете, я разглядел на его побледневшем лице оттенки злости и негодования: зачем кто-то чужой и посторонний вмешивается в его жизнь.

— Хорошо, Белянкин, я вас больше не задерживаю, — сказал директор.

Белянкин уже был у дверей, когда Тарасевич с неожиданной для него горячностью воскликнул:

— Как же эти странные листки вдруг оказались в букете студента моего института?

— Степан Егорович, — обернулся к нам Белянкин, — видно, листки кто-то уронил на цветы.

— А где вы собирали букет?

— Около старой, заброшенной беседки, что за рощей.

Вечером... Съездил на попутной машине — туда и обратно. Там еще база Райпищеторга.

Когда за студентом закрылась дверь, директор сказал:

— Итак, все ясно! Эту шутку сыграл с вами не студент моего института.

Степан Егорович взял коробочку, где лежали листочки с микротекстом, затем сложил вдвое листы бумаги, на которых этот текст был перепечатан, и протянул все это мне с любезной улыбкой:

— Возвращаю, как говорится, по принадлежности. Мне снова бросились в глаза слова: «Эратосфен... личинка стрекозы... Дижонваль»... Условный текст?

— Расскажите лучше, что нового покажет в наступающем театральном сезоне Художественный театр в Москве... Как? Ваша пьеса там не пойдет? Сожалею...

— Простите, Степан Егорович, студент Белянкин сказал, что букет был сорван у какой-то развалившейся беседки...

— Хорошо! Понимаю. Я пошлю туда Белянкина и других студентов.

— Искать в траве другие такие листочки?

— Искать того, кто их уронил на цветы. Студенты побывают там и разузнают, кто занимается столь странными шутками. Как жаль, что мне нельзя ни на час отлучиться из института! А то я бы пошел с ними. Дорога живописная, ведет к дачному поселку научных работников. Поселок имени Ломоносова.

— Степан Егорович! А не кажется ли вам, что вся загадка скрыта в одном слове «Дижонваль»?

— Да, да, я забыл вам сказать... Я не поленился и заглянул на кафедру физики. Про барометр Дижонваля там и не слышали. Тут что-то не то... А неужели Художественный будет ставить современный водевиль?..

Размышления и сомнения

Какими необычайными картинами расписаны стены в ресторанчике!

Белый медведь, стоя на льдине, вытянул свою морду и почему-то касается носом острого паруса лодки, уходящей в даль неестественно голубого моря. А на другой стене — дети, сидя на корточках, пускают маленький бумажный кораблик в бурный ручей.

К потолку прибиты рога горного козла. С них свешиваются лампы под яркими цветными бумажными абажурами.

Я ел какое-то непонятное мясное блюдо с тушеными помидорами, пил стакан за стаканом крепкий чай и думал: «Уже третий день я собираюсь уехать из города и все не уеду».

Белянкин и его товарищи искали, смотрели, нет ли около беседки следов, примет человека, который уронил там загадочные листки, расспрашивали окрестных жителей, разглядывали чуть ли не каждую травинку, каждый цветок. Но студенты ничего не узнали, ничего не нашли. «Пора уезжать!» — говорю я себе. Этот городок очень мил, но не оставаться же здесь для разгадки кем-то предложенного ребуса. Да, пора уезжать! Завтра же. Однако странное дело: ведь я согласен с профессором Тарасевичем, что листки с микротекстом — чья-то смешная затея? Согласен! Но все же, но все же искренний тон странных листков, спокойная их серьезность заставляют меня искать в них какой-то особый смысл, бывать в библиотеке, читать справочники... Так проходят дни. Я все не уезжаю из городка. Чего-то жду. Мне чудится, будто чья-то участь, участь путешественника, отправившегося в тяжелый путь, скрывается в этих листках.

Люди приходят в ресторан. Уходят. У каждого своя жизнь, своя судьба. Музыканты сидят на эстраде. Играют, Смотрят на входящих с бесстрастным выражением глаз. Но музыка их вовсе не бесстрашна. То грустью, то весельем звенят струны.

Из отдельных слов микротекста видно, что путешественник пробыл долго в чужой

стране, сделал много открытий. Вел там дневник. Этот дневник он везет...

Путешественник, говоря об ученом древности, указывает, что мир перед Эратосфеном разрастался от одного неторопливого подсчета к другому. Эратосфен, живший очень давно (с 276 по 194 год до нашей эры), действительно первый в истории человечества установил длину окружности земного шара. Но как понять, почему перед автором микрозаписок окружающий его мир вдруг вырос в сто или двести раз?.. И потом, в листочках упоминается Дижонваль. Барометр Дижонваля!

Просто удивительно, почему из Москвы все нет ответа на мою телеграмму Чарушину о барометре Дижонваля. Что за чудесная картотека имен и терминов у моего давнего друга! Он начал ее составлять чуть ли не со школьной скамьи, день за днем. И нет, кажется, вопроса, на который его картотека не ответила бы.

Митя Чарушин, всегда точный и аккуратный, влюблен в свою картотеку. Его золотое правило: каждому, кто к нему обратится с вопросом, он сразу же либо телеграфно даст ответ, либо в подробном письме попросит уточнить вопрос. Но Чарушин молчит. Уж не смешным ли ему показался мой «барометр Дижонваля»?

Сегодня опять пересмотрел в библиотеке все справочники, но ничего не отыскал о барометре Дижонваля. Странно, почему на листках есть слово «версты»? «38.000 верст». Версты... Почему версты, а не километры? Значит, писал человек пожилой, такой человек, который привык считать расстояние верстами, по-старому... Следовательно, неведомый автор листков — человек пожилой.

Может быть, эти листки написаны много лет назад? Но, во всяком случае, уменьшение текста при помощи фотографирования было сделано в день или накануне того дня, когда эти листочки были найдены на цветах. Иначе крошечные листы под первым же дождем развалились бы.

Тарасевич сказал, что все это чья-то шутка. Придется с ним согласиться.

Ресторан опустел. Гасли огни. Давно ушли музыканты. Я сидел за столом, а на меня со льдины, нарисованной на стене, устало смотрел белый медведь: не пора ли тебе уходить?

Раздумывая, я медленно брел по ночным улицам городка. Как отгадать, как прочесть странные листки? И кто, наконец, их автор?

Спал городок. Ночь тянулась над ним не спеша и осторожно. По обеим сторонам улицы дремали тополя, которые столько видели за свой долгий век. Тихо и покойно было кругом. Но откуда эта печаль на душе? В кармане у меня лежит спичечная коробочка с листочками.

Я остановился и мысленно повторил несколько фраз, показавшихся мне столь странными, когда впервые листки были прочитаны. И вдруг здесь, на тихой улице городка, мне пришло в голову: так для шутки и забавы не пишут. Но тогда кто же этот путешественник? Где он? И где остальные листки дневника? Этот путешественник пишет, что ему предстоит долгий путь «Необозримы пространства, которые мне надо пройти с моим вьючным животным. Беспокойство и страх овладевают мною». Что с ним случилось?

Как же так? Завтра я уеду из городка и увезу на дне чемодана спичечную коробочку с листочками, которые не прочел как надо и даже не мог догадаться, для чего их уменьшали. Вот о чем думал я ночью, возвращаясь в гостиницу, и чувствовал: мне стал дорог этот неизвестный путешественник, о котором ничего, совсем ничего не знаю.

Дежурная по гостинице, как всегда не отрывая глаз от книги, сказала:

— Вам письмо. Оно в номере. На сколько суток вы оставляете за собой номер?

Барометр Дижонваля существует

«Дорогой Григорий Александрович!

Твоя телеграмма с запросом о барометре Дижонваля не застала меня в Москве. Был в Новгороде. Шел по следам жизни одного замечательного землепроходца.

Сегодня вернулся в Москву. Прочел твою телеграмму. Ты спрашиваешь меня, знаю ли я

что-либо о барометре Дижонваля. Знаю, что ни в производстве, ни в продаже такого барометра никогда не было. Все? Нет! Такой барометр был, есть и будет Думаешь — шутка, парадокс, анекдот? Ничуть. Он существует Ты, конечно, знаешь, что среди генералов Наполеона Бонапарта был один, о котором Наполеон, уже на острове Елены, писал, что он был самым талантливым из всех его полководцев Это Пишегрю. Его биография в известном смысле примечательна и трагична, но не буду сейчас ею заниматься Перехожу прямо к твоему вопросу.

Так вот. Декабрь 1794 года застал Пишегрю в походе — он вел французское республиканское войско на Голландию и с успехом продвигался вперед Но в один далеко не прекрасный для Пишегрю день природа нарушила его планы Дождь, слякоть, все дороги размыты, реки разлились, войску продвигаться нельзя. Неудача грозит всему походу. Пишегрю принимает решение — отказаться от наступательных действий. Но вдруг из Утрехта — из Голландии — Пишегрю получает донесение, где указывается точно день, когда ударят сильные морозы: земля промерзнет, на реках появится крепкий лед, и можно будет войску двигаться дальше. Пишегрю поверил в это донесение, хотя оно подкреплялось ссылкой на барометр, который никогда и никто в расчет не принимал. И действительно, в указанный день все вокруг замерзло. Пехота и кавалерия Пишегрю двинулись дальше. 29 декабря Пишегрю по льду переходит реку Ваал Но вот 7 января погода опять резко меняется. Снова дожди, слякоть, лед тает Пишегрю, пройдя далеко в глубь страны, оказался в еще более трудном, почти катастрофическом положении. Но тут он снова получает уведомление из Утрехта, от 13 января, где ему точно указывают, когда он сможет двинуть войска по замерзшим рекам и дорогам. Донесение и на этот раз не обмануло. Уже 14 января подул северный ветер, 15-го резко понизилась температура. А 16 января Пишегрю уже в Утрехте! И тут он освобождает из тюрьмы Дижонваля Катремера, генерала Батавской республики, того, кто посылал предсказания погоды.

В Голландии в 1787 году Дижонваля заключили в тюрьму, где он пробыл около семи лет, то есть до того дня, когда его освободил Пишегрю Все свои прогнозы погоды Дижонваль делал в тюремной камере, на основе наблюдения за поведением пауков

Впоследствии, в Париже, он писал:

«Когда пауки-круговики совсем не делают паутины, тогда наступает та скверная погода, которая на барометре обозначается дождем и ветром, если пауки начинают протягивать радиальные паутинные нити, тогда можно рассчитывать, что через десять — двенадцать часов буря утихнет; если они уничтожают четверть или треть паутиновой сети, чтобы сохранить ее остаток, это знаменует приближение ветра. Вообще, когда пауки начинают в большом количестве протягивать свою паутину, можно ожидать хорошей погоды; если они делают небольшие сети, это значит, что погода будет переменчива; если, наконец, совсем не показываются, то с полным основанием можно рассчитывать на дурную погоду».

Мой любезный, но забавный друг, ты сам не знаешь, какое мне доставил удовольствие своим не совсем обычным вопросом. Почему все так легко понимают шахматиста, который хочет сразиться с тем, кто может поставить его в неожиданно затруднительное положение? Почему понимаем мы хозяйку, которая, услышав где-то в гостях новый рецепт торта, с таким упоением и волнением принимается дома за трудную задачу? Какую же творческую радость испытываю я, сотрудник справочно-библиографического отдела библиотеки, когда, услышав своеобразный вопрос, начинаю готовиться к ответу: сопоставляю факты из разных областей науки, литературы, искусства, ищу и перелистываю справочники, энциклопедические словари, старинные издания, мемуары, архивные документы!

Дорогой друг! Вряд ли ты ждешь от меня научной проверки наблюдений Дижонваля над пауками. Теперь еще вот что: ты знаешь, что гордость моей жизни — картотека имен и терминов, которую я составляю вот уже десятки лет. И не было еще случая, чтобы картотека меня подвела. Так что без ложной скромности скажу: не счесть моих ответов на вопросы и не перечислить моих отгадок на разные загадки. А вот сейчас никак не отгадаю, не пойму и не возьму в толк, почему тебя вдруг заинтересовал Дижонваль. Уж не вздумал ли ты написать

научно-художественный сценарий о пауках? Так не лучше ли вместо Голландии и Франции конца восемнадцатого века вспомнить нашего Поливанова? Народоволец семидесятых годов прошлого века, Петр Сергеевич Поливанов был осужден царским правительством на вечное заключение. И вот однажды, когда за решеткой стояло хмурое утро петербургской ранней весны, обреченный на вечное одиночество человек увидел в камере живое существо. Это был паук — самый обыкновенный паук-крестовик. Они стали друзьями — человек и паук; человек заботился о пауке, кормил его, брал в руки. Паук спокойно влезал на палец человека. А когда человек трогал его лапки, паук спокойно и осторожно перебирал ими. Человек беспокоился — не слишком ли разжирело животное: это вредит здоровью. И заключенный срывал сеть паука — пусть потрудится, похудеет, это полезно. А паук? Он, в свою очередь, словно старался развлечь заключенного. Всякий раз было что-то новое в том, как паук ткал свою сеть, соединявшую ножки стола с перекладиной. Иногда он останавливался во время работы, разрушал часть сети, будто был чем-то недоволен, и начинал переделывать ее. Поэтому Поливанов писал о пауке, что это была «аристократическая натура»...

Что же это такое? Поехал ты на курорт, а лезешь в «паучье царство» в каком-то Ченске! Мало ли ты разбрасывал, растрачивал свой живой талант по пустякам! Кидался от одной науки к другой. А тут еще — пауки! Ну, дело твое, не спорю. Мне-то нравится твой талантливый разброс, удивительное мозговое завихрение.

До свидания. Надеюсь, ты еще хорошо отдохнешь.

С приветом твой Д. Чарушин».

Шнурки... пауки....

Я думал о пауках, когда рано утром вышел из города и направился туда, где студент Белянкин собрал свой букет, букет с теми листками, которые меня удивили, озадачили, ввергли в беспокойство и не выпускают из Ченска.

Письмо Чарушина я несколько раз прочел в гостинице при свете лампы. Что открыло мне это письмо? Я уверился: неизвестный путешественник, желая узнать погоду, вынужден был наблюдать за поведением пауков. В наши дни узнавать прогнозы погоды у пауков! В наши дни! Ну хорошо! Письмо Чарушина разъяснило значение нескольких слов микролистков. «Барометр Дижонваля», «думал о Поливанове»... Но теперь, после этого разъяснения, микролистки стали для меня еще более загадочными.

Почему пошел я туда, где были сорваны цветы? Очень просто. Ни ночью, ни на рассвете я не мог уснуть. Было душно. В институт к Тарасевичу с письмом Чарушина можно было пойти только во второй половине дня. К тому же после письма Чарушина мне очень хотелось посмотреть пауков «в натуре» и, конечно, побывать в том месте, где были найдены записочки

Студент Белянкин подробно рассказал в институте о месте, где он собрал свой пресловутый букет, и я хорошо представлял себе, как туда идти.

Дорога асфальтирована. По обеим сторонам росли в два ряда молодые, гибкие тополя. Наверное, их посадили тогда же, когда асфальтировали дорогу.

Я иду по тропинке вдоль шоссе.

Сквозь чащу кустарника то показывалось, то исчезало море. Дорога поднималась все выше и выше. Потом спускалась, вновь поднималась. Где-то вдаль виднелись белые домики дачного поселка научных работников.

Внизу, под горой, в долине, налево от асфальтового шоссе, извивалась проселочная дорога. Она исчезала в роще. А там, дальше, что за развалины?

Спустившись с горы, я на проселочной дороге встретил женщину и мальчика лет семи-восьми. Они вели на поводу прихрамывающую лошадь. Мы разговорились. Женщина рассказала, что работает в подсобном хозяйстве научных работников. Лошадь ушибла ногу о борону; надо показать ветеринару.

— А там, за рощей направо, — спросил я, — что за развалины?

— Там до революции была усадьба. Чудак помещик жил, — сказала женщина.

— Поначудил этот помещик, понастроил разные ходы под землей так, чтобы прямо из своей спальни под землей к морю выходить. А то, бывало, по ночам при луне у моря вдруг сам появится и гостей за собой с музыкой приведет. Наши старики рассказывают: «Приходим мы на музыку эту к морю, подходим ближе — глядь, а музыки уже не слышно и людей не видно, обратно музыка под землю ушла...»

Я не дослушал, попрощался и пошел дальше. Шел и думал о пауках. Но не мог не думать и о... шнурках. Да, о шнурках. Они то и дело развязывались, приходилось останавливаться, нагибаться, завязывать, а они снова развязывались.

Шнурки... шнурки... Черные и белые, коричневые и желтые, длинные и короткие, тонкие и толстые — все с железными наконечниками, — они висели на веревочке ларька в Ченске у чистильщика обуви. Когда я подошел к нему, он старательно чистил свои высокие черные сапоги, вытягивая то одну, то другую ногу. Лишь после этого, налюбовавшись блеском сапог, он лениво протянул мне пару шнурков.

Какие строптивые, нетерпеливые, беспокойные шнурки достались мне в удел!

В первый же раз, когда я поспешно стал их вдевать, они сразу заупрямились. Никак не влезали в отверстия. Я дернул. А шнурок в отместку уронил свой маленький железный наконечник. За день шнурок совсем разлохматился, наконец оборвался.

Но хуже всего обошлись со мной шнурки вчера вечером. Хотелось быстро снять ботинок, но потянул не тот конец узелка — узелок не развязался, а затянулся туго, совсем туго. Лезвие бритвы срезало узелок — шнурок укоротился. И теперь я шел по тропинке рядом с дорогой, а шнурок то и дело развязывался. Но не смешно ли, что я так много говорю о шнурках? Ничуть! И не странно, и не смешно! Ведь все, что потом приключилось, как раз и связано со скверным характером моих шнурков, которые с непонятной злостью и в отместку мне неведомо за что всё развязывались и заставляли так часто нагибаться к земле.

Мысли мои то и дело возвращались к письму Чарушина: «Дижонваль... пауки...» И больше всего я хотел в те минуты увидеть самого обыкновенного паука. Казалось мне, что теперь на него я посмотрю совсем иначе. Увижу совсем не таким, каким видел всегда. Я стал оглядываться по сторонам, подходил к кустам, но нигде не увидел и следа какой-либо паутины.

Роща стала гуще и темнее. Проселочная дорога свернула направо.

Я шел по запущенной, забытой аллее каштанов, полутемной и прохладной, меж прямых черных стволов. Аллея стала расширяться и замкнулась вокруг деревянной полуразрушенной беседки. Тут же валялась сорванная калитка.

Неожиданная акация, разросшаяся, по-видимому, после того, как люди перестали посещать беседку, заслоняла вход.

С трудом я пробрался в беседку. Здесь торчали полусгнившие столбы столика и скамеек.

Я присел на край сломанной скамейки.

Под скамейкой и меж столбов буйно и высоко росла бледно-зеленая трава. Паутина, которую я отыскивал меж столбов беседки, была серая и оборванная. В ней повисли крошечные кусочки прутиков. Паук, видно, давно ее оставил.

Вдруг раздался резкий лай собаки. Я пошел на лай. Густые кусты цветущего шиповника преградили мне дорогу. Как красиво атели их цветы! Так это было здесь! Здесь студент Белянкин ломал ветки шиповника, к которым пристали загадочные листочки... В букете были и незабудки. Вот и они — спокойно растут вдоль ручейка.

Лай затих. А потом послышался вновь, но не такой резкий.

Он точно исходил откуда-то из-под земли. Я стал присматриваться и прислушиваться.

За кустами я увидел что-то вроде землянки. Она находилась совсем недалеко от меня. Вход был защищен тесовым навесом. На навесе лежали квадратики дерна. Это было сделано наспех — там и здесь из-под дерна еще виднелся белый тес. К землянке вела неровная дорога, вся в ямах и камнях. Из землянки слышался лай.

Я подошел к входу и медленно, осторожно стал спускаться вниз. Несколько каменных ступенек. Площадка. На площадке стол, два стула.

На столе мерцал фонарь «летучая мышь», лежали счеты и какая-то книга.

Ступеньки вели дальше, в глубину. А оттуда шел отрывистый лай собаки.

— Слушайте! — крикнул я в темноту.

— Кто там? — ответили из подвала. Собака еще яростнее залилась.

— Фу, замолчи ты, Курчавка! — прикрикнул кто-то на собаку.

Собака смолкла.

— Есть тут кто-нибудь? Выходите!

Сначала молчание, потом... потом снова окрик:

— Кто там?

И снова, точно в ответ на эти два слова, отчаянный лай. На площадку прыгнула собака. Прыгнула и как вкопанная остановилась; вся рыжая, а спина черная. Она глядела на меня совсем не грозно и махала пушистым хвостом.

Кто-то, крихтя и охая, взбирался по ступенькам. Из темной глубины поднималась рука с зажженным фонарем.

Предо мной предстала могучая женская фигура в ватнике и больших резиновых сапогах.

— Здравствуйте! — пробасила женщина и добавила: — Приехали? По вызову?

— Приехал, — ответил я в недоумении.

— А где ваш транспорт?

— Какой транспорт?

— Без транспорта нельзя.

— Но я... я пришел...

— То-то и дело, что ходят сюда многие.

— Многие? — переспросил я.

— Вы что, загадочки пришли загадывать, цветочки собирать, как другие, или за овощами приехали? Лук, морковь, бурак. Если вы за овощами, то почему без машины, без тары для погрузки? Кто же вы такой?

— Кто я?

— Вот-вот! По какому случаю на базе появились? Оторопев, растерявшись под натиском вопросов, я не гнал, как все объяснить сердитой женщине, и только пробормотал:

— А вы кто? Какая база?

— Как так — кто я? Я Анна Ивановна Черникова, заведующая базой Райпищеторга.

— Прощайте! — крикнул я, повернулся и ушел. Сделав десяток-другой шагов, я оглянулся и из-за кустов увидел: за мной, держа собаку на поводке, следовала Анна Ивановна Черникова.

Я прыгнул через небольшой ручеек. Несносный шнурок! Опять... опять развязался. В который раз! Я нагнулся, потянул оба конца шнурка. Какая-то колючка (репейник, что ли!) зацепилась за растрепанный конец шнурка. Я стал снимать. В колючке запутался дохлый паук.

Всю дорогу я думал о пауках, о письме Чарушина, — верно, только поэтому я заметил паука и спрятал его в спичечную коробку.

Дохлый паук

— Барометр Дижонваля существует! Вот письмо, а вот и «испорченный» барометр! — воскликнул я, входя в кабинет директора института Степана Егоровича Тарасевича, и положил на стол письмо Чарушина и спичечную коробку сдохлым паучком.

Профессор сдержанно поздоровался со мной, посмотрел на меня с некоторым недоумением и, представив доценту Серафиме Васильевне Воронцовой, прибавил:

— Надеюсь, порывистый ход ваших рассуждений по поводу найденных записок не будет стеснен присутствием нашего молодого специалиста. Маляры затянули окраску коридора и некоторых кабинетов, и Серафима Васильевна расположилась у меня со своим микроскопом.

Из-под больших стекол очков на меня посмотрели голубые глаза. Посмотрели, как мне показалось, весьма насмешливо. А затем Серафима Васильевна снова опустила глаза к микроскопу, и правая ее рука быстро забегала по листу бумаги, делая какие-то записи.

Степан Егорович внимательно прочел письмо Чарушина и развел руками:

— Пусть так! Пусть барометр Дижонваля — пауки. Но что это меняет?

— Все! Все меняет! Раз есть барометр Дижонваля, следовательно...

...следовательно, — рассмеялся Тарасевич, — есть и пауки.

— Следовательно, есть и путешественник, который вынужден узнавать погоду по поведению пауков.

— Фантазия!

— Что? А записки? Я вижу вьючное животное на привязи, путешественника, который уже погрузил свой мешок и дописывает дневник...

— Ребусом называется загадка, состоящая в том, что часть слова или целые слова выражены посредством нарисованных фигур, нот или других знаков, звучание которых сходно с задуманными словами, — сказала медленно Воронцова, продолжая глядеть в микроскоп. Что вы хотите сказать? — спросил я.

— Какой-то затейник написал ребус, кроссворд. В нем вместо простого слова «паук» проставил два слова: «барометр Дижонваля», а рядом с Эратосфеном — «личинку стрекозы»... А вы вот маетесь, отгадываете этот ребус.

«Ребус, кроссворд», — повторил я про себя и почувствовал, что эти веселые и простые слова, само их звучание не только снимает с записок загадочность, но и показывает все в смешном виде. Но это ощущение длилось всего мгновение. Нет! Где, кто, когда и зачем станет составлять такие кроссворды?

И я сказал:

— Не ради кроссвордов и ребусов остался я в Ченске, отнимаю время у вас, Степан Егорович, писал Чарушину. А сегодня утром даже побывал там, где студент Белянкин вместе с цветами подобрал загадочные листки.

— С чем же вы вернулись из этой экспедиции?

— Экспедиция не удалась. Подобрал одного паука, да и то дохлого...

— Дохлый паук!.. — захохотала, откинувшись от микроскопа, доцент Воронцова. Она хохотала все громче: — Дохлый паук!.. Ой, не могу! До...до...до...хлый!.. Дайте посмотреть!

Воронцова подбежала к пауку, который лежал в спичечной коробке. Она сняла очки, протерла их и снова надела, всмотрелась в паука.

— Апофеоз исканий, загадок, предположений, писем в Москву — дохлый паук!.. Как же вы, Степан Егорович, — обратилась она к профессору Тарасовичу, — не подумали, что все это так просто и ясно: какой-то дачник чудил, составлял кроссворды, а литератор из Москвы пытается из крапивы делать бриллианты!

— Дачник?! Но позвольте! — воскликнул я. — Там, где найдены листки, и дач-то нет!

— А ветер? — резко повернулась ко мне Воронцова. — Ветер не тратит время по пустякам, как некоторые другие. Налетел и унес с подоконника эти смешные записки.

— А знаете, — сказал Степан Егорович, — в этом утверждении есть толк. А мы... мы явно перемудрили.

Что я мог ответить? Как возразить? Передо мной лежали только дохлый паук и весьма

странные записки.

— Вот вы и молчите! — с усмешкой сказала Воронцова. — Нечего сказать! А перебаламутили весь институт. Что — не так?

— Перемудрил, признаю, перемудрил...

Воронцова вернулась к микроскопу и снова стала что-то бегло писать.

— Да, заблудились мы с вами, — тихо сказал Степан Егорович. — А вот молодой специалист нас поправил.

— Что ж, пора откланяться, уезжать, — сказал я и стал прощаться.

— Знаете что? — проговорила вдруг с доброй улыбкой Воронцова. — Я вам на память этикетку на паука дам, определю точно род и вид. Но что прилипло к его лапе?

Что было дальше? Я стоял у дверей, Степан Егорович записывал мой московский адрес, и вдруг...

— Ой, что это? Ах, не может быть! — воскликнула Воронцова. — Скорей сюда!.. Смотрите! Листок! Слова!

Мы оба подбежали к микроскопу:

— Что случилось?

— Что, что?

Воронцова откинулась на спинку стула, очки сдвинулись на кончик носа. На лице были испуг, замешательство, недоумение.

— Смотрите! Читайте!

«Лист 1022

...Итак, все ясно. Туберкулез излечим. Как врач, я пришел к этому пониманию после ряда наблюдений, о чем подробно записал на предыдущих листках дневника.

Все знают: туберкулезная бактерия окружена оболочкой. По своим химическим и физическим свойствам эта оболочка подобна воску. Протеолитические ферменты, гидролизующие белки и полипептиды не в силах воздействовать на восковую оболочку туберкулезной бактерии, и потому организм человека не в силах справиться с этой бактерией. Нет такого лекарства, которое помогло бы расщепить восковую оболочку бактерии. Это известно всем врачам. Но в эти дни я наблюдал рядом со мной насекомое, которое питается воском и переваривает его. Так разве не ясно, что это насекомое обладает ферментом, который может разрушить восковую оболочку туберкулезной бактерии, расщепить жиры оболочки. Это насекомое — гусеница пчелиной моли *Galleria mellonella*. Я предлагаю вливать больному туберкулезом кровь гусениц. Не сомневаюсь: ферменты крови гусеницы разрушат жирно-восковую оболочку бактерии, и организм человека легко одолеет обезжиренное тело бактерии. Бич человечества — туберкулез — исчезнет! *Galleria mellonella* легко разводить: необходима соответствующая температура и большое количество вошины. Но странная участь, моя невероятная судьба, о чем я уже писал в листах 2 — 12...»

Доцент Воронцова смотрела в микроскоп и читала это письмо спокойно, отдельно и четко. Прочитав фразу о невероятной судьбе и странной участи врача, который писал эти записки, она откинула голову от микроскопа:

— На этом обрывается текст!

Напряженная тишина водворилась в кабинете. И, когда Степан Егорович, чтобы зажечь верхний свет, подошел и повернул выключатель, шаги его и щелчок показали мне резким стуком, а свет загоревшейся лампочки заставил вздрогнуть.

Наклонясь над микроскопом, Степан Егорович молча прочел ту же записку, а потом рассудительно сказал:

— Теперь надо сравнить, сличить с той запиской, которую студент Белянкин подобрал там же с букетом цветов... Вот-вот, спасибо. Увеличьте свет, Серафима Васильевна, что-то не в фокусе... Спасибо. Да, одна и та же рука, один и тот же почерк, и один и тот же способ

уменьшения при помощи фотоаппарата.

Взволнованный, я наклонился над микроскопом, пытаюсь что-то рассмотреть, прочесть, но ничего не увидел. Рядом со мной Степан Егорович говорил:

— Вот что безусловно: мысль об излечении туберкулеза таким способом весьма оригинальна. Писал не дилетант. Врач. Специалист... Туберкулез теперь успешно вылечивают стрептомицином, паском и другими медикаментами. С успехом применяют хирургическое вмешательство... Какой же врач этого не знает? А тут вдруг: лечение туберкулеза ферментами гусеницы пчелиной моли. Повторяю: предложение весьма оригинальное, но и весьма запоздалое.

— Юному дачнику подарили микрофотоаппарат, а увеличитель забыли, — смеясь, заметила Серафима Васильевна, — и вот наш юный фотограф стал забавляться. Снимал, мудрил над чем ни попало. Разные ребусы про Эратосфена, старые письма, записки, выписки из старинных медицинских журналов... Попался бы рецепт о рашении волос на лысине, сфотографировал бы и этот рецепт.

Рассеянно я слушал их разговор, пытался повернуть какой-то винт в микроскопе, наклонялся над ним, но опять ничего не увидел и с нетерпением стал оглядываться.

— Что, не видно? — заметила наконец Воронцова. Она молча повернула один, другой винт микроскопа. — Теперь хорошо?

— Да, да! Спасибо!

— А вот другой, новый листок, который вы сегодня принесли с паучком.

И под стеклами микроскопа обозначился острый, несколько старомодный почерк с легкой вязью, с наклоном вперед, с буквой «ять», с «и с точкой»,..

«Странная участь, моя невероятная судьба», — читал я слова и не в силах был оторвать от них глаз. Я вчитывался в слова, всматривался, и стало мне казаться, будто слова звучат, будто их кто-то произносит совсем рядом со мной глухим, старческим голосом. Казалось, микроскоп не только увеличил линейные масштабы слов на бумаге, по и создал звуковую ткань, создал тот объем живого слова, которое, согреваясь и накаляясь теплым дыханием человека, вырывается наружу, звучит, заставляет думать, чувствовать, трепетать сердца слушателей.

«Странная участь, моя невероятная судьба...»

И передо мной возникла в подробностях одна история, которую я услышал ночью в поезде, подъезжая к Ченску. Один неизвестный мне пассажир рассказывал о странной судьбе какого-то доктора, жившего давным-давно в Ченске. Все в этом рассказе было как будто бы и достоверно, но настолько необычно и неожиданно, что вызывало во мне недоверие к рассказчику. Теперь же, здесь, его слова вдруг ожили и крепко связались с записками, лежащими под микроскопом.

«Странная участь, моя невероятная судьба...»

— Позвольте же, — сказал я, обращаясь к Серафиме Васильевне и Степану Егоровичу, — передать вам историю одного доктора, который жил в Ченске. Мне кажется, что эта история проливает свет на записки. Ее я услышал ночью в поезде.

— Спросонок? — иронически спросила Воронцова.

— Вы недалеко от истины. Проснулся на верхней полке вагона и слышу... Вы ведь знаете, я ехал сюда, в Ченск, чтобы сесть на пароход и — на курорт...

Ночной разговор

Толчок. Проснулся. Поезд стоял. С верхней полки вагона было видно, как за окном в темно-синем небе остановилась луна.

На последней станции луна медленно и осторожно выплывала из-за водокачки. Но поезд тронулся, и она сразу же вдруг проплыла над водокачкой, над деревьями у платформы и пустилась провожать его. Бежала луна в небе хлопотливо и деловито, все время

заглядывала в окна вагона и остановилась теперь, когда поезд тоже остановился. Она пристально глядела в окно, на поезд: скоро ли он пойдет? Ждала. А под ней в степи кое-где рассеивался туман, серебрилась трава.

— Почему мы стоим? — спросил чей-то молодой голос на нижней полке.

Я прислушался. Видно, я очень крепко спал и не слышал, как эти пассажиры появились в купе. А кто-то внизу, старческим кашлем отделяя слово от слова, ответил:

— Ждем встречного...

Наступила та напряженная тишина, которая бывает, когда глухой ночью поезд вдруг останавливается в пути и, как живое существо, чего-то ждет.

— И вы, Алексей Митрофанович, знали его? — нарушил тишину тот же молодой голос.

— Даже неоднократно лично разговаривал. Ченск был тогда забытым богом городком. Учтите — царское время! Еще тогда с японцами не воевали. И железная дорога верст за семьдесят от Ченска проходила. Одним словом, заштатный, захолаустный городок. Все здесь друг друга знали.

— И всегда доктор таким странным был?

— Его за что в городке чудачком считали? За то, что писем из Москвы боялся. Почтальон подаст письмо из Москвы, а он в руки не берет. Точно змей в запечатанном конверте лежит. Все знали: письма, не вскрывая, он отправляет назад в Москву. Я бы сам это за странность посчитал, если бы вдруг совсем случайно не оказался свидетелем, так сказать, отчаянного момента жизни доктора... И все мне открылось. После этого вот момента никто в городе доктора не встречал. Исчез, словно сквозь землю провалился! А тут разные слухи пошли...

— Ну и дела... Про такое книжки пишут, — проскрипел чей-то новый голос в темноте.

— Так что же случилось? — нетерпеливо спросил молодой.

Старик закашлялся долгим, мучительным кашлем. Он, видно, хотел что-то сказать, отбивался от кашля. Я свесил голову с верхней полки, чтобы услышать конец этой истории. Сколько таинственного наслушаешься в долгие дни пути и на палубах пароходов и в вагонах поездов. Всегда находится старик, который был очевидцем самых невероятных событий, и всегда находятся благодарные слушатели.

За окном, как и раньше, молча стояла в небе луна. Степная речка при луне казалась неподвижной. Осторожно склонялись темные кусты к блестящей воде.

Наконец старик заговорил:

— Вы спрашиваете, что с доктором случилось? Скажу. Не торопите. А пока прошу заметить: тогда какое время было? Чуть человек живет не как все — в чудачки запишут. Так было и с доктором. А за что? Первое — за то, что не садился за стол в карты играть с акцизными чиновниками; второе — за то, что аппарат изобрел и летать по воздуху вздумал. Опыты разные делал. Деньги за лечение не брал, а жалованье либо на опыты все уходило, либо лекарства больным за свой счет в аптеке покупал...

Я слушал старика и думал: начатая история не будет досказана. Она просто придумана. Рассказчик сам не знает конца, не знает, что случилось с доктором, а просто предается воспоминаниям далекого прошлого. Или, может быть, старик дома не избалован вниманием, надоел своими разговорами? Над ним даже посмеиваются внуки, а здесь, в этом вагоне, где за окном застыла тишина степи, слушают его с большим интересом. И действительно, старик нее дальше и дальше отходил от начатой им истории: он говорил о нравах чиновников и купцов в городке, рассказывал о том, сколько времени когда-то уходило, чтобы стекла в лампах были чистые и фитили хорошо заправлены. Он говорил... говорил...

— Да, в ту ночь я у приятеля задержался. Помню, большая гроза была. С ливнем. А когда дождь кончился, я домой пошел. И еще помню — на горе, в монастыре, одиннадцать пробило.

«Одиннадцать пробило», — повторил я машинально в полудремоте вслед за стариком.

И, уже не слушая его, дорисовал в своем воображении захолаустный ночной городок после дождя: когда ливень кончился, наверное, сразу же небо очистилось от туч; умытые дождем звезды стали большими и начали пристально смотреть на мокрые крыши заснувшего

городка. Вот смолк последний, одиннадцатый удар колокола; и еще тише стало кругом, но совсем ясно слышно, как на деревьях, в палисадниках, скатываясь и падая с листа на лист, постукивают тяжелые капли.

Еще с вечера у каждого домика прогремели болты ставней, проскрипели засовы ворот: все запечатано, закрыто, заперто. Где-то невзначай начинала лаять собака и сразу умолкала. Опять тишина, пук капель. Доски тротуаров мокрые, и поэтому шаги запоздалого прохожего — старика, который теперь ведет свой рассказ (тогда он был еще молодым), — его шаги слышались совсем приглушенно...

Таким я представил себе спящий ночной городок.

Но о чем же еще там, внизу, говорит этот старик? О скрипке? О какой скрипке?..

— ...И вдруг скрипка! Вот иду я, а совсем близко скрипка стала слышна. Играет она так жалобно, будто разбудить кого-то боится и сдерживать обиду не может. Остановился я. Из-за сиреневого куста вижу — доктор на скрипке играет. Свеча на столе горит. Совсем было заслушался, все на свете забыл. И так бы до утра все слушал, если бы на улице совсем рядом не зазвенели бубенцы. Посмотрел — к домику доктора фэтон подъезжает. Лошадей я сразу узнал. Тогда в Ченске мещанин такой был, Иван Федосеевич, коней под седло напрокат давал и раза два в неделю фэтон за семьдесят верст к станции подавал и встречал московский поезд, пассажиров в город привозил. И вот вижу я — слезает высокий господин. С кокардой на фуражке. Идет прямо в сени. Доктор играет, ничего не видит, а приезжий уже перед ним стоит и руку на скрипку кладет.

«Здравствуйте!»

«Простите, я вас не знаю...»

«Вы письма наши назад отсылали. Вот они. Читайте! Ответ дайте! Я подожду.»

«Оставьте меня в покое!»

«Я доверенный торгово-промышленного банка „Братьев Дутовых“. Позвольте вам напомнить, что, будучи студентом последнего курса Московского университета, вы утеряли рукопись с разными проектами. И объявление изволили дать о потере. За любое вознаграждение умоляли вернуть».

«Да, так было».

«А дальше? Договаривайте, договаривайте!..»

«Рукопись с проектами мне принес хозяин трактира, где я ее уронил».

«Хозяин вам сказал: „Вот, мол, проектики... Я показывал их знающим людям, и говорят — большие деньги на этих выдумках заработать можно. Только вот беда: ни одни ваш проектик не закончен. Начато — брошено, начато — брошено. А как всякий проект до выгоды довести — только один человек может знать, только тот, кто их придумал“. И еще вам хозяин сказал, что описи и копии с проектов для порядка сняты. А толку что? Все это пока мертвый капитал. И хозяин вам отдал все ваши проекты в подлинном виде. Не так ли?» «Да!»

«А вознаграждение? Деньги в банк от вас по обязательству, по векселю, ведь не поступили?»

«Никому не обязан я давать отчет в своих поступках».

«Напоминаю: у вас денег тогда не было. Их нет и теперь. Хозяин трактира вас пожалел, согласился взять вексель на тысячу рублей».

«Да, так было. Но по какому праву вы так разговариваете со мной?»

«Вот вексель. Платите!»

«Оставьте, сударь, меня в покое! Вексель я выдал не вам, а хозяину трактира. Мы тогда договорились. Он будет ждать».

«Договорились!.. Вот его передаточная надпись на векселе. Теперь владелец векселя — банк „Братьев Дутовых“. Протест учинен. Платите!»

«Дайте срок... обождите! Я расплачусь... через месяц».

«Отсрочек не будет!»

«Неделю, одну неделю! И я расплачусь». «Не верю!»

«День... Только один день дайте сроку!» «Знаете что? Банк возвратит вам вексель, а вы

письменно в пользу банка откажитесь от своих проектов. Не скрою — за границей готовы к делу приспособить один проектик. Ждут».

«Дайте срок... Я подумаю, один день...» «Теперь двенадцать без четверти. В девять утра я здесь буду. Либо проекты, либо по векселю платите!»

Приезжий вышел. Скрипнули ступеньки крыльца. Широко расселся в фаэтоне. Бубенцы зазвенели, и все стихло. Дождь опять начался, да сильный такой. Я домой поспешил...

Утром в городе все ахнули — доктор исчез. Как сквозь землю провалился. Стали искать, выспрашивать. Пастух видел, как кто-то очень рано шел к беседке, что у пасеки за городом. Стали пасечника расспрашивать. А он отвечает: «Видел!.. На заре прошел человек... А что за человек — не разглядел... Погода была пасмурная, пчелы не вылетали, я и заснул. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю».

Стали тогда присматриваться к следам. После дождя они хорошо видны. Но за ручьем следы кончались...

Старик рассказчик закашлялся. В купе все еще было темно. Но где-то далеко стал бледнеть край неба, светлее стали кусты у речки, а вода в ней уже перестала блестеть.

Я подумал, что таинственное исчезновение героя — наилучшее сюжетное завершение всей истории. Но там, внизу, слушатели стали требовать подробностей.

— Была ли записка? Старик подробно объяснял:

— Сначала подумали, что доктор в море утонул. Но потом нашли записку, обгорелую какую-то. А в ней такое мудреное было написано, что разные слухи пошли. Толком ничего понять нельзя. И совсем уже стали забывать об этом деле. И я обо всем бы забыл, если б не пасечник. Проговорился он как-то мне, что только для отвода глаз, чтобы отвязаться, сказал, что будто спал и ничего не видел, а на самом деле своими глазами видел, как тот человек, что к ручью прибежал...

Долгий, протяжный гудок встречного поезда заглушил слова рассказчика. С шумом и грохотом пролетел курьерский, замелькали желтые блики на стенах купе.

Наш поезд дал ответный гудок, тронулся с места, прогрохотал по мосту и звонко застучал по шпалам. В небе с места тронулась луна. Уже побледневшая, она поплыла в вышине вслед за поездом. Подул свежий степной ветерок. Не разбирая слов случайных пассажиров, я задремал под мерный стук колес.

— Проснитесь! Проснитесь, гражданин! — Передо мной стоял проводник вагона. — Подъезжаем в Ченску...

Я спустился с верхней полки. В купе было пусто.

Рассказ остался без конца

Каждый рассказчик, каждый чтец знает: бывает такая минута, когда внимание слушателей неожиданно обостряется, как бы включается чуткий контакт. Так же молчат слушатели, в тишине звучит тот же голос рассказчика, но он чувствует, что с какой-то минуты, с какой-то фразы слушатели начинают умом, сердцем и воображением своим жить судьбами героев, о которых идет повествование. Больше того, мысли и чувства слушателей обгоняют рассказчика. Блестят глаза, меняется выражение лиц... И уж началось самое главное: зазвучали паузы — секунды молчания рассказчика. Какую глубину, неподдельную искренность приобретает все повествование!

Так было и с историей об исчезнувшем докторе из Ченска, которую я рассказывал Воронцовой и Тарасевичу. И, когда я кончил рассказ, еще целую минуту продолжала длиться та же внимательная тишина, в которой протекало мое повествование.

— Нас обоих захватил ваш рассказ! — наконец воскликнула Воронцова. — Мы взволнованы судьбой выдуманного вами доктора. Сочинено здорово! Только где конец? Взялись рассказывать, надо было и конец придумать.

— Здесь вовсе не выдумка! Не измышления! — воскликнул я. — Как? Разве вы не

видите?.. Эта история с доктором... Разве она не связана с запиской о туберкулезе, которая лежит под микроскопом.

— Я уже давно живу в Ченске, но ничего не слышал об исчезновении какого-то доктора, — покачал головой Степан Егорович.

Он устало и медленно подошел к сейфу и не спеша стал его запирасть. Воронцова старательно перетирает стекла окуляров и прятала их в футляр. А я? Я не знал, что делать. Молчал. Беспокойное ощущение вины перед занятыми людьми стало овладевать мною. Зря отнимал время... Мысленно я пробежал все дни, проведенные мною в Ченске. Зачем я приходил с букетом цветов к студенту Белянкину, которому надо было думать о зачетах и экзаменах? Зачем вот уже который раз я отвлекаю профессора Тарасевича от работы, приношу какие-то листочки? Зачем из-за меня заставили машинистку срочно печатать вместо программ и приказов какие-то ребусы, прочитанные под микроскопом? Чувство вины и неловкости меня вконец утомило.

В институте был ремонт. Мы шли по длинному темному коридору и задевали какие-то ведра, стояки. В проволочной сетке под самым потолком тускло горела забрызганная белилами электрическая лампочка. Шаги гулко раздавались и будили полуночную тишину давно опустевшего института. Я смотрел на лампочку и думал: «Я совсем как она, эта лампочка, которая светит не так, как надо. Но ей, запыленной, забрызганной белилами, помешали светить неаккуратные маляры и нерадивая уборщица. А мне? Кто мешает мне жить как надо? Сам я. Только я».

Мы вышли из института и стали прощаться. Летняя ночь была душная и тяжелая.

Профессор Тарасевич, прощаясь, стал утешать:

— Не беда, если выдуманный вами рассказ об исчезнувшем докторе никак нельзя связать с записками, которые вы нашли. Не огорчайтесь! Рассказ сам по себе интересен. Только конца нет.

Воронцова весело встряхнула мою руку.

Я остался у дверей института. Пытался привести свои мысли в порядок. По асфальту звонко стучали каблучки Воронцовой, уверенно и спокойно шаркали подошвы профессора Тарасевича.

Потом из темноты долетел насмешливый голос Воронцовой:

— Придумайте и расскажите нам завтра же утром конец этой истории о пропавшем докторе из Ченска!

Шаги стихли. Голоса умолкли.

— Конец-то и придумать нельзя, — послышался рядом со мной чей-то тихий, старческий голос. — Доктор Сергей Сергеевич Думчев как пропал, так о нем в нашем Ченске с той поры ни слуху ни духу...

— Кто это? Кто говорит?..

Часть вторая Дом с башенкой

Бессонное окошко

Белые занавески на окнах уснули, побелели, засеребрились: полная луна стояла над городком. Тени крыш, заборов, крапов строек, деревьев спали на бульжной мостовой в самых неожиданных положениях. А моя тень перемещалась, металась — то пропадала, то вновь появлялась: я шел — искал домик с башенкой.

Домик с башенкой?

Да!

Услышав из темноты, что доктор, который когда-то исчез, звали Сергей Сергеевич

Думчев, я вздрогнул от неожиданности, недоумения, удивления, а потом, придя в себя, воскликнул:

— Кто это? Кто говорит?

— Это я, Андрей Варфоломеевич, сторож институтский. Как пришел на ночное дежурство, так стул и вынес сюда. Ночь теплая. Сначала слушал вальсы всякие из городского парка. Потом вы все вышли, я конец разговора вашего услышал. Был, был такой доктор в нашем Ченске. Да вот исчез...

— Но как? При каких обстоятельствах? Что с ним случилось? — забросал я вопросами сторожа.

И услышал в ответ:

— Об этом меня, почтеннейший, не спрашивайте. Много разных разговоров было. В городе с того времени, может, только два-три человека остались. Вот, к примеру, Булай Полина Александровна. Возраста она уже почтенного. Ну, помоложе меня лет этак на десять. С ней поговорите и от нее многое узнаете. Пресимпатичная особа. А в городе ее когда-то «вечной невестой» прозвали. Будто ждала она, ждала жениха своего, Сергея Сергеевича Думчева, в том самом домике с башенкой, из которого он и ушел, пропал. Так и живет она там до сего дня.

— А адрес?

— Какой там адрес! Вот если идти отсюда налево, дойдете до переулка, а переулок выведет к площади, от нее бульвар идет, с бульвара повернете во вторую улицу — опять налево. С этой улицы, считай, третий переулок направо. Так вот в этом переулке, па правой стороне, четвертый дом от угла после забора. Дом с башенкой. Но как бы вам лучше пояснить — с мезонинчиком таким. А вокруг мезонинчика — балкончик. Махонький, с перильцами.

— А название переулка?

— Раньше Верхнетроицким назывался, а теперь не знаю. Да вы и так найдете. Как сказал я, так и идите... Почтеннейший, зачем же ночью людей беспокоить? — крикнул мне вслед Андрей Варфоломеевич, увидев, что я устремился налево, к переулку.

Конечно, я вовсе не собирался стучать ночью в чужие двери, будить в полночь незнакомых людей.

Так зачем же я искал дом с башенкой? Разве прояснится темный смысл микрозаписок оттого, что я при луне посмотрю, взгляну на какой-то домик? И разве может быть какая-либо связь между человеком, который исчез много-много лет назад из домика с башенкой, и крошечными записками, найденными две недели назад в довольно сохранившем виде на цветах за городом?

Но надо! Непременно надо было убедиться, что есть такой домик в Ченске, а следовательно, ночной разговор, услышанный в поезде, не выдумка.

Конечно, можно будет сверить почерк странных записок с каким-либо рецептом, хранящимся у женщины из дома с башенкой. Необходимо убедиться, что писал эти записки доктор, который исчез... И уже не буду я так смешон со своими догадками. Но в этом ли дело? Это мелочь. Главное, что вот-вот — и загадка исчезновения человека, может быть, перестанет быть загадкой. Но откуда эта уверенность, что писал микрозаписки о дневнике открытый и о туберкулезе тот же человек, который жил здесь, в Ченске, в том домике, куда я теперь иду?

С бульвара я повернул во вторую улицу налево. А с этой улицы надо свернуть в третий переулок направо. Вот и четвертый дом после забора — дом с башенкой!

Шумят на легком ветру деревья в палисаднике. Сквозь их густую листву светит одно окошко. Я тихо поднялся по ступенькам крылечка и на двери домика прочел на эмалевой дощечке: «Зубной врач П. А. Булай. Прием все дни, кроме воскресенья».

Постоял. Прислушался. В домике было тихо. Слегка шумели тополя. Светило в палисадник бессонное окошко: кто-то кого-то ждал.

Новое знакомство

Только изошло солнце, и я уже был у дома с башенкой. Ниже эмалевой дощечки надпись, сделанная чернилами на обрывке бумаги: «Звонок не звонит — прошу стучать».

Я постучал, но дверь мне не открыли. Снова постучал. Молчание.

Посмотрел на часы: семь. «Не слишком ли рано?»

Чтобы сократить время ожидания, я пошел на вокзал. Выйдя на перрон, я стал дожидаться прихода дальнего поезда и зачем-то спросил проходящего по перрону дежурного по станции: скоро ли придет?

Вот пришел дальний поезд. На тихой станции стало шумно, беспокойно. Забегали люди. Затолпились у киосков. Гудок паровоза. И снова все кругом опустело.

Вернулся к дому с башенкой. Ходил по переулку. Но на дом все посматривал — словно боялся: не убежит ли куда-нибудь, не тронется ли с места, не спрячется ли?

На часах девять. Пора!

На мой осторожный стук отозвался торопливый голос:

— Иду, иду!

Двери приоткрылась. Маленькая остроносая женщина высунула голову, повязанную белесоватым, когда-то голубым платком. Быстрые, любопытные глаза внимательно глядели на меня.

— Ага! Вы тот самый, что ехали в вагоне, где моя Зинуша проводником? Не вас ли до полуночи ждала? Свет не тушила. Пожалуйста, заходите! Я ее разбужу.

— Нет, нет! Я пришел к зубному врачу Полине Александровне Булай.

— К Булай? К Полине Александровне? Пожалуйста, проходите. Присядьте вот тут., — Она указала на одинокий стул среди высоких шкафов и кованых сундуков, заполнивших длинный коридор. — Сейчас постучу.

Подойдя к какой-то двери, она постояла, к чему-то прислушалась и вернулась обратно:

— Сколько ни живу здесь, а не возьму в толк ее жизнь. Неизвестно, когда встает, когда ложится. И сейчас не пойму: спит или не спит. Больные всё больше после обеда приходит.

— Что ж, — поднялся я, — приду после обеда.

— Видать, вы приезжий? — сказала она.

— Приезжий.

— А откуда будете? Надолго ли сюда? Часто ли к ней ходить будете?

— Не много ли вопросов сразу?

— Ах, гражданин, — сказала женщина тихо, — не от любопытства спрашиваю, а от боязни! Боюсь! Ох, как боюсь, опасаясь я! Всего в этом доме боюсь.

— Чего же вы боитесь?

Она еще больше понизила голос и, указывая на ту дверь, к которой раньше подходила, заговорила:

— Ее боюсь...

В эту минуту дверь отворилась.

— Вот она! Ну потом, потом все расскажу вам.

На пороге стояла женщина, высокая, седая, гладко причесанная, в черном старомодном платье, наглухо застегнутом. На вид ей было лет шестьдесят пять.

— Полина Александровна Булай?

— Пожалуйста, заходите! — Полина Александровна раскрыла дверь комнаты.

«Странный зубоврачебный кабинет», — подумал я, входя.

Комната была сплошь заставлена старинными шкафчиками со множеством ящичков и ящичков, низенькими креслами, столиками с бесконечными безделушками. На стенах без всякого порядка висели гравюры и репродукции старинных картин, изображавших радостный семейный уют. Картины были в почерневших от времени золоченых рамах с отбитыми краями. У окна стояло зубоврачебное кресло, сиденье и подголовник которого

были обиты малиновым бархатом, сильно потертым.

Все носило следы старины, некоторой дряхлости, но нигде не было ни пылинки.

— Садитесь в кресло, — сказала Булай и подошла к умывальнику. Стала мыть руки.

— Полина Александровна, я не больной.

— Зачем же вы пришли?

— Чтобы поговорить о Думчеве.

— Сергее Сергеевиче? — переспросила она спокойно, тихо и как-то особенно светло. И при этом без всякого удивления.

В дверь слегка постучали, и в комнату вошла соседка.

— Полина Александровна, — спросила она, — вы не брали из кухни мою эмалированную кастрюлю?

— Нет, Авдотья Васильевна, не брала.

— Не брали? Ну и хорошо. Может, моя Зинуша припрягала. Потом ее спрошу. Спит она, сердечная, сейчас... Да, вот еще что я вам скажу: в том сундуке, что на кухне, мышь всю-то ноченьку скреблась. И теперь она, видно, там. Открыть бы, выгнать бы...

— Мышь? В моем сундуке, что с письмами?.. Булай вышла из комнаты.

Авдотья Васильевна осталась в комнате и заговорила:

— Боюсь я... Того боюсь, что, верно, не в своем уме моя соседка. Зинуша моя с поездом на целые недели уезжает. Во всей квартире остаюсь я одна с Полиной Александровной. Ходит она тихо, говорит мало. Уж давно, я еще и не переехала сюда, а в городе про нее разное говорили, будто она все на дорогу глядит, жениха какого-то ждет. А я как на. нее посмотрю, так и думаю: «Самой-то невесте саван пора шить»... Зинуша говорит: «Мама, чего вы беспокоитесь? Человек живет тихо, дело свое исполняет. Вполне нормальная старушка». А я все сомневаюсь. Коли будете к ней ходить, присмотритесь, мнение свое составьте и мне скажите: надо ее опасаться или нет...

Послышались шаги Булай. Соседка ушла. Я снова обратился к Полине Александровне:

— Прошу вас... Извините за беспокойство... Прошу вас рассказать все, что вы знаете о Сергее Сергеевиче. О том, как он исчез...

— Нет, нет, не произносите этого слова! Он просто ушел... ушел из этого дома.

— Ушел? Давно?

Сразу я почувствовал всю бестактность моего восклицания, смутился и смолк.

Булай помедлила, словно собираясь с духом, и сказала:

— Простите, как вас зовут?

Я назвал себя.

— Так что же, Григорий Александрович, привело вас сюда? Ведь Думчева все забыли.

— Совсем случайно я услышал один рассказ, который приблизил меня к судьбе Думчева. Но, прошу, пока не спрашивайте ни о чем.

— Хорошо, я вам верю. Когда-то очень давно меня прозвали невестой Сергея Сергеевича. Ах, разве вы теперь можете себе представить, вообразить, как когда-то глухой провинции забавлялись скучающие люди! Однако дело не в этом. Я сейчас думаю о том, как лучше рассказать вам о Думчеве. Не знаю, с чего начать: с того ли, в какой необычной обстановке увидела его в первый раз, или просто о встречах и разговорах с ним.

— Если можно, расскажите все по порядку.

— Но отложите же свое вечное перо! Нельзя же спокойно рассказывать, вспоминать, когда каждое слово записывают.

Я послушно спрятал авторучку и блокнот в карман, уселся поудобнее в кресло и приготовился слушать.

— Итак, это было давно... — начала Полина Александровна.

За дверями послышался шум.

— Не обращайтесь внимания, это Гибралтар передвигает мебель и снова подметает чистый пол у моих дверей.

— Но почему Гибралтар?

— Так я окрестила соседку Авдотью Васильевну за то, что мимо ее глаз, как кораблю мимо Гибралтара, незаметно не пройти. Всякий будет досконально изучен. Она всегда всего боится.

— Итак, это было давно... — повторил я.

Икар на ярмарке

— Да, давно, — повторила Полина Александровна. — Мне было тогда семнадцать лет. Я помню тот день, тот час и даже ту минуту, когда я впервые увидела Сергея Сергеевича Думчева. Это было на заре воздухоплавания. Нет, правильнее сказать так: перед самой зарей воздухоплавания... День был воскресный, девятое июня. Была ярмарка.

Старая, седая женщина говорила, а я забыл, что она стара. Уже не видел, что она седа. И уже не верил, что все это было так давно. Точно огонь ее несбывшихся мечтаний сжег эти десятилетия. Прошлое вернулось. Я его увидел, услышал...

Вот ярмарка. Южная ярмарка под полуденным солнцем. Шумная, пестрая, звонкая и нарядная.

Проснешься, откроешь ставни, распахнешь окно — и гудит-звонит ярмарка вовсю, шумит людской толпой, пестрит, мелькает яркими платками и юбками баб, гудом гудит и оглушает криком, ржанием, бляением и мычанием.

А в лавках и ларьках, наспех сколоченных из свежестроганых досок, разметались на солнце, блестят и пышут буйными красками ленты, ситцы, платки, бусы, сливаясь и переливаясь в яркие полосы.

Тесно, не пробраться!

Со скрипом вертится-крутится карусель под стон шарманки, под визг девиц, сидящих в размалеванных колясочках, под свист восседающих на деревянных резвых конях парней — веселых, насмешливых парней в картузах, залихватски заломленных набекрень.

Тесно!

Едва-едва пробираясь под возами продавцов и между ног покупателей, нюхая землю и поджав хвост, ищет своего хозяина дворовая собачонка. Но где там! Сидит он где-нибудь в кабаке. Парень-гармонист ткнул ее ногой. Собачка взвизгнула, сжалась, подобрала хвост, кинулась под воз и снова пошла пробираться дальше.

Тянут слепые певцы песню. Песню однотонную и протяжную. Когда она началась? Когда кончится? Неизвестно. Их ведет, расталкивая толпу, мальчуган, протягивая рваную шапку, белобрысый, остроносый, с хитрыми глазенками. А они идут за ним, положив друг другу руки на плечи, высоко подняв к небу бесстрастные лица.

И вслед за ними легко и вольно идет цыганка с накинутым на одно плечо пестрым с бахромой платком, увешанная бусами, бренча монистами, сверкая огромными полукруглыми серьгами, слегка поводя плечами, идет меж возов и лавок, хватая за руки то одного, то другого, и скороговоркой заверяет: «Позолоти ручку, погодаю — судьбу расскажу!»

А солнце все выше и выше, все жарче и жарче. Все шумнее и люднее южная ярмарка.

И вдруг откуда-то издали долгий, протяжный крик: «Летит! На небо летит человек!»

Крик потонул в шуме и грохоте базара. Никто не обернулся и не отозвался. Базар продолжал гудеть.

Какой-то человек в чуйке и в картузе с блестящим козырьком вскочил на воз и замахал руками.

«Братцы! — кричал он, стоя на возу. — Братцы, глядите! Глядите, что делается на вышке!» «Где, где?»

«Вон на вышке! С вышки человек полетит!» «На небо полетит человек!»

И толпа, нестройная, любопытная, жадная до зрелищ, кинулась к видневшейся на холме вышке.

На широком помосте вышки лежал снаряд, похожий на огромную стрекозу. Рядом с

этим снарядом стоял молодой человек и поправлял какие-то длинные ремни на снаряде.

Он был в косоворотке и в черном плаще-крылатке. Бледное лицо, длинные нервные пальцы, губы сжаты, а когда он выпрямился, то глаза его сосредоточенно устремились куда-то далеко через головы обступивших помост людей.

Странен, непонятен и очень одинок был этот человек на крикливой, нарядной южной ярмарке. Он, видно, был так занят своим снарядом, что не замечал всего, что делалось вокруг.

Хозяин-предприниматель, построивший на холме вышку, получал по пятаку с каждого входящего за изгородь.

Огороженное место вокруг вышки густо заполнялось народом.

Хозяин поднялся на несколько ступенек вышки и возгласил:

— Почтеннейшие дамы и господа! Сейчас человек на небо полетит. Сами своими собственными глазами увидите. Так не угодно ли за спую плату вопросы задавать этому человеку? Как-никак, от нас и небо человек отбудет и обратно к нам прибудет!

Предприниматель вытер блестящую лысину красным клетчатым платком.

Из толпы послышались голоса — обращались к человеку на вышке:

«Назовись: кто ты такой?»

«Личность какая?»

«Промысловое свидетельство? Веры какой?»

«Раз на небо летит — так веры какой?»

«Я Сергей Сергеевич Думчев! Русский», — отвечал молодой человек.

«Ну, лети!» — сказали в толпе.

Человек, назвавшийся Думчевым, снял крылатку и продолжал возиться у снаряда.

«Уважаемая публика! — обратился хозяин к Толпе. — Терпение! Лишь пять — десять минуточек — и полетит!..»

— Я стояла недалеко от вышки, — продолжала свой рассказ Полипа Александровна, — и видела, как дрожали руки Думчева. Беспокойство, волнение, испуг охватили меня. Ведь вышка высокая! Неужели они все здесь не понимают, что он, этот смельчак, сейчас разобьется?

«Отговори, отговори его от полета!» — упрашивала я брата-студента.

Учился он в политехническом. Знаете, такие красивые эполеты на синей тужурке. Он очень хорошо разбирался в технических делах. Всюду брат сопровождал меня. Как давно это было! Я тогда носила широкую соломенную шляпу. У меня была длинная русая коса.

«Коллега! — крикнул брат изобретателю. — Не помочь ли вам?»

И он стал взбираться на вышку.

Но изобретатель отрицательно покачал головой. Он продолжал возиться у снаряда.

Кругом говорили:

«Никогда не полетит!»

«А почему птица летит? Вся сила у птицы в перьях, — объяснял степенный купец. — А в его снаряде крылья-то без перьев».

«А летучая мышь летает или не летает? — обернулся брат и добавил: — Выходит, что дело не в перьях!»

«Ну, так что ж он не летит? Дотянет до ночи, да так и не полетит!»

«Время! Времечко!»

«Скорей! Начинай! Пора!» — кричала нетерпеливая толпа.

Думчев расправил широкие крылья снаряда и подтянул весь снаряд к краю вышки.

Толпа затихла.

Он продел ноги в ремни и приладил снаряд к поясу. Затем стал просовывать руки под крылья. Крылья были легки, из ивовых прутьев, обтянуты материей и очень подвижны, по-видимому на шарнирах.

«Вот-вот полетит!» — раздались голоса.

«Стой! Стой! — вдруг закричал хозяин. — Стой!»

Все время хозяин не стоял на одном месте: то взбирался на вышку, то убегал к калитке проверять выручку.

«Стой!» — крикнул он, расталкивая толпу, и подвел к самой вышке какого-то чиновника с женой.

Чиновник крикнул Думчеву:

«Слушайте! Супруга моя желает задать вопрос, а вы, сударь, потрудитесь ответить!»

Жена чиновника вскинула лорнет:

«Молодой человек, я любопытствую, какая материя на крыльях этих? Снизу мне кажется, что это муслин. Скажите, где вы брали такой прелестный цвет? Много ли за аршин платили?»

Думчев обстоятельно ответил на этот вопрос.

«Теперь лети!» — крикнул хозяин.

Брат тихо сказал:

«Поля! Помнишь эти стихи:

Любители пошлого сыты,
Их доля светла и легка,
А руки Икара разбиты
За дерзость обнять облака».

В толпе говорили:

«Примеривается к ветру!»

Внезапно Думчев кинулся с площадки. Полетел!

Все замерли, затаили дыхание. И вдруг побежали вслед. Бежали, перепрыгивая, перелезая через изгороди. Бежали молча, запрокинув голову.

Снаряд неожиданно накренился. Люди шарахнулись в стороны.

Быстрым рывком ног, продетых в стремяна, что были прикреплены к веерообразному хвосту, Думчев восстановил равновесие.

Стрекоза выпрямилась.

«Ура-а-а!!!» — загудело кругом.

Но это продолжалось едва ли больше одной-двух минут.

От порыва налетевшего ветра всколыхнулись платки у баб. Схватились за шапки и картузы бежавшие за снарядом люди. Ветер подул сильнее.

Брат, бежавший рядом со мной, крикнул:

«Беда! Ветер мешает ему! На схватку с ветром пошел наш русский Икар!»

Я видела: крылья снаряда-стрекозы перекошились. Снаряд сильно наклонялся то в одну сторону, то в другую. Вот-вот упадет!

Брат кричал:

«Смотрите! Ветер валит аппарат влево — Думчев выносит ноги вправо! Ветер вправо — Думчев влево! И снаряд выравнивается!»

Но ветер точно понял уловки человека и налетел сверху. Аппарат «клюнул» носом.

И тогда Думчев стал руками опускать и поднимать крылья. Аппарат опять на время выпрямился. Рядом со мной раздавалось:

«У него силы кончаются! За воздух не уцепишься!»

Аппарат падал. Напрасны были взмахи крыльев. Снаряд гнало ветром к морю.

Толпа ахнула:

«Утопнет! Утопнет!»

Заголосили женщины, кто-то начал креститься. У самой воды снаряд ткнулся в песок.

«Убился! Убился!» — кричала толпа и бежала к морю.

Я опередила всех. Соломенная шляпа сбилась набок и едва держалась на ленте. Я первая подбежала к Думчеву. За мной — брат.

«Вы живы?» — крикнула я.

Думчев пошевелился. Расстегнув ремни, мы помогли ему выбраться из-под снаряда, застрявшего в сыпучем песке.

Подбежали люди. Подходили осторожно и молча, точно боялись потревожить Думчева. Даже мальчишки, босоногие, вихрастые, перебегая от толпы к снаряду и от снаряда к толпе, говорили между собой шепотом.

Брат попросил всех разойтись.

Принесли кувшин воды, и я смочила Думчеву лоб. Брат побежал за извозчиком.

Думчев пришел в себя. Но он не замечал никого. Время шло. Люди стали расходиться. Вдруг он сделал усилие, чтобы подняться.

Я помогла ему. Он встал, обернулся и увидел свой разбитый аппарат.

«Я еще полечу! Полечу!» — сказал он тихо и упрямо.

Низко над нами легко пронеслась чайка.

«Как эта птица?» — Я указала ему на чайку.

«Птица?» — переспросил он.

«Как эта чайка?» — повторила я.

Он долго молчал, точно справляясь с какими-то своими мыслями.

«Нет! Нет! — вдруг резко крикнул он. — Лучше птицы! Как муха! Не только летать, но и стоять в небе! Стоять в воздухе так же твердо, как человек на земле!»

Я испугалась: не помешался ли он? И спросила:

«Какая муха? Что вы! Разве муха стоит в воздухе?»

Он ничего не ответил. Потом тихо прибавил:

«Я научусь всему этому не здесь! А там... только там!»

«Где?»

Но он ничего не ответил.

Мне стало страшно. Брата с извозчиком все еще не было.

Медленно, опираясь на мою руку, Думчев пошел в город.

У моря остался разбитый аппарат. Уже темнело. Я помогала идти этому странному человеку...

Рядом с ним я по-иному, по-новому теперь услышала шум моря, по-новому увидела, какие косые лучи бывают у заходящего солнца.

А он шел рядом со мной, опустив голову. На меня он ни разу не посмотрел. И все шептал:

«Выхода нет! Выхода нет! Только у них! У них учиться».

Я слышала эти слова, но ничего не понимала и ни о чем не спрашивала. А солнце уходило в море.

Письмо Андрея Булай

Где-то далеко в коридоре то стучал, то шуршал веничек соседки.

С самого начала рассказа Полины Александровны я думал: «Скорей бы проверить, доктор ли Думчев писал микрозписки. Его ли рука? Сверить почерк! Это главное».

Но длился рассказ, и постепенно душа моя стала полна иными мыслями, чувствами. Я ощутил резкое дуновение воздуха, почувствовал острый порыв ветра, взметнувшегося под крыльями первых самолетов. Как светла и дерзновенна была мечта тех людей, что впервые отважились подчинить себе воздушное пространство!

Странное состояние: сидеть в зубоврачебном кресле, смотреть на старую ножную

бормашину и на блестящие металлические инструменты, но ничего этого не видеть, а принимать сердцем тепло и свет той мечты, что владела Думчевым, когда на самодельном аппарате он поднялся в воздух и полетел над кричащей ярмаркой.

Но что же значат слова Думчева после неудачного полета: «Я научусь всему этому не здесь! А там... только там!» Понять бы эту фразу как надо, раскрыть бы ее подлинный смысл!

Шуршал, стучал веничек соседки в коридоре. Полина Александровна прервала мое молчание:

— Я уже говорила вам, что за полетом Думчева наблюдал и мой брат, который учился в Петербурге в Политехническом институте. После этого полета брат часто навещал Думчева. Бывал он у Сергея Сергеевича и всякий раз, когда приезжал в Ченск в последующие годы. Вот что написал мне брат, когда узнал об исчезновении Сергея Сергеевича.

Я взял у Полины Александровны письмо и прочел:

«Дорогая Поля!

Я взволнован, потрясен твоим сообщением о Думчеве. Ты пишешь, что его одежда найдена на берегу моря. Неужели он утонул? С этим не могу примириться. По кусочкам, мозаично создаю образ этого человека. Его уж больше никогда-никогда не увижу. Что сильнее всего удивляло в нем? Многообразие интересов, научных поисков и опытов! Однажды, наблюдая за его опытами, я подумал: «Это невысказано! Как же вмещаются в голове одного человека научные интересы, столь разные и далекие один от другого? Что, если все — только порыв, увлечение?» Не удержался, сказал Думчеву об этом. Он не рассердился: «Да, понимаю! Так со стороны может показаться... Но за кем следую? У кого учусь?»

С необыкновенной живостью он кинулся к книжной полке, достал Пушкина и прочел:

«Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник...»

О ком это сказано? О Ломоносове! За ним надо следовать, у него учиться, как проникать в разные отделы науки».

«Так было когда-то... — сказал я. — Далеким восемнадцатым веком!»

«Когда-то? А я докажу, покажу, что естественные науки и техника переплетаются. И у мухи, стоящей в воздухе, надо учиться, как строить самолет. Разные науки — совсем не разные. И даже математика и поэзия едины!»

Тут уж я не выдержал:

«А вы сами-то и впрямь верите, что математики писали стихи, а поэты...»

«Лобачевский писал стихи так же, как любимый мною Тютчев. Оба они поэты! И близки друг другу по духу и по стилю».

«Что ж, — сказал я, — прочтите мне стихотворение Лобачевского».

«Прочту Тютчева, а затем Лобачевского, — сказал он. —

Для них и солнцы, зная, не дышат
И жизни нет в морских волнах.
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела.
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!

А теперь послушайте, как у Лобачевского:

«Но вы, которых существование несправедливый случай обратил в тяжелый налог другим, вы, которых ум отупел и чувство заглохло, вы не наслаждаетесь жизнью! Для вас мертва природа, чужды красоты поэзии, лишена прелести и великолепия архитектура, незанимательна история веков...»

Думчев читал эти строки как-то торжественно. Но я так и не понял, что же общего между Тютчевым и Лобачевским.

И вот теперь, когда Думчева нет, я взял в руки томик Тютчева и труды Лобачевского, прочел снова те же отрывки и говорю: «Да, Думчев был прав. В те дни я не понимал его. Теперь за это бичую себя».

Почему-то сейчас вспомнился один разговор с Сергеем Сергеевичем. Это было утром в день моего отъезда из Ченска, когда я пришел к нему попрощаться. Я сказал:

«Вот вы ведете поиски в разных областях науки. Но где же цель, в чем ведущая задача?»

«Чтоб стать микроскопом, живым микроскопом!» «Вы смеетесь, Сергей Сергеевич». «Ничуть, — продолжал Думчев серьезно и просто. — Почему вы не желаете допустить, вообразить: человек делает разнообразные опыты и приходит к находке самых удивительных ферментов. Допускаете?» «Допускаю», — сказал я.

«А допускаете ли вы, что такие ферменты лежат теперь здесь, перед вами на столе, в виде порошка? Человек принимает этот порошок. И вот...» Думчев задумался.

«...и вот, — подсказал я, — человек видит мир как будто сквозь стекла микроскопа».

«Почему — как будто? Мир перед этим человеком действительно начнет вырастать в масштабах, потому что человек начнет... — Думчев не закончил фразы и весело рассмеялся: — А здорово я над вами подшутил? Человек микроскоп... могущественные ферменты... Не правда ли, какая нелепая, смешная выдумка? — Думчев смеялся все заразительнее и все веселее. — А вы вот-вот и поверили бы мне».

Он схватил скрипку и заиграл мазурку Венявского...

«Милая Поля! Я знаю, что все деньги Сергей Сергеевич тратил на опыты или на покупку лекарств для больных. При мне к Думчеву приходил хозяин домика и говорил: “Вам, доктор, ничего не остается, как броситься в море, — арендную плату вы мне не уплатили еще за прошлый год”».

Уплати же, Полина, по получении моего письма все, что причитается хозяину. Поселитесь с мамой в этом домике. Запри на замок лабораторию. Приеду, разберусь в записках, работах, опытах Думчева.

Заканчиваю письмо, уж пятый час ночи. Что-то странное и непонятное есть во всей этой истории... Самоубийство? Но столько начато поисков! И какая-то великая научная задача, стояла перед Думчевым! Не мог же он сам все оборвать. И потом: самоубийство — это трусость. А я вижу Думчева таким спокойным, смелым, сосредоточенным, каким он стоял на помосте на ярмарочной площади, готовый к своему безумному полету... Напиши мне, Поля дорогая, все поподробнее и яснее. Как хочется поскорее приехать к вам, повидать всех вас!

Твой брат Андрей Булай».

— Но ответить брату я не смогла, — тихо и горестно сказала Полина Александровна. — Провокатор выдал брата царским жандармам. Андрей участвовал в одном революционном деле. Он скончался, когда гнали по этапу в ссылку. Я сделала, как просил брат, — поселилась в этом доме. Лабораторию я заперла на замок. Все в ней осталось в таком виде, в каком она была, когда Сергей Сергеевич бросил на нее свой последний взгляд... Вы, может быть, хотите посмотреть лабораторию? — Старая женщина достала из ящика столика большой ржавый ключ.

В лаборатории Думчева

Я распахнул дверь, чтобы пойти вслед за Полиной Александровной в лабораторию. Булай взяла с собой свечу в медном подсвечнике и спички.

На пороге перед нами предстала соседка Авдотья Васильевна. Она как-то значительно посмотрела на меня, точно собиралась что-то сказать, но промолчала.

Мы поднимались по узкой внутренней лестнице со скрипучими ступеньками. Остановились на небольшой площадке перед лабораторией Думчева. Булай отомкнула ржавый замок, висевший на дверях.

Огонек свечи, неровный и колеблющийся, вырывал из темноты лаборатории всевозможные предметы: колбы, книги, склянки, ноты, скрипку в футляре, штатив с пробирками, портреты, микроскоп, медный чайный подносик со стаканом и блюдечком, спиртовку, лупу.

Я взял из рук Полины Александровны свечу и осторожно обошел всю небольшую комнату. Осмотрел стены, потолок. Это был мезонин слегка округлой формы. С улицы он-то и казался башенкой. Окна были закрыты плотными ставнями. Полине Александровне было, наверное, тяжело и тоскливо бывать здесь. И сразу же она оставила меня одного. Хорошо помню, как она уходила: медленные, тихие, осторожные шаги.

На отдельном столике стояло диковинное сооружение. Это была, по-видимому, модель насекомого в полете. Здесь же лежала записка. Смахнув пыль, я увидел: острый, с легкой вязью, несколько старомодный почерк. Знакомый почерк! Это была та же рука! Та, что писала микрозаписки, которые я читал в институте под микроскопом.

Молча стоял я, держа в руках свечу, и думал: «Это он, Сергей Сергеевич Думчев, писал о каком-то путешествии, в которое отправляется, чтобы передать дневник открытий. Какое это путешествие? Для чего он уменьшал текст записок? И как записки, написанные им давно, могли оказаться теперь на цветах у беседки? Или не Думчев, а кто-то другой уменьшал при помощи фотографии листки его старого дневника и уронил их на цветы?»

Тишина прислушивается к этим вопросам. Она прислушивается и к скрипу телеги, проезжающей по булыжной мостовой, к отдаленному сигналу автомобиля, запутавшегося в переулках. Прислушивается. Молчит. Все годы тишина хранила легкий звон колб и склянок, переставляемых Думчевым, хранила шорох перелистываемых книг, сухой скрип пера, хранила тяжелые шаги сосредоточенного человека, в последнюю минуту в раздумье остановившегося у этих дверей. Тишина прислушивалась: вот шаги стали удаляться — все глуше скрипели ступени. Неожиданно резко хлопнула наружная дверь. Тишина вздрогнула. Жалкое трепетание колокольчика там, внизу, — вот последнее, что услышала тишина. И человек исчез! Навсегда!

И с тех пор тишина лаборатории, сроднившаяся со своим доктором, хранит эти звуки и чутко ждет — с каждым годом все настроженнее, — не раздадутся ли знакомые шаги, не зазвучит ли его голос, не зашелестят ли снова страницы книг под его рукой, не запоют ли снова струны скрипки — вот этой скрипки, которая лежит на углу стола в запыленном футляре.

Но почему в моей голове зазвучала мазурка Венявского? Почему возник этот мотив, возник и не уходит? Потому что на скрипке Думчев играл мазурку, говоря о ферментах, о порошке и о человеке-микроскопе.

Где же этот порошок?

Надо осмотреть лабораторию. В записке, лежащей около сооружения, напоминающего модель насекомого в полете, объяснялась «тема» этого сооружения.

Привожу дословный текст.

«Искусственное воспроизведение полета насекомого.

С целью сделать более наглядными действие крыла насекомого и влияние на него сопротивления воздуха устроен сей аппарат.

Фигура сия изображает два искусственных крыла, имеющих твердую жилку, к которой прикреплены сзади кусочки кишечной перепонки, поддерживаемой крепкими тонкими нитями. Плоскость этих крыльев горизонтальна; прибор из рычагов поднимает и опускает их, не сообщая им никакого бокового движения. Крылья приводятся в движение маленьким медным барабаном — компрессором, в котором воздух переменнo сжимается или разрежается действием насоса. Поверхности барабана сделаны из каучуковых пластинок, сочлененных с обоими крыльями рычагами; воздух, сжатый или разреженный в барабане, сообщает упругим перепонкам сильные и быстрые движения, которые передаются одновременно обоим крыльям. Горизонтальная труба, уравновешенная гирей, позволяет аппарату вертеться вокруг горизонтальной оси и служит в то же время для приведения воздуха из насоса в двигательный барабан. Ось состоит из ртутного газометра, допускающего герметическое закрывание воздушных трубок и вместе с тем позволяющего инструменту свободно вертеться в горизонтальной плоскости.

При таком устройстве аппарата можно изучить механизм, посредством которого сила сопротивления воздуха в сочетании с движением крыльев обуславливает движение насекомого вперед.

Действительно, если с помощью воздушного насоса привести в движение крылья искусственного насекомого, то можно видеть, что аппарат начинает быстро вертеться вокруг своей оси.

Механизм движения насекомого объясняется, стало быть, этим опытом».

Удивительные записи, рисунки и пространные чертежи лежали тут же, точно Думчев спорил, был вовсе не согласен с чужим проектом сооружения и собирался построить по своим чертежам какую-то иную модель насекомого в полете.

Я не очень хорошо разбираюсь в проектах, чертежах, моделях машин, конструкций, сооружений, но никогда не оставался равнодушным к ним. Здесь ум и сердце человека искали, находили, снова теряли, терпели поражение, но побеждали. Здесь изобретатель горевал и радовался точно так же, как писатель в работе над книгой, как художник — над картиной.

Записи Думчева производили впечатление поисков ума, своеобразного и сильного. В самом деле, разве можно предположить, что кто-нибудь подсчитает число взмахов крыла насекомого в одну секунду? У Думчева я нашел вот такую таблицу:

Здесь же, под таблицей, было отмечено полное совпадение движений обоих крыльев насекомого: оба крыла движутся одновременно, и оба совершают одинаковое число движений.

В записках Думчева несколько раз повторяется: «Я найду, непременно найду настоящую причину летательной силы насекомого!»

На отдельном листке было сделано презанятое вычисление: «Вес грудных мускулов птицы составляет одну шестую часть всего тела, в то время как у человека это соотношение равно одной сотой. А у насекомого?»

«Главное — исследовать силу мышц насекомого при полете. Определить, какой груз может поднять крыло насекомого».

Затем была еще одна запись:

«Нашел! Вот! Вот причина летательной мощи насекомого!.. Вертикальные и продольные мышцы насекомого. Энергия вертикальных мышц поднимает крыло. Энергия продольных — опускает. Взмах крыла — отброшена струя воздуха, и

перед насекомым воздух пониженного давления. В любом направлении насекомое может сбрасывать токи воздуха. Не поэтому ли оно может подниматься под любым углом?»

А рядом была новая запись:

«Теперь остается найти последнее: как и почему оно (по-видимому, речь шла о насекомом) стоит в воздухе?»

Быстрые, азартные росчерки пера. И при этом очень деловые и точные записи, чертежи и фотографии.

Из них я мог заключить, что в своих опытах Думчев шел невероятными путями: он применял одновременно и графический, и оптический, и даже музыкальный метод.

И тут опять были какие-то непонятные чертежи. На одном я увидел сопоставление дрожаний... камертона и взмахов крыла у шмеля и пчелы.

Первые две линии этого чертежа были обрывистые, почти точечные и показывали частоту взмахов крыла у шмеля; третья линия была волнообразная, с острыми гребнями. Она была образована дрожанием камертона, снабженного острием. А вот пожелтевший листок нотной бумаги с записями весьма странных «мелодий». Это напевы комаров, шмелей, мух...

На полках было расставлено множество книг и журналов. Тут же, в деревянных библиотечных ящичках, — хорошо организованная картотека. Все в строго алфавитном порядке. Я обратил внимание на то, что в одном ящичке лежало всего несколько карточек не по алфавиту: Свифт — «Путешествия Гулливера» (на английском языке), Афанасьев — «Сказки», Н. Рубакин — «Дедушка Время», Е. Маевский — «Доктор Мухолапский» (на польском языке), Ринер — «Человек-муравей» (на французском языке), Ласвиц — «На мыльном пузыре» (на немецком языке).

На каждой карточке была аннотация книги. Я прочел их при свече. Все эти столь разные книги, написанные на разных языках и в разное время, были схожи в одной детали — в неожиданном сопоставлении масштабов героя и окружающей его среды.

На другой полке я увидел карточку «Кибальчич». К перечню физико-механических опытов удивительного русского человека, самоотверженного героя-революционера и гениального изобретателя было приписано обращение Думчева к нему: «Ты, казненный царем! Ты, начертавший проект реактивного двигателя! Имя твое вспомнят, когда человек полетит в мировое пространство и познает далекие миры».

И рядом с этим возгласом стояли два слова, написанных красным карандашом: «Личинка стрекозы». Эти слова были подчеркнуты тем же красным карандашом.

Что это — бред? Что общего между проектом Кибальчича и личинкой стрекозы?

Или вот — на карточке Циолковского было написано: «Ты, мой дорогой современник! Человечество реактивным двигателем покорит межпланетное пространство».

Но опять рядом с этим обращением к Циолковскому была красная, подчеркнутая надпись: «Личинка стрекозы». «Какая странная приписка!» — решил я. Необычная лаборатория, где записываются мелодии комаров, где подсчитываются взмахи крыльев осы... Где на карточках трудов Кибальчича и Циолковского вспоминают о личинке стрекозы... Да, о ней упоминалось и в микрозаписке... Какой хоровод нелепостей в одном маленьком доме тихого городка! И как загадочны микрозаписки, в которых Думчев дает людям ненужные запоздалые советы, как лечить туберкулез, или пишет о том, что мир вырос перед ним в «сто — двести раз»...

Горит свеча. Закрыты ставнями окна лаборатории. Молчат книги. Молчат колбы, склянки и пробирки. Молчит старенький микроскоп, устало наклонив свой окуляр над запыленным предметным стеклышком.

Где же он теперь, Думчев? Что с ним случилось? Я оглядываю в последний раз лабораторию. Смотрю на пыльный футляр, в котором лежит скрипка Думчева, вспоминаю мазурку Венявского — ее исполнял он, говоря о ферментах, о порошке, о человеке-

микроскопе... Да! Я так и не нашел порошка в лаборатории! Разве можно что-либо найти в пыли, при свече и закрытых ставнях?

Лампа с рефлектором

И снова скрипящие ступени, свеча в руке — как бы не оступиться на темной лестнице; недоумевающий взгляд соседки с веничком в руке: «Какая вам, гражданин, выгода будет из всего этого?»

Я спросил Полину Александровну, где порошок, о котором упоминает в своем письме ее брат Андрей. Хорошо бы сделать химический анализ.

— Не знаю, — произнесла она с горечью и болью в голосе, — не знаю, где порошок. Чужие люди обшарили лабораторию, искали, всё пересмотрели, но не нашли никаких порошков.

С наивной беспомощностью она стала перебирать пальцами бахрому салфетки на небольшом столике и с грустью смотрела в окно, за которым уже разгорался летний день. И вдруг точно вспомнила:

— Да, одну записку Сергея Сергеевича я никому не показывала. В последний раз я видела Сергея Сергеевича в субботу вечером...

Я слушал внимательно, не перебивая, и, только когда рассказ кончился, понял, как много в нем связано с этой запиской.

— ...Я зашла к Сергею Сергеевичу с горничной Дуняшей, чтобы передать книги, которые у него взял брат и не успел сам занести перед отъездом. И, когда мне было пора идти домой, он вдруг задумался, взял скрипку и запел «Буря мглою небо кроет». Он всегда был задумчив, у него было большое грустное сердце. Но в этот вечер улыбка и взгляд были радостны. Я стала подпевать. Музыка захватывала его все больше и больше. Где-то далеко прогрехотал гром. На небе собирались тучи. Мне надо было поскорее вернуться домой. Но я не решалась прервать скрипку. Сергей Сергеевич все играл и играл. Гром ударил совсем близко.

«Барышня, барышня! — вбежала моя горничная. — Я вам из дому зонтик, калоши и шаль принесла».

Думчев опустил скрипку. Я поспешно попрощалась, просила не провожать меня. Он сказал, что всю ночь будет играть. Мы с Дуняшей побежали домой. На повороте улицы, под дождем, я оглянулась. В последний раз! Ах, какая гроза была! Ливень...

Я слушал Полину Александровну и припоминал голос, прерываемый кашлем, там, в поезде... «Помню, большая гроза была. С ливнем. И вдруг скрипка... совсем близко стала слышна».

— Ночью дождь то стихал, переставал, то снова начинал лить. Дул ветер. Деревья шумели под окном. Все в доме рано легли спать. Задремала и я. Вдруг слышу тихий частый стук в мое окно. Прислушалась. Стук по стеклу повторился. Кто-то стучал все настойчивее. Собака на дворе было залаяла. Сразу же стихла, заскулила под окном — словно знакомого узнала. Я подбежала к окну. Прильнула лицом к стеклу. Приставила ладони. На меня сквозь мокрое стекло смотрят знакомые глаза: Сергей Сергеевич! Я вскрикнула. Тут Дуняша со свечой вбежала из другой комнаты:

«Барышня! Барышня! Что с вами?» «Ничего, иди спать!» — ответила я. Она ушла. Я распахнула окно. Тревожно и глухо шумел за окном мокрый сад. Дождь шел все сильнее. И мне почудились чьи-то тяжелые удаляющиеся шаги. Это был Думчев. Он, наверное, приходил к моему дому, хотел что-то передать; но не посмел, а Дуняша со свечой спугнула его.

Наступило утро, серое, туманное. Небо не прояснялось. И было странно слышать, как весело чирикают мокрые воробьи. И я увидела под моим окном на сырой земле след. Он был полон воды. Я сразу послала Дуняшу к Сергею Сергеевичу. Она вернулась и говорит:

«Пропал наш доктор!»

А в городе уже пошли нехорошие слухи. Говорили, что доктор утонул и даже одежду нашли.

Как-то, проходя через кухню, я увидела, что Дуняша разжигает какой-то бумажкой лучину для самовара. Мне бросился в глаза знакомый почерк... Я выхватила, затушила, расправила скомканную обгоревшую бумагу. Да, это был почерк Сергея Сергеевича. Легкомысленная Дуняша не смогла толком рассказать, где и как она взяла бумажку.

Полина Александровна подошла к дубовому резному шкафчику с опускающимися и поднимающимися решеточками, собранными и составленными из хорошо отполированных планочек — свидетельство неторопливой мысли столяров девятнадцатого века, — и стала что-то искать.

— Я ищу, все ищу, — говорила она, — и все никак не найду. Где же она, где эта записка?.. Ах, вот она!

Бережно и осторожно положила она на стол бархатную папку, открыла ее:

— Читайте!

На обгорелой бумаге я прочел следующее:

«Глубокоуважаемая Полина Александровна! На время вынужден уехать. Прошу Вас, зажигайте по вечерам лампу с рефлектором в моей лаборатории... читайте... Дарвина и Фабра».

Все тот же почерк: на всех записях в лаборатории, на листках, прочитанных под микроскопом, и на обгорелой потускневшей бумажке.

И, чем внимательнее я всматривался в разрозненные слова, тем больше овладевало мной тревожное чувство, тяжелое беспокойство. Эти отдельные слова, едва уцелевшие от огня, такие заброшенные и одинокие, придвинули меня к судьбе того неизвестного человека, который когда-то вложил в них столько надежд. Что с ним случилось? «На время вынужден уехать»... Может, он и не утонул?

— Я поступила так, как писал мне брат: переехала в домик, где жил и откуда ушел Сергей Сергеевич, — сказала Полина Александровна и с большой горечью продолжала: — Тогда, давно, сразу после ухода Думчева сюда приходили люди, смотрели, удивлялись. И я примечала столько недоверчивых улыбок, столько иронических взглядов! Но я не обращала на это внимания. Никому не позволяла тронуть ни один предмет в его доме. Но, наверное, один из любопытствующих посетителей был злым шутником.

В провинциальном юмористическом журнале этот случай был описан как курьез и даже с карикатурой. Вот у меня сохранился этот журнальчик. Не правда ли, у него такое легкое название — «Мотылек», а так тяжело он обидел меня. Вот, вот, читайте на семнадцатой странице...

«В связи с продолжающимися разговорами, — прочел я в пожелтевшем юмористическом журнальчике, — о таинственном исчезновении жителя города Ченска доктора Думчева наш журнал не остановился перед затратами и направил в сей город своего корреспондента господина Петрушина, который любезно предоставил редакции достоверный художественный рассказ об этом событии в виде драматической пьесы в четырех картинах.

Картина I. На улице Ченска. Воскресенье. Полдень. Звонят колокола. Двери церкви настежь открыты. Подъезжают фаэтоны, дрожки, коляски. А за рессоры колясок цепляются босоногие мальчишки. И, когда извозчик вспугивает их кнутом, они бегут рядом с колесами и кричат:

— Женится! Доктор-стрекоза сегодня женится!

Картина II. Дом жениха. Вбегает соседка. Кричит прислуге доктора:

— Арсеньевна! Скорей! Скорей! Певчие в храм уж пошли! Жених-то твой готов? Арсеньевна стучит в дверь:

— Сергей Сергеевич, пора! Скоро венчание! Вот возьмите накрахмаленную сорочку.

Дверь открывается, из-за двери высовывается рука доктора за сорочкой. Дверь захлопывается. Вскоре Арсеньевна снова стучит в дверь:

— Не желаете ли, Сергей Сергеевич, выпить стакан чаю и откусать моего слоеного пирога перед венчанием? А то день-деньской — ни маковой росинки.

— Пожалуй! — говорит доктор, подойдя к двери. И опять из-за двери высовывается рука и берет поднос со стаканом чаю и пирогом.

— Сергей Сергеевич! Шафер прибыл за вами! Дверь закрывается.

— Пора, Сергей Сергеевич! — кричит шафер.

— Простите! Не могу вам открыть дверь — я еще не одет. Сейчас! Сейчас!

Шафер ждет немного, снова стучит:

— Скорее!

— Иду! — слышится из-за двери.

Картина III. В доме невесты. В подвенечном наряде сидит невеста. Ждет. Никто за ней не приезжает. Она восклицает:

— Ничего не понимаю! Ничего не понимаю!

Картина IV. Снова в доме жениха. Стучат в дверь. Ответа нет. Открывают дверь. Комната пуста! На столе, на полу в неопишемом беспорядке валяются свадебный фрак... накрахмаленный воротничок... сорочка... галстук... брюки... ботинки...

— Доктор, доктор!.. Где вы?

Смотрят под стол, открывают шкафы, даже в открытое окно глядят. Но под окном все время стоят любопытные ребята.

Они кричат:

— Сюда не смотри! Из окна никто не прыгал.

— Доктор! Где вы? Где вы?.. Молчание.

— Истратился! Как будто истратился человек! — всплескивает руками старушка Арсеньевна. — И дни и ночи работал, работал, тратился, тратился — и истратился!

Соседки и кумушки ее поддерживают:

— Истраченный человек!»

Я прочел этот нелепый фельетон, — порождение скуки, безделья и злобы давно прошедших времен. На лице Булай, когда она брала из моих рук журнальчик, отражалось такое отчаяние, словно все вокруг нее рушилось. Видно, бывают обиды-раны, которые слишком долго ноют.

Я заговорил:

— Стоит ли пустая злая шутка, написанная в бесцветное старое время, стоит ли она того, чтобы живые чувства и мысли застыли на ней, как это случилось с диккенсовской героиней, которая сама в минуту отчаяния навсегда остановила свои часы в столовой — «остановила часы своей жизни»?..

Не знаю, мои ли слова помогли старой женщине отодвинуть от себя подальше обиду или это сделали ее душевные движения — те движения, которые ни на миг не покидают человека и, беспрестанно меняясь, переливаясь, толкают мысли и чувства к надежде, к уверенности, что его ждет впереди что-то радостное, — но старая женщина посмотрела светло и ясно на записку:

— Ах, если вам, Григорий Александрович, удастся разгадать смысл обгорелой записки! Отгадать теперь, через много-много лет, то, что никто не мог сделать до сих пор. Здесь написано: «Читайте... Дарвина и Фабра...» Я прочла и Дарвина и всего Фабра. Но все сотни и тысячи страниц, которые я читала и перечитывала, не восстановили для меня тех нескольких слов, что были уничтожены спичкой при разжигании самовара. Или вот: «Зажигайте мою лампу с рефлектором»... Вы видели — у самого окна лаборатории,

выходящего на запад, на деревянной подножке стоит зеркало. Оно прикрыто материей. Когда-то она была белой. Рядом стоит лампа с рефлектором. Рефлектор направлен на зеркало. Вечерами я открывала окно, зажигала лампу и направляла рефлектор на эту белую материя. Так лето и прошло. Наступили дни осени, холодные и ненастные. Рано стало темнеть. Хлопали ставни. Я закрыла окна, забила ставни в башенке-лаборатории.

— Но я не заметил, Полина Александровна, не разглядел при свече в лаборатории ни лампы с рефлектором, ни белой материи, натянутой на зеркало. Нельзя ли открыть ставни?

Дверь в комнату, где мы сидели, приоткрылась, и соседка Авдотья Васильевна сказала:

— Я лестницу на улицу уже вынесла, ставни сейчас открою. Галерея-то ветхая, ступить на нее страшно.

Дневной свет хлынул в лабораторию. И я увидел на окне обыкновенную керосиновую лампу с металлическим потускневшим отражателем, увидел и зеркало, на котором была натянута когда-то белая материя. Но поразило меня то, что на вещах, на книгах, на скрипке, на полу — одним словом, всюду — лежали мертвые насекомые.

Странное кладбище! Бабочки, комары, жуки валялись в самых различных положениях в толстом слое пыли. Кругом была пыль. Пыль и пыль!..

Напрасные усилия

Наблюдательность, наблюдательность!.. Аристотель свыше двух тысяч лет назад по рассеянности сделал описку в одном трактате. Он написал, что у мухи четыре пары ног. Описка. Только смешная описка. Но вот что Действительно удивительно: многие столетия ученые отгоняли от себя надоедавших им мух, но не потрудились проверить Аристотеля! Из одной рукописи в другую переносили они это недоразумение: муху с четырьмя парами ног.

Я брожу по берегу моря. Волны, набегая на берег, повторяют: «Наблюдательность, наблюдательность...»

Вот осмотрел я лабораторию. Думчев пишет в своей записке, которая случайно обгорела, о лампе с рефлектором. Видел я и эту лампу. Но что с того? Только пыль на пальцах осталась. Побывал я и на том месте, где Белянкин с цветами подобрал первые записки Думчева. Смотрел, наблюдал... Но увидел росистую траву. Ничего примечательного там не обнаружил, и только случайно развязавшийся шнурок помог подобрать дохлого паука и с ним — еще одну записку.

Чтобы решить трудную задачу, связанную с исчезновением Думчева, надо было в лаборатории что-то исследовать, подметить какую-то мелочь, разглядеть какую-нибудь незаметную деталь. И такая деталь подсказала бы, как дальше вести поиски Думчева.

Только подлинно наблюдательный человек увидит обычное, простое явление жизни в новом значении, в неожиданном свете.

Я ставлю себе в пример десятилетнего мальчика. Это было давно и связано с изобретением парового насоса для откачки воды из рудничных шахт.

Мальчика поставили на работу: он обязан был целый день стоять у машины и попеременно то открывать кран с горячим паром — для заполнения цилиндра, чтобы поршень давлением пара гнало вверх, то открывать кран с холодной водой, чтобы охлаждался пар и поршень опускался. Это нетрудно. Но как скучно, однообразно, надоедливо! А с зеленого луга доносятся веселые возгласы детей, играющих в мяч. Хорошо бы поиграть с ними, а машина бы в это время сама работала!

Мальчик крепкой бечевкой соединил ручки обоих кранов. Краны стали попеременно открываться и закрываться без его помощи. Вдруг перебой в работе — веревки перетерлись. Машина стала. Позвали изобретателя парового насоса. Он увидел обрывки веревки и все понял. И не стал ругать испуганного мальчика, все еще державшего мяч в руке.

Изобретатель был в восторге: наблюдательность мальчика подсказала ему, что вместо веревок надо поставить взаимодействующие рычаги для автоматического открывания и

закрывания кранов. Наблюдательность!

Волны морские — всегда новые, всегда другие — набегают на берег...

Я пренебрег чем-то важным в своих размышлениях, в поисках. Правда, я догадался, что Думчев, а не кто-либо другой писал странные микрозаписки под разными номерами. Зря меня поднимала на смех доцент Воронцова. Не ее скептическая манера и сдержанная осторожность профессора Тарасевича привели меня в лабораторию Думчева. Помог ли мне случайно услышанный разговор в поезде? Нет, я в него не поверил. Помогли ли мне микрозаписки? Но я их не понял, не прочел как надо. Но зато как-то связал в своем воображении разговор в поезде о судьбе какого-то доктора с микрозаписками. Но что было между ними общего? Очень многое: необычная история исчезновения доктора и необычность текста микрозаписок: «Странная участь, моя невероятная судьба...»

Не отрицаю, старый сторож института, случайно услышавший мой разговор со Степаном Егоровичем об исчезнувшем докторе, сказал мне, что такой доктор действительно жил в Ченске, и указал дорогу в лабораторию. Что же это — случай? На первый взгляд — да.

Ученые стремились получить искусственную краску индиго. Когда-то она очень ценилась в промышленности. Эта краска с давних времен добывалась из тропического кустарника индиго и стоила очень дорого. Все поиски заменителя были безрезультатны. Рассказывают, что случай, только случай помог ученому. Было так: в лаборатории разбился термометр, ртуть случайно попала в химический состав, уже отвергнутый как негодный. Произошла химическая реакция с ртутью. Индиго — драгоценный состав для окраски материй — был найден. Все это так. Но действительно ли случай помог ученому?

Или вот: Колумб собирался открыть западный путь в Индию, а открыл Америку. Случай? Но тут же я вспомнил замечание Марка Твена; оно, кажется, таково: «Вы говорите — случай помог Колумбу открыть Америку? Нет! Весьма странно было бы, если бы он не „открыл“ Америки: она ведь всегда стояла на своем месте». Это, конечно, шутка юмориста.

Но случай с индиго... Разве этот краситель в свое время после ряда опытов не научились добывать химическим путем? Ведь вся целесообразность предыдущих опытов уже привела ученых к последней грани открытия, к этому «случаю». Ведь один-другой эксперимент — и краска была бы найдена без «помощи» разбитого термометра.

Случай ли помог мне оказаться в лаборатории Думчева? Отнюдь нет. Весь ход моих рассуждений привел к тому, что микрозаписки мог писать только доктор, исчезнувший из Ченска. И если бы сторож института не назвал его, то я все равно бы узнал имя и адрес доктора. Через день-два, через неделю — какими-то другими путями. Нет, не случай нас подстерегает, а человек своим разумом и трудом подстерегает случай.

Но как дальше распутать историю Думчева?

Море шумит. И сколько его об этом ни спрашивай, ответа не даст. Море живет своей большой жизнью, как живет своей маленькой жизнью эта бабочка, что пролетела мимо меня. Но мертвые бабочки и другие насекомые лежат в пыли на столах, стульях, на полу в лаборатории Думчева. Их много. Какое-то кладбище насекомых, а не лаборатория. Рассматривать мертвых насекомых? Пыль?

Думчев просил, чтобы Полина Александровну читала Дарвина и Фабра. Надо выполнить просьбу Думчева. Побывать в библиотеке, взять книги Дарвина и Фабра. Хотя бы перелистать.

Как часто будничные, мелкие дела, обыкновенные предметы вызывают в человеке самые причудливые сопоставления. И я попытался здесь, сейчас, собрав и сосредоточив свои мысли на всех деталях дела, решить каким-либо неожиданным, необычным ходом загадку. Напрасно! Все это ни к чему не привело.

— Довольно! — сказал я сам себе. — Я устал.

Нашел!

Я помню хорошо это утро. Только проснулся в номере гостиницы — сразу подумал: сегодня надо сдать в библиотеку книги Дарвина и Фабра, которые я все эти дни перечитывал. Ни подсказа, ни намека на решение моей задачи я не нашел в них. Сегодня же надо зайти на вокзал, купить билет в Москву (на курорт уже не поеду) и еще побывать в институте — попрощаться.

Я шел в библиотеку. Какое щедрое, доброе утро! Небо высокое, голубое, глубокое; краски цветов в палисадниках яркие. Цвет листьев на деревьях густо-зеленый. А ветерок — зелено-голубой: перед тем как прилететь в город, ветерок смешал запах степных трав с запахами моря.

Но в это радостное утро я не мог отделаться от сознания своей беспомощности: не прочел обгорелую записку, не понял я и те две микрозаписки, которые случайно оказались у меня. Так и уеду в Москву с тревогой на душе.

А вот и библиотека. Множество деревянных колонн, а над ними крыша с неожиданным острым шпилем и флюгером. Точно архитектор уже начал строить здание, потом передумал и изменил свой первоначальный план.

Кому не знакомо чувство — помедлить, затянуть расставание с благородной и умной книгой. Не потому ли и я, перед тем как сдать книги, присел на стул и стал перелистывать оба тома Фабра «Инстинкт и нравы насекомых», а затем углубился (в который раз!) в просмотр многотомного Дарвина.

Шелестели газеты в руках читателей. У барьера, где шла выдача книг, две девушки тихо сговаривались: «Надо читать критические статьи... Белинский... Добролюбов... Чернышевский... Что раньше читать?»

Пора было сдать книги, сказать библиотекарю, что я уезжаю, взять залог, попрощаться, уйти. Но я медлил. Смотрел на раскрытые страницы, думал о случайностях в жизни человека, рассматривал лица читателей. С веселым или скучающим видом они складывали или раскладывали общие тетради, ручки, сдавали или брали книги и медленно или быстро уходили, приходили. Внимание мое привлекло подвижное и тонкое лицо юноши в очках, сидевшего напротив. Около него на столе было много разных книг. Он то начинал читать одну, потом откладывал ее, брался за другую. По оттенкам выражения его лица я пытался догадаться, какие книги он читает. Вот он мечтательно задумался. «Это он читает Александра Блока», — решил я: «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» Юноша отложил книгу. И я увидел на переплете: «Введение в историю географии растений». Тут же я обратил внимание на сосредоточенное выражение лица другого юноши, который на уголке стола читал какую-то книгу с бесконечными примечаниями и ссылками: он то и дело перелистывал книгу, заглядывал на последние страницы и опять начинал читать. Наверное, он читает историю физики или химии. Проходя мимо него, я узнал строчки из «Евгения Онегина», издание Академии наук, том VI.

Этим двум, видно, очень хотелось поговорить. Но, чтобы не нарушить тишины читального зала, они бросали друг другу записки. Переписывались.

Я уже стоял у барьера, сдавал Дарвина и Фабра, получал залог и, глядя на азартную переписку юношей, спросил:

— А есть ли в библиотеке что-нибудь о переписке Дарвина и Фабра?

— Нет, переписки такой нет. А вот есть еще одна книга: Легре — «Жизнь натуралиста Фабра».

Стоя у барьера, я начал перелистывать томик. И увидел: письма Дарвина и Фабра! Оказывается, Дарвин переписывался со своим современником Фабром. Переписка!

В обгорелой записке остались слова: «...читайте... Дарвина и Фабра». Какое же слово было сожжено? Какое слово поставить между словами: «читайте» и «Дарвина и Фабра»? Надо поставить одно слово: «переписка»! Все ясно: «читайте переписку Дарвина и Фабра». Да! Такая книга имеется в библиотеке Думчева, она лежит на видном месте!

Но что, что же подскажет мне переписка двух замечательных ученых девятнадцатого века?

Письмо Дарвина к Фабру было датировано январем 1880 года. Значит, это было за три года до смерти Дарвина. Я стал читать письмо. Оно меня поразило.

Письмо было посвящено практической проверке вопроса: есть ли у насекомых чувство ориентировки на местности?

В письме была разработана своеобразная задача: как сбить пчелу с того пути, по которому она инстинктивно летит в свое гнездо?

Дарвин писал:

«Дорогой сэръ!

Позвольте мне подать вам одну мысль в связи с вашим чудесным рассказом о нахождении насекомыми своего дома. Нужно отнести насекомых в бумажных трубках на сотню шагов в направлении, противоположном тому, куда вы предполагаете в конце концов занести их. Но, прежде чем повернуть в обратную сторону, нужно поместить пчел в круглую коробочку, которую можно вращать вокруг оси с большой быстротой сперва в одном направлении, потом в другом так, чтобы на время уничтожить у них чувство направления. Этот опыт пришел мне в голову, когда в «Путешествиях Врангеля по Сибири» я прочел о замечательной способности самоедов держаться взятого направления в тумане во время странствий по ломаной линии среди торосов.

Ч. Дарвин».

Великий ученый разработал стратегическую задачу: запутать, перехитрить пчелу, сбить ее с пути, чтобы она не нашла своего улья.

Выполнить эту задачу должен был Фабр.

Итак, Дарвин и Фабр намечают одну цель, объединяются в одной задаче: сбить с толку пчелу. Дарвин и Фабр в сговоре против пчелы.

Фабр старательно готовится.

Он организует своеобразную колонию земляных пчел. Для лучшего выполнения задачи устраивает специальный хитрый снаряд.

Пчелы помечены краской. Поместив пчел в наглухо закрытую трубку, Фабр уходил с ней все дальше и дальше от их гнезда.

В самых неожиданных местах он кружит, петляет и вертит закрытую трубку, где помещены пчелы. Затем он открывает ее.

Пчелы выпущены на свободу. И они находят правильный путь, благополучно возвращаются домой. Правда, не все, но большинство.

Тогда Фабр задумывает другую операцию: уже не в открытой местности, а в самых сложных природных условиях — в густом лесу, среди зарослей и оврагов.

Результат тот же! Пчелы опять перехитрили Дарвина и Фабра: они находят путь в свое жилище.

Итак, Фабр убедился, что пчелы обладают чувством направления. Один из вечеров своей жизни Фабр называет «памятным».

В этот день, 6 мая, у него в кабинете вышла из кокона самка бабочки сатурнии плодовой, или большого ночного павлиньего глаза.

Кабинет Фабра превратился, как он рассказывает, в «пещеру колдуна»: в темную ночь, в бурю, в непогоду, сквозь чашу леса сюда прилетали бабочки-самцы. Они бились в окна, в двери, заполняли комнаты. Все летели, летели сюда!

Фабр ставит опыт с бабочкой дубовым шелкопрядом и убеждается, что бабочки обладают таким обонянием, которое совершенно безошибочно — за десятки километров! — ведет их к цели.

Тогда Фабр вот что придумал: он прячет самку. Но самцы летят к тому самому месту, где она раньше сидела, то есть туда, где сохранился ее запах.

Я сдал книги. Но, вызывая легкое недоумение библиотекаря, остался сидеть в прохладном, тихом читальном зале, где теперь в полдень даже летнее жаркое солнце,

пробившись сквозь густую зелень деревьев и путаясь в занавесках, с некоторой нерешительностью бросало свои лучи на цветы в горшках, на книги, на людей. Мысли мои шли в одном направлении.

По подсказу Дарвина, Фабр обнаружил безошибочное чувство направления у некоторых насекомых. Пчела как будто перехитрила и Дарвина и натуралиста Фабра. Здесь своеобразное проявление инстинкта. И еще Фабр предположил, что какой-то очень тонкий запах, совершенно неуловимый для нашего обоняния, зовет бабочек-самцов сквозь бурю, непогоду, в темную ночь к самке.

Нет, не только к самке, но и к тому предмету, который пропитается ее неуловимым для людей запахом.

Я думал: «Можно ли сомневаться, что путем сложных анализов будет получен состав, привлекающий бабочек за десятки кубометров? Разве не могу я допустить, что эти бабочки — дубовые шелкопряды и сатурнии — могут стать еще более верными письмоносами, чем почтовые голуби?»

Неоспоримо: бабочки всегда летят на свет. Тут я вспомнил другие сохранившиеся слова из обгорелой записки Думчева: «Прошу Вас, зажигайте мою лампу с рефлектором».

В лаборатории, у самого окна, выходящего на запад, на деревянной подножке стояла лампа. Ее зажигали, и бабочки летели на свет.

Можно ли к спинке бабочки привязать ниточкой одну из тех странных крошечных записочек, которые случайно оказались у меня? Безусловно! И, видно, много, очень много таких крошечных записок посылал Думчев на свет лампы с рефлектором, которую он просил зажигать в своей лаборатории. Живые письмоносы прилетали и приносили записки. Но Полина Александровна и не догадывалась об этих письмах. Теперь эти письма лежат, покрытые толстым слоем пыли.

Забытые в пыли письмоносы, когда-то трепетно порхавшие по лаборатории со своими письмами, теперь они мертвы! И письма, записки, написанные теплой рукой человека, никем еще не прочитанные, ждут, хотят сообщить о судьбе отправителя.

Я мчался по улицам городка — туда, в лабораторию. Было шумно. Жарко. Ярко. А мне чудился ночной поезд, луна, и я вновь слышал покашливающий, старческий голос, рассказывавший об исчезновении странного доктора. Я видел перед собой человека, которого преследуют. Он торопится, оставляет дом и не может или боится ясно и просто рассказать, как его спасти, как услышать его издалека. Он пишет записку. Но просьбу выполнить не смогли: запиской разожгли самовар.

Скорее, скорее!.. Еще несколько минут — и под стареньким микроскопом в лаборатории оживет и развернется предо мной подлинная история исчезновения Думчева. Я пойду по следам, почти занесенным пылью годов. Но будет найдена и прочтена вся летопись научных открытий Думчева — летопись, коротенькие отрывки которой я случайно нашел. Скорее, скорее!..

«Поаккуратней, гражданин!»

Я спешил в лабораторию и думал: как жаль — у меня не хватает времени забежать сейчас к профессору Тарасевичу и рассказать ему обо всем. После того как побывал в лаборатории, я уже несколько раз заходил в институт, но все не заставал. Мне говорили: «Директор по делам ремонта института бывает в разных учреждениях, и его трудно застать на месте». Но вот удача! Свернул на бульвар и столкнулся с профессором Тарасевичем. Мне показалось, что он посмотрел на меня отсутствующим взглядом и ответил на поклон совершенно машинально.

— Думчев! Доктор Думчев жил в вашем Ченске! — сказал я, останавливая Степана Егоровича.

— Думчев? Какой Думчев? О ком вы говорите?

— Я говорю о том Думчеве, который писал микрозаписки. А мы их считали шуткой и чьей-то потехой!

И сразу же испарились уравновешенность, спокойствие и выдержка профессора Тарасевича.

С волнением и нетерпением, подгоняя самого себя, стал я рассказывать все, что случайно и не случайно узнал, открыл и нашел в эти дни.

— И вот теперь, — заключил я, — надо спешить в лабораторию, чтобы прочесть всю историю Думчева, присланную им в записках на крыльях бабочек.

— Все верно! — воскликнул Тарасевич. — Ведь записочки, которые мы прочли под микроскопом, действительно очень легко привязать ниточкой к телу насекомого и переслать по надлежащему адресу. Прибегают к микрофотографированию. И это не ново. Когда в семидесятых годах прошлого столетия Париж был в осаде, французский фотограф Дагрон предложил вести переписку с осажденным городом при помощи микрофотографии. Текст письма, депеши, донесения фотоаппарат уменьшал до такого размера, что они вкладывались в зубочистку. И почтовый голубь, к крылу которого привязывали зубочистку с донесением, приносил микрописьмо в осажденный город. Там его прочитывали — проектировали на большой экран. Вы говорите, что в обгорелой записке предлагалось станин, рефлектор. Это — световое раздражение: насекомые летели па свет в лабораторию. Но жаль, что записка обгорела. Ведь, может быть, там были указаны и другие способы привлечения насекомых на другие адреса. Вот, например, бабочка-адмирал, или Ванесса атланта, питает страсть к бродящему березовому соку. Она чует его па очень далеком расстоянии. Помню, и был еще студентом и па практике проверял остроту обоняния у бабочек. Увидев, как «адмиралы» слетались к березе и погружали свои хоботки в трещину древесной коры, я стал мазать забродившим березовым соком деревце молодого тополя. И что же вы думаете? Бабочка-адмирал летела на тополь и льнула к его коре. Однажды я вытер тряпочкой березу. Иду с тряпкой, а за мной бабочки летят. А вот бабочку-траурницу я часто находил на полусгнившем барабане у колодца: дощечки были там гнилые, поросли зеленым мхом. Взял я однажды несколько гнилушек, намочил в кадке и хорошенько спрятал. Смотрю: летит траурница прямо к моим гнилушкам, спрятанным в укромном уголке.

— Да, да, я ознакомился с перепиской Дарвина и Фабра. Там рассказывается о чувстве направления у некоторых насекомых... Однако я тороплюсь в лабораторию.

— Но будьте внимательны, предупреждаю: осторожность, аккуратность! Вероятно, письма-трубочки валяются в пыли. Шелковинки, которыми они были привязаны к бабочкам, конечно, давно истлели, сгнили. С лупой в руке надо там все осмотреть. Да, кстати, адрес?... Вы говорите, что раньше этот переулок Верхнетроицким назывался? Дом с башенкой? Постараюсь, непременно постараюсь часа через два-три зайти туда.

Мы распрощались. Я уже свернул с бульвара и пошел по улице, когда услышал восклицание Тарасевича:

— Я догнал вас, чтобы сказать: со спинок жуков, шмелей пыль без меня не стирайте. На их спинках могут быть разные условные отметинки.

— Отметинки?

— Жаль, спешу. Но дело вот в чем: я сам участвовал в одном опыте, когда по отметинкам на спинках насекомых делался тот или иной вывод. Я был тогда ассистентом при кафедре в Москве. Однажды утром позвонил профессор: скорей приезжайте в институт, студенты привезли пчел с пасеки. Отметки на них уже сделали. Пчел поместили в закрытые коробки. И профессор и студенты принялись ходить, кружить по улицам, переулкам, дворам Москвы. День был летний, ясный. Выпустили пчел в комнате у открытого окна где-то около Пушкинской площади. Профессор послал студентов обратно на пасеку, а сам остался на том самом месте, у того самого окна, где выпускал из коробок своих пчел. Студенты встречали на пасеке пчел и сообщали по телефону профессору. И вот студенты выяснили, что три пчелы не вернулись к себе домой. Верно, заблудились в Москве и погибли. Наступила ночь, а профессор все сидел у окна, через которое он выпускал пчел, и ждал.

Он дождался. В окно прилетела с жужжанием сначала одна пчела с отметинкой, потом другая, за ней третья. Они не нашли дорогу на пасеку и вернулись в ту комнату, откуда улетели.

— Как же это понять, Степан Егорович? — спросил я. — Пчелы к своему родному улью потеряли направление, заблудились в Москве, а вот к чужому дому, откуда их выпустили, нашли обратно дорогу.

— Эта загадка была разгадана. Когда пчела летит, она оставляет в воздухе струю пахучего вещества. Ведь у рабочей пчелы на конце брюшка находится железа, которая выделяет пахучую струю. Летит одна пчела, потом другая, третья... Тут уж трасса, душистая трасса. День в Москве был тогда очень тихий, ни ветерка. И вечер был совсем тихий. Так что пчелиная пахучая автострада начиналась от окошка во дворе, что около Пушкинской площади. Мы делали отметинки красками на спинках. Но есть и другие приемы...

— Другие приемы? — переспросил я горячей скороговоркой. — Какие приемы? Говорите все, Степан Егорович, говорите, это так важно! Я готов забыть, что тороплюсь прочесть поскорее микрозаписки, доставленные воздушными почтальонами.

— Да, да, тут откладывать нельзя. Но раз вы взялись за это дело, то обязаны узнать некоторые подробности и приемы этой почты. Известно, что весьма задолго до первой мировой войны немцы отдельными семьями поселились во Франции, в двух-трех верстах от границы. Здесь они умышленно стали заниматься очень невинным и полечи им делом: пчеловодством. В те дни, когда ветер дул из Германии, другие немцы — там, в Германии, — зажигали жаровни и топили на них сахар. Пчелы летели к ним с пограничных пасек Франции. Годы шли. Пчелы, поколение за поколением, летают в Германию на сахар и возвращаются обратно во Францию. Началась война. И в дни войны были обнаружены на многих пчелах шелковинки. Было выяснено: немцы или их агенты, прежде чем выпустить в Германию пчелу с пасеки, находящейся во Франции, отмечали ее по условному обозначению шелковинкой специального цвета: зеленая шелковинка обозначала пехоту, желтая шелковинка — артиллерию, и так далее. При этом по количеству пчел, прилетающих с той или иной шелковинкой, можно было заключить о количестве полков, артиллерийских дивизионов, подтянутых к границе...

Еле сдерживая нетерпение, я стал было прощаться со Степаном Егоровичем, но он задержал мою руку в своей, припоминая:

— Так, так... шелковинки... спинки... Об этом я вам сказал. Теперь — о крылышках.

— Какие еще там крылышки? Ах, Степан Егорович, пойдемте же вместе со мною скорее в лабораторию Думчева!

— Пойдем, друг мой, пойдем!

Мы поспешно пошли. Но, сделав десяток-другой шагов, Степан Егорович остановился:

— Нет, меня ждут в строительной конторе. Приеду в лабораторию через час или два. А пока усвойте: крылышки...

— Степан Егорович, мы уже были бы в лаборатории...

— Нет, нет, я там увлекусь. А у меня ремонт института еще не закончен. Ждут в строительной конторе. Так вот, говорю, усвойте: крылышки. С ними надо обращаться крайне бережно... Пыль не стирайте. Разве вы забыли, что текст был уменьшен при помощи фотографии?

— Ну и что же? При чем тут крылышки?

— Как — при чем? И не отметинки, а настоящие письма, донесения, сообщения можно писать на крылышках насекомых. Что, удивились? Так слушайте! Я расскажу вам, как фотоаппарат помогает пользоваться пчелиной почтой. Усыпляют пчел. Это легко делается. В улей напускается дым. Пчел уносят в темное помещение — фотолaborаторию, где горит красный фонарь. Тут тонкими щипчиками расправляют крылья пчел и накладывают на них специальный светочувствительный раствор, такой же, каким обычно покрывают фотобумагу, чтобы получить фотоотпечаток. При фотографировании депешу настолько уменьшают, чтобы она смогла уместиться на крыльях пчелы. Затем отпечатывают на крыльях миниатюрную

депешу, опять фиксируют ее и сушат, то есть проделывают то же самое, что с фотобумагой при отпечатывании негатива. Когда отпечаток готов, пчеле дают проснуться, и она улетает. А тот, кто ждет, умерщвляет пчелу, увеличивает находящийся на крыльях отпечаток и прочитывает сообщение.

В какое волнение привел я обитателей старого дома с башенкой своим стремительным и неожиданным появлением! Распахнув дверь, я почти взбежал по ступенькам лаборатории и в смятении замер у дверей.

Все кругом прибрано. Сметена пыль со всех книг, со стола, со всех вещей. Протерты окна, повешены белые вышитые занавески. И все письма о судьбе человека, доставленные летучими письмоносцами, выметены!

Шли минуты, может быть прошел час, а я все еще не мог прийти в себя.

— Ну уж я постаралась для вас и для Полины Александровны. Вишь, как пол-то блестит! Дверь-то осталась открытой, а я сегодня посвободнее была и с утра сюда — с веником, с тряпками, с горячей водой. Уж постаралась по-соседски, — говорила Авдотья Васильевна, с удовлетворением осматривая преображенную лабораторию. — Только пол немного недосох. А сколько мусору было! Одних букашек, почитай, целое ведро сожгла!

Я сижу на краешке стула в углу лаборатории. Как крепко пахнет свежeweымытыми, подсыхающими полами! Как стойко держится запах мокрого веника, которым долго терли доски пола — терли, пока они не сделались совсем белыми. Чисто. Бело. Светло. Ни следа, ни пылинки не осталось от того человека, который здесь жил, изобретал и отсюда куда-то ушел. Все подметено, вымыто и даже повешены белые занавески. Как они колышутся, как беспокоят, раздражают меня!

Вот тебе и крылышки... спинки... шелковинки... отметинки... микрофотографии...

Я поднялся со стула. Сделал шаг к окну.

— Не наследите, гражданин! — сказала Авдотья Васильевна. И я расслышал, как она тихо сказала Полине Александровне: — Ненормальный он, что ли? Прибежал как угорелый, а сам все молчит!

Полина Александровна ей ничего не ответила.

Я и сам понимал, что все получилось по меньшей мере странно.

Медленно спускался из лаборатории по деревянным ступенькам. Уходя, оглянулся. Там, на верхней ступеньке, у раскрытой двери лаборатории стояла, прислонившись к косяку, старая седая женщина и молча смотрела мне вслед.

Соседка Авдотья Васильевна, закрывая за мной дверь, сказала:

— Надо быть поаккуратней, гражданин!

Старый актер

И сразу стало все скучно — словно на свете ничего нет. Ничего. Только белые занавески на окнах и свежeweымытые полы, пахнущие веником.

День был яркий, жаркий, грохотал светом и красками, а в душе была такая вялая горечь! Тяжело опаздывать, и трудно, когда вовремя не сделаешь то, что мог сделать.

Теперь мне стали непонятны та живость, быстрота ощущений, смена чувств — все, что владело мною еще час назад. Я пошел на вокзал и купил билет: завтра, в десять часов вечера, уеду из Ченска. Возможно, это будет тот курьерский поезд, который задержал нас в пути в ту ночь, когда я впервые услышал о докторе.

Вот и гостиница. Приветливо горят стекла окон в лучах заходящего солнца. Ключ от моего номера, как всегда, висит на крючке в стеклянном шкафчике — над головой дежурной. И, как всегда, дежурная читает книгу. Услышав, как я беру ключ, она, по своему обыкновению, не оторвала глаз от книги.

— А, это вы, из седьмого номера?.. «А, хорошо же!.. — прошептал он сдавленным от гнева голосом. — Сюда! Живей! Ну же! Обнажайте шпагу! Пусть мостовая обагрится кровью

одного из нас...» Да! Вы из седьмого номера? Вы еще не уехали? Простите, я читаю Гюго. Здесь Эсмеральда. Так жалко... Сколько дней вы пробудете еще?

— Сколько дней? Я завтра уезжаю.

— Ах! — Она решительно отодвинула книгу. — Чуть не забыла: вас спрашивал какой-то странный старик. В бархатной куртке, сандалии на босу ногу. Что-то про себя напевал. Ушел. Вернулся. Опять ушел. Кто он, сказать толком не захотел. Ответил как-то чудно: вас он не знает, и вы его не знаете, но дело у вас одно. И очень важное. И потому он сегодня непременно придет.

— Вот вам и тайна! Совсем как в старых романах! — сказал я.

— Тайна? В нашем городке?! Ах, если бы теперь были роковые тайны! Но они ведь остались только в романах... — И с мечтательной грустью дежурная по гостинице посмотрела в окно и вскрикнула: — Он! Это он!

— Кто?

— Тот, кто приходил. Посмотрите! По той стороне улицы идет. Сюда посмотрел.

— Зовите же его!

— Ушел! Но не беспокойтесь! Он обещал прийти.

«Какой долгий день был сегодня — подумал я, устало опускаясь в кресло в своем номере. Утром — счастливая уверенность: вот только дойду до лаборатории и сразу узнаю всю правду, прочту под микроскопом все письма Думчева. Днем — чувство смущения и стыда: взялся за дело, а с делом не справился. А вот теперь, вечером, — ожидание. Нет, не ожидание, а какое-то невольное любопытство: кто же этот неизвестный, который меня спрашивал и обещал прийти? Все сегодня не так, как надо».

В коридоре послышались шаги. Всё ближе. Постучали в дверь.

— Войдите!

Это приветливая буфетчица принесла чай, печенье. Поставила на стол. Улыбнулась. Ушла. Опять стало тихо. А где же этот неизвестный? Уже поздно. Зачем он меня разыскивает? Посмотрел в окно: тень человека отделилась от дома на противоположной стороне улицы. Человек пересек улицу и направился прямо к крыльцу гостиницы. Это он! Незнакомец, которого я жду.

Раздался четкий, твердый стук в дверь... Передо мной стоял высокий человек с седой копной волос; лицо его чисто выбрито и отликает легкой синевой. На нем черная бархатная куртка. Галстук на белоснежной сорочке повязан «бабочкой». На босых ногах сандалии.

— Кто вы? — спросил я. И сам не узнал своего голоса: он мне показался надтреснутым, словно я говорил в ознобе. — Кто вы? — повторил я, пытаюсь овладеть собой.

— Сейчас, сейчас отрекомендуюсь, — сказал незнакомец. — Я несколько взволнован и не знаю, с чего начать...

В ответ на мое приглашение он легко придвинул кресло и сел напротив меня. Наступило напряженное молчание.

— Так вот... — начал незнакомец. — Так вот... Думчев, доктор Думчев... его таинственное исчезновение... Разве не этим вы сейчас взволнованы? Случайно узнал о ваших розысках. Так вот... Я близко знал Сергея Сергеевича. Он спас мне жизнь.

— Простите, но кто вы?

— Кто я? Что скажет вам моя фамилия? Ровно ничего. Впрочем, когда-то, много лет назад, имя актера Орлова-Заокского знали в разных городах. Да! Я был актером. Знают ли наши молодые люди, как в царское время антрепренеры нанимали актеров за гроши, как их сортировали — в случайные труппы по своему произволу сколачивали, как актерские таланты губили? И актерская жизнь катилась в телегах по пыльным дорогам, качалась в тесных вагонах мимо случайных станций, пропадала в грязных заезжих дворах, в заплеванных дешевых номерах. И каждый вечер, каждую ночь одно и то же: керосиновые коптящие лампы у рампы да щемящая боль в сердце; играешь не то, чем сам живешь, о чем горюешь и чем тревожно и зыбко живет зритель, заплативший свою трудовую копейку, чтобы услышать от тебя правду в полутемном зале.

На глазах у актера показались слезы.

— Простите, я говорю не о том. Так вот, в те далекие годы я оказался в больнице, где врачевал Сергей Сергеевич Думчев.

Старый актер привстал и медленным, торжественным жестом протянул перевязанную голубой ленточкой большую рукопись, свернутую в трубку:

— Вот отрывки из моего дневника тех лет. Прочтите — и все поймете. А я уйду. Поздно. Покойной ночи.

По тихому, уснувшему коридору я проводил старого актера до крыльца. Здесь он остановился:

— Да! Меня не так трудно найти — уже много лет я веду кружок художественного чтения при клубе «Строитель». Самодеятельность, из которой рождаются высокие таланты!

...

Я долго смотрел ему вслед. Старый-старый актер шел посреди улицы легкой, почти юношеской походкой. И луна стелила перед ним по неровной мостовой, по бульжникам, по асфальту свою длинную спокойную лунную дорожку.

Фанерный домик

(Воспоминания актера)

Четверг, 14 мая

Тянутся дни, медленно тянутся часы моего выздоровления в больнице. Начинаю вспоминать, все восстанавливать в памяти, записывать. «Мета...морфоз, метаморфоз», — что за странное слово? Это было первое слово, которое я услышал. Очнулся. Не сразу понял, где я. В комнате темно. Рядом с моей кроватью, у свечи, которая горит и оплывает, человек что-то пишет и словно вслух диктует: «Метаморфоз».

Дрожит, колеблется, вытягивается на стене тень: человек наклонился над столиком и пишет. Перо скрипит. Вот опять он повторил незнакомое слово «метаморфоз». Где я? Откуда-то из темноты слышатся вздохи: «Доктор!» Человек оставляет перо, берет свечу и уходит. Уж не сон ли все это? По актерской привычке ищу реплики из знакомых ролей... «Все тот же сон! Возможно ль? В третий раз!» Голова кружится, сердце сжимается. Надо мной склонилось лицо человека. «Мета...морфоз, метаморфоз...»

Суббота, 16 мая

Луч ли солнца скользнул по стене и меня разбудил или веселое ржание жеребенка за открытым окном, но я проснулся и почувствовал себя бодрым. Все вспомнил: наша труппа проездом через Ченск ставила в пожарном депо — в большом сарае — водевиль «Запутанное дело» Каратыгина. Я играл роль Волошина. И вдруг все закачалось. Большие балки сарая опустились над головой, пол взлетел вверх. И я упал. Услышал окрик антрепренера: «Дайте занавес, а его увезите!» А дальше — мрак.

Доктора этой больницы зовут Сергей Сергеевич Думчев.

Вторник, 19 мая

Из головы у меня не выходит первое слово, услышанное тогда ночью: «метаморфоз». Что оно означает?

Среда, 20 мая

Сегодня ночью была гроза. Долго не мог уснуть. Молнии чертили зигзаги по черному покрову неба. За окном тревожно шумели деревья. У столика при свече доктор опять писал и, как всегда, произносил вслух то, что писал:

— Открыть тайну энергетики живого существа — не значит ли это открыть тайну преодоления всех болезней? Где искать? Энергия метаморфоза!.. Ах, вы не спите, — обратился доктор ко мне, услышав, как я стал переворачиваться. — Спите спокойно! Вы поправитесь и будете таким же здоровым, как раньше. Нет, еще здоровее, еще лучше.

Суббота, 23 мая

Весь день — дождь. Сердце болит и очень сильно бьется. Пишу с трудом, не могу пошевелиться. Плохо ты, мое сердце, мне служишь. Выйду из больницы — как буду жить? Без театра, без подмостков мне жизнь — не жизнь. Вот роковой вопрос. От этих дум сердце совсем разболелось. Оно бьется то ровно, то напряженно, то вдруг словно с места сорвется и бежит, бежит... Я сказал об этом доктору. Он опять меня успокоил.

— Скажите, доктор, что такое «метаморфоз»?

— Потом, голубчик, потом. Вот поправитесь, тогда разьясню. И все поймете. А теперь вот выпейте лекарство.

Доктор поднес к моим губам стакан. Он поправил одеяло. Дождь стучал по крыше все тише, все осторожнее.

Воскресенье, 24 мая

Сегодня я узнал, как оказался здесь. Когда со мной на сцене случился обморок, антрепренер отвез меня в номер гостиницы и через день сумел обмануть и актеров и хозяина гостиницы, сказав, что за мной приедут родные и оплатят номер. Труппа уехала. Мне становилось все хуже и хуже. Доктор Думчев, вызванный хозяином гостиницы, лечил меня, оплачивал все расходы, а потом взял в больницу.

Вторник, 26 мая

Какой сегодня светлый, добрый, ласковый день! И все кругом кажется мне хорошим и добрым. Доктор, войдя в палату, сказал мне:

— Вот вы и улыбаетесь. Значит, выздоравливаете. Теперь потрудитесь припомнить хотя бы монолог Бориса Годунова: «Достиг я высшей власти...»

Я стал читать, запутался, сбился, смутился.

— Если надо — вот Пушкин. Приготовьте как следует. Работать надо, работать! И болезнь скорее уйдет.

Понедельник, 1 июня

Вчера, в воскресенье, чувствовал себя больным и усталым. С сердцем плохо. Доктор взял меня на прогулку. Шли не торопясь. Говорили. Постепенно забыл, что болит сердце.

Воскресенье, 7 июня

Вечер. Сегодня днем много гуляли. Доктор повел меня за город в свою мастерскую:

— Там вы найдете ответы на те вопросы, что мне задавали.

С небольшой горы я увидел: где-то далеко сверкает бирюзой море. Мы спустились и пошли по старому, запущенному парку. Темнели аллеи. Железные решетки ограды местами повалились и лежали в траве. Прошли мимо беседки, которая замыкала аллею, и вышли из парка. Цветы заросли шиповника.

По густой, высокой траве мы прошли мимо плетня, за которым жужжали пчелы, и остановились у фанерного домика. Я переступил за Думчевым порог и с удивлением остановился. Вся комната была заполнена паутиной. В рамках окошек вместо стекол была натянута паутина. В углах висела паутина в виде маленьких гамаков. В банках тоже ползали пауки и тянули за собой нити. Даже в банке с водой перемещался какой-то серебристый паук. В разных местах с потолка свисали нити. На одной из них над самым полом была подвешенадохлаямышь, на других — щепочки и камешки.

— Да сделайте хоть шаг от порога! — сказал Думчев. — Чего вы боитесь? Это паук,

спуская нить, подцепил дохлую мышь.

Думчев открыл коробку — рой мух разлетелся по комнате. И сразу все тронулось с места: закачалась паутина с камешками, щепочками, на рамах окошек, тронулась нить с подвешенной мышью, и маленькие паутинные гамаки в углах комнаты тоже закачались. Появились пауки — бросились ловить, хватать добычу. Я не знал никогда, что на свете есть столько разных, не похожих друг на друга пауков. Беспокойные маленькие чудовища — они теперь были всюду. Пауки! Пауки! Пауки! Они бегали по паутинам, натянутым в рамках окошек, по стенам, спускались по нитям, скатывались в паутинные гамаки. Пауки двигались по полу, по стенам, по потолку. Мимо моих ног они входили и уходили в настежь открытую дверь.

Среда, 10 июня

Думчев живет в городе. У него там, говорят, лаборатория, где он производит химические опыты, но я там не был. Он считает, что мне надо дышать морским воздухом. Все чаще провожаю его до фанерного домика. Здесь мы расстаемся, и я ухожу к морю.

Я выздоравливаю. Иногда, правда, неожиданно появляется боль в сердце, но сразу же уходит. И тогда мне кажется, что она похожа на актера, который появляется после спектакля на сцене, чтобы просить у публики прощения за причиненное беспокойство.

В душе у меня торжество. Болезнь побеждена. Я здоров, бодр, свеж и весел. Готов показаться в роли Ромео или Чацкого на подмостках Малого или Александрийского театров. Я не верю, что был когда-то болен. Каким лекарством лечил меня доктор?

Понедельник, 15 июня

«Метаморфоз»!

Вчера был снова в фанерном домике. Сергей Сергеевич наглядно и долго разъяснял, что такое «метаморфоз». На столе среди множества круглых стеклянных банок стояли рядом две широкие плоскодонные банки, скорее похожие на аквариумы. Одна из них наполнена водой, а в другой — песок, камешки и пучок зеленой травы. В обеих банках были совсем разные занятные существа: одно плавало в воде, другое передвигалось по песку.

— Смотрите! Похожи ли эти два существа одно на другое?

— Ничуть не похожи.

— Действительно, у одного торчат жабры, хвост плоский и неуклюжий. Оно живет только в воде. Называется «аксолотль». Другое дышит легкими, тело у него более стройное, длинной цилиндрической формы, с хвостом. Живет на суше и в воде. Называется «амблистома». Было время, когда аксолотля и амблистому считали двумя разными, самостоятельными видами. А теперь установлено, что вот этот водный житель — аксолотль — превращается в амблистому. То есть аксолотль — личинка амблистомы.

— Что же тут удивительного? — сказал я. — Головастик, живущий и плавающий в воде, превращается в лягушку, живущую и в воде и на суше. А головастик совсем не похож на лягушку. К чему ваши опыты?

Думчев засмеялся:

— Пример неподходящий! Как бы вы удивились, если бы в болоте одни головастики клали яйца, из которых появлялись головастики же, а другие превращались в лягушек!

— Ну, таких чудес не бывает! — рассмеялся я.

— С головастиками не бывает. А вот с аксолотлем — личинкой амблистомы — бывает. Он превращается в амблистому. Но аксолотль может также не превратиться в амблистому, размножаться и умереть аксолотлем.

— А амблистома?

— Та, в свою очередь, откладывает яйца, из которых позднее появляется личинка — аксолотль.

— Хорошо! Но какого нового чуда вы ждете от них здесь?

— Чуда без чудес! Искусственным путем я вызываю метаморфоз и заставляю аксолотля

обязательно превратиться в амблистому. Этот метаморфоз — превращение личинки во взрослую форму — я произвожу и наблюдаю.

— Но как же вы здесь, в мастерской, вмешиваетесь в дела природы?

— Очень просто. Я подкармливаю аксолотлей щитовидной железой или тироидином, который эта железа вырабатывает, и заставляю водную форму амфибии превратиться в совершенно не похожую на нее земную. Я физиолог и обязан уметь это делать! Я создаю необходимые условия для превращения одного существа в другое.

Среда, 17 июня

Здоров! Здоров! Совсем здоров!

Между больными ходят слухи, что наш доктор сам изготавливает чудодейственные лекарства.

— Какой живой водой вы меня напоили? — спросил я Сергея Сергеевича.

А он ответил:

— Если будете помогать в моих опытах, то узнаете.

Какой из меня помощник ученого?!

Сегодня к вечеру оставил больницу и поселился, по рекомендации Думчева, у фельдшера Акулинушкина.

Стал я совсем другой — юный, бодрый. И все это сделал он — Думчев! Что же мне совершить для него?

Понедельник, 22 июня

Вчера в доме фельдшера Акулинушкина ждали гостей: мыли полы, пекли пироги, взбивали пуховики. Все блестело и сверкало. И даже канарейки з клетках казались свежевывмытыми и сверкающими.

Я ушел за город. В воскресный день доктор всегда бывал в фанерном домике. Но я вовсе не собирался ему мешать и, пройдя мимо, направился к морю. Неожиданный дождь заставил меня вернуться, и я побежал к домику.

Постучал в дверь, но никто не ответил. Опять постучал:

— Можно войти?

Но Сергей Сергеевич не отозвался. Приоткрыл дверь — никого. Вошел. Очень удивился: ни пауков, ни банок, ни паутины. Только книги на столе. Одна — «Царство животных» — была раскрыта, и я увидел рисунок, под которым была подпись: «Паук-бокоход. Предельная длина — один дюйм».

Дождь утих. И тут я услышал где-то рядом со мной шорох. Осмотрелся. Никого. Шорох повторился. Я внимательно обошел всю комнату. Снова сел на табуретку, стал было перелистывать книгу, но что-то шуршало, шаркало рядом со мной. Глянул на пол: из-под табуретки, на которой я сидел, высунулась огромная мохнатая кривая нога. Я отбежал к дверям. Табуретка зашаталась. Я увидел привязанного к ее ножке огромного паука. Злым блеском горели глаза, скреблись, тянулись в разные стороны восемь мохнатых лап, изгибалась шершавая головогрудь. Тот же паук-бокоход, которого я только что видел на рисунке. Но там был обозначен рост в один дюйм, а здесь он с полтабуретки. Паук-гигант!

Дверь распахнулась. На пороге стоял Думчев. Я испуганно смотрел на него.

— Это опыт! Удачный опыт! — спокойно сказал Думчев.

Среда, 1 июля

Думчев исчез! Что делать? Это случилось три дня назад, в воскресенье, 28 июня. Только сейчас я сел за стол, чтобы записать, привести мысли в порядок.

В последний раз я его видел в фанерном домике тоже в воскресенье, но 21 июня, когда испугался паука-гиганта. Как обычно, и в прошедшее воскресенье, 28 июня, я рано утром собрался к доктору. Но ночью была гроза. А утром фельдшер просил меня помочь в огороде. Вдруг к плетню подбегает соседка:

— Доктор пропал!

Я побежал в больницу вместе с фельдшером. Там все были встревожены. Слухи были разные. Будто бы купался доктор и утонул. Но говорили и так, будто нарочно утопился. И еще говорили, будто переоделся и с котомкой за плечами странником пошел бродить по свету.

Четверг, 2 июля

Доктор, который спас мне жизнь и чьи разговоры окрылили мою душу, исчез! Не могу опомниться!

Пятница, 3 июля

Сегодня вечером, возвращаясь домой, я услышал, как на улице двое прохожих винули каких-то московских купцов в гибели доктора.

Суббота, 4 июля

В доме фельдшера вчера мне рассказывали, будто около пасеки в траве появились и расплозятся невиданные муравьи и пауки и что собираются сжечь фанерный домик, а траву скосить. Но косари за это дело не берутся.

Воскресенье, 5 июля

Вчера хотели облить керосином фанерный домик, траву и все сжечь. Но управляющий имением, ссылаясь на телеграмму из Петербурга, запретил разводить огонь на барских угодьях. Завтра утром фанерный домик доктора снесут. Пойду туда в последний раз.

Понедельник, 6 июля

Домик будет снесен. Скоро бурьяном зарастет то место, где он стоял, где доктор производил необычайные опыты. Вчера в последний раз пришел в фанерный домик. Вечерело. Я сидел у окна. Мне казалось, еще немного побуду — и дождусь Думчева. Из окна была видна пасека. Там, за плетнем, как всегда, возился старик пасечник. На меня он всегда косо поглядывал, и я чувствовал, что он меня не уважает: «Комедиант!»

Я собрался уходить, когда он заглянул в окно. — Все ждешь доктора? Не жди. Не вернется. Старик видел Сергея Сергеевича рано утром 28 июня, в воскресенье. На заре за доктором по аллее гнались трое. Старик хотел было выбежать из-за плетня пасеки, заступиться за доктора, но увидел у одного на фуражке кокарду и испугался. Присел за плетнем, стал смотреть. Доктор успел вбежать в фанерный домик. Заперся. Все трое стали стучать в дверь. Поток один подбежал к окну, а двое сорвали дверь с петель и вбежали в домик. Старик сквозь плетень видел, как они сразу же выскочили, стали шептаться, руками разводить. Тот, что с кокардой, опять в дом вошел и одежду доктора вынес. И все трое по аллее пошли. «Порешили, значит, с доктором», — подумал старик. Выждал время, а потом, крадучись, заглянул в окошко, чтобы доктору помощь подать. А в домике-то никого!.. Ни живого, ни мертвого! Как сквозь землю доктор провалился. А человек с кокардой пустил слух, что доктор в море утонул. Для этого он куда надо одежду доктора представил: будто у моря нашел.

Старик почему-то боялся, что будет следствие.

Ты меня к этому делу не припутывай, — сказал пи Пасека рядом, но мое дело сторона. Только пчелки у меня, одна забота... Ничего не видел, ничего не слышал С тобой не говорил.

Когда старик ушел, уже стало темнеть. Я окинул последним взглядом стол, стены, окошко. На столе остался кувшин, недопитый стакан воды, блюдечко с каким-то белым порошком и маленькими гомеопатическими крупниками. На блюдечке лежала серебряная чайная ложечка с выгравированными буквами: «СД» (Сергей Думчев). Сердце мое сжалось от боли: это все, что осталось от человека, которого я полюбил всей душой.

Завтра домик будет снесен. Забудут все о докторе Думчеве. И я взял себе на память ложечку с инициалами «СД». А порошок и крупинки? «Это для каких-то опытов Сергея

Сергеевича», — подумал я. У меня не хватило духа выкинуть их. И я ссыпал в обрывок бумаги, который валялся на столе, порошок и две крупинки.

Суббота, 18 июля

Вот уже прошло двадцать дней, как исчез Думчев.

Я устроился в труппу. Уезжаю из Ченска. Снова начинается моя бродяжническая актерская жизнь.

Неразрешима и темна история исчезновения Думчева. Но всегда будут светлы мои воспоминания о нем. Уезжаю. Укладываю на дно потертого чемодана заметки о днях, проведенных в Ченске. А вместе с ними то, что взял в последнее посещение фанерного домика.

Но почему же теперь, затягивая ремнями чемодан и неотступно думая об исчезновении Думчева, я все вспоминаю «Живой труп» Льва Толстого и почему я читаю про себя монолог Феди Протасова?

Странные расчеты и цифры

На этом кончался юношеский дневник старого актера Орлова-Заокского.

Я зачитался и не заметил, что за окном, за спущенными шарами, уже светло, а на столе все еще горит электрическая лампа. Отложив в сторону дневник, я внимательно осмотрел то, что взял когда-то актер со стола в фанерном домике. Серебряная ложечка с инициалами «СД» потемнела, а в двух пожелтевших обрывках бумаги, сложенных в виде пакетиков, были порошок и крупинки. Странный же человек этот актер — старый романтик! Десятки лет возить с собой порошок, гомеопатические крупинки...

Когда я читал записки актера, мне временами казалось, что вот-вот — и в истории исчезновения Думчева что-то прояснится. Но записки прочитаны, а история столь же темна, как и раньше. Даже темнее и непонятнее.

Я утомился от бессонной ночи, от внутренней тревоги, от напрасных блужданий вокруг одного и того же вопроса. Голова моя разболелась. В чемодане была коробочка с порошками — какая-то смесь пирамидона и кофеина. В Москве я так переутомился, что начались головные боли. Лечащий врач посоветовал принимать два раза до обеда по одному порошку. Теперь я достал эти порошки из чемодана. Принял порошок и запил водой. Решил уснуть. Прилег. Но уснуть не смог: мешал солнечный луч, который пробивался сквозь шторы.

Почему запомнились эти мелочи, подробности поступков, действий и всего хода моих мыслей в это утро? А потому, что в одной из этих мелочей и оказалась скрытой та пружина, которая затем неожиданно развернулась и резко оттолкнула, отбросила меня на некоторое время далеко в сторону от всего обычного хода жизни.

Так вот... болела голова. Яркое солнце пробивалось сквозь штору и мешало спать. В луче солнца плясали пылинки. Этот луч тянулся к столу и касался скомканных стертых листков, в которых были завернуты порошок и крупинки, принесенные актером. Десятки лет назад взятые из фанерного домика доктора, они, эти листки, сразу рассыплются в моих руках, едва я начну разворачивать порошок и крупинки вместе с ложечкой... Но что же это такое? На листке, в котором был порошок, — почерк Думчева! Я вскочил, ссыпал из старой скомканной бумаги порошок в пустой пакетик от пирамидона и стал жадно читать:

«Влияние на скорость развития, на рост живого организма ферментов, разные сочетания изменений температуры и влажности — все это я исследовал, проверил на опытах и убедился в том, что могу влиять на рост живого организма, менять его структуру, увеличивать или уменьшать формула изменения скорости развития пчелиной моли выражается:

$$\lg W = bt + c \lg t,$$

где

W — вес;
 t — время;
 b и c — константы

В 70.000 раз! В 70.000 раз увеличивает свой вес гусеница бабочки ивовый древоточец. В тысячных долях грамма выражается вес гусеницы, когда она выходит из яйца... Проходит сравнительно короткий срок, и вес ее уже можно считать в граммах.

В 10.000 раз увеличивает свой вес гусеница бабочки сиреневый бражник, а в 15.000 раз — гусеница тутового шелкопряда.

Какая титаническая сила! И я уже близок к тому, чтобы ею овладеть и направить по заданному направлению ферменты! Разве они не ускоряют в миллионы раз химические реакции, совершающиеся в организме живого существа?..»

На этом обрывалась запись. Клочок бумаги с непонятными цифрами, формулами и рассуждениями о каких-то ферментах. Клочок бумаги! Что мог он мне рассказать о странной судьбе человека, который жил, страдал, изобретал и так неожиданно исчез? Ровно ничего.

Теперь, когда я пишу эти строчки, уже случилось, произошло то, что могло бы в тот день вовсе не случиться и совсем не произойти. Теперь, когда все это стало для меня воспоминанием, — я с удивлением спрашиваю себя: почему, прочитав формулы и записи Думчева на этом клочке, я не сопоставил их тогда же с текстом его микрозаписок, со всем тем, что мне рассказала Булай, и с воспоминаниями старого актера? Столько было материала! Оставалось только сопоставить отдельные слова и факты, и тогда с неумолимой логичностью я в то же утро пришел бы к выводу... разгадал судьбу Сергея Думчева.

Вот если бы... если бы... Впрочем, расскажу все по порядку.

В номере в то утро было жарко. Уснуть после бессонной ночи не мог. Болела голова, и я решил: самое лучшее пойти за город к морю, побывать там, где когда-то стоял фанерный домик. Ведь поезд уходит в десять часов вечера, а сейчас еще только девять утра. Билет в кармане. После прогулки успею зайти в институт — попрощаюсь. А затем отыщу клуб «Строитель», передам художественному руководителю коллектива самодеятельности Орлову-Заокскому его дневник и все остальное.

Я старательно перевязал ленточкой рукопись-дневник и стал было заворачивать ложечку... Раздался стук в дверь.

— Разрешите?.. Здравствуйте! Простите! — скороговоркой выпалила уже знакомая студентка Лена. — Вот вам письмо от Степана Егоровича. Я была так занята, так занята вчера, а вас долго не было. Простите. До свиданья...

Я стал читать письмо и продолжал машинально завертывать, засовывая по карманам все, что хотел взять с собой: тетрадь актера, порошки, ложечку...

«Многоуважаемый Григорий Александрович!

Вчера, как только освободился, зашел по указанному Вами адресу в дом с башенкой. Вас там уже не было. Какая-то маленькая женщина, открывшая мне дверь, не захотела меня впускать и ничего толком не объяснила. Что же Вы там нашли?

Могу сообщить интересную подробность, касающуюся микрописем. Доцент Воронцова обнаружила и наглядно доказала, что эти записки вовсе не уменьшались при помощи фото, а писались от руки. Мы еще поставлены в тупик тем обстоятельством, что бумага и чернила оказались совсем особенными, не фабричного производства! Как же мог Думчев, или человек, скрывающийся под этой фамилией, писать записки, которые надо читать под микроскопом? Так что Воронцова имела все основания, смеясь, заявить: словно писал эти записки человек, которого надо рассматривать... под микроскопом. Это, конечно, шутка! Надеюсь, что перед отъездом Вы заглянете в институт. Обо всем поговорим.

Ваш С. Тарасевич».

Бумажный «город» ос

Точно слоем пыли покрылись мои яркие чувства и переживания, совсем так, как листочки тополей у дороги, — листочки когда-то свежие, клейкие, ярко-зеленые.

Теперь я знал, что фанерный домик Думчева стоял когда-то около старой, запущенной беседки, и мне, конечно, очень хотелось побывать перед отъездом в этих местах. Ведь там же в траве были найдены микроскопические листочки!

Дорога начала медленно спускаться с горы. Вот перекресток асфальтовой и проселочной дорог. Остановился. Это та проселочная дорога, которая ведет через рощу к аллее.

Я шел по петляющей дороге, и нить моих мыслей — овеет, как дорога, — вилась, кружилась вокруг все той же истории Думчева. Ничего нет удивительного в том, что я не справился с этой задачей. Я готов себя извинить. Помню, когда-то я читал очень старый журнал. В нем редакция сообщала читателям, что какой-то документ не может быть прочтен, так как из одного слова, состоявшего из девяти букв, осталось семь букв, то есть стерлись только две буквы. Слово это: «под.о.ный».

Редакция просила разгадать слово, то есть проставить только две буквы. Что же касается всего документа или существа его, то редакция не считала возможным давать на этот счет какие-либо пояснения. И вот читатель-моряк прислал в редакцию письмо, где утверждал, но это слово — «подводный»; читатель-врач утверждал, что это слово — «подкожный», прокурор — «подложный», архитектор — «подпорный», извозчик — «подножной», учитель — «подробный», крестьянин — «подворный», бондарь — «поддонный». Было множество и других ответов, но каждый ответ чаще всего отражал профессию, занятие читателя. Но все же, сколько разных противоречивых решений такой простой на первый взгляд задачи!

Я прошел мимо полуразрушенной беседки и стал искать следы фанерного домика и пасеки, о которых прочел в воспоминаниях актера. Увы! Все заросло здесь буйной травой. Маленький ручей, поблескивая водой, медленно пробирался сквозь траву. Стеной стоял шиповник:

Вокруг шиповник алый цвел,
Стояла темных лип аллея...

Я перешагнул ручеек и, задевая кусты шиповника, пошел по густой, высокой траве. Вот какой-то полусгнивший деревянный брусочек, вросший в землю. С жужжанием кружатся, носятся вокруг него осы. Я увидел гнездо ос. Оно напоминало большую грушу из серой бумаги. Бумажный «город» ос! Мне показалось примечательным, что весь «город» обращен вверх дном: каждая ячейка смотрит вниз. Опрокинутый «город»! Отмахиваясь, я оторвал кусочек их сооружения, точнее говоря, — кусочек тонкого картона.

В нескольких шагах от бумажного «города» ос лежала полусгнившая доска. Из нее торчали два заржавленных гвоздя. Вот и все, что осталось от домика, где Думчев производил свои опыты: деревянный брусочек, врытый в землю, и полусгнившая доска.

Кругом было тихо. Только стремительно с жужжанием летали осы.

Держа в руках кусочек картона, отломленный мною от стены «города», я решил посмотреть, можно ли на нем что-либо изобразить. Стал доставать из кармана карандаш и тут же нечаянно уронил его в траву. Нагнулся, но карандаша не нашел. И сразу же появилась около меня уже знакомая рыжая собака с черной спиной; виляя хвостом, тычась мордой в траву, она шарила носом по земле — видно, хотела «помочь» мне найти карандаш. Пройдя несколько шагов, я уселся на какой-то пенек и с любопытством стал смотреть, как собака, отбиваясь от ос, сердито заворчала и побежала прочь.

— Гражданин! Гражданин, что вам здесь надобно? — услышал я резкий возглас.

Передо мной стояла заведующая овощной базой Райпищеторга.

Может быть, смешно и глупо, а может быть, вполне естественно, но мне захотелось рассказать чужому человеку, которого никогда больше не увижу, — рассказать о том, что когда-то произошло здесь. Как это сделать? С чего начать? Начну с того, почему я пришел сюда.

— Все дело в том, что у меня под утро разболелась голова... — начал я.

— Бедненький! — Лицо женщины выразило заботу и участие ко мне. — Проводила бы вас в поликлинику, да отлучиться не могу.

— А разболелась голова из-за того, что всю ночь не спал...

— Так не разговаривать надо, а идти к доктору следует.

— А не спал я потому, что читал всю ночь чужой дневник...

— Поликлиника там, за поворотом, не доходя поселка научных работников. Дежурный врач сегодня хороший — Марией Ивановной зовут.

— А в этом дневнике говорится об одной необычайной истории, которая случилась вот здесь, на этом самом месте, где мы с вами стоим...

Лицо Черниковой стало испуганным:

— Какая история? Когда? Я здесь все время... Идемте к доктору, вам порошки дадут...

Тут я вспомнил:

— Ах да, порошки! Уже одиннадцать часов — пора принять второй раз пирамидон с кофеином. Можете ли вы мне принести стакан воды — запить порошок... Или я сам...

Часть третья Под тенью старого пня

Порошок и крупинки

Резкий удар. Остановилось на миг сердце. Как кружится голова! Подкосились ноги. Задрожали руки. А перед глазами мелькают черные соринки. Черный снегопад! Вихрь соринок! Метель черных снежинок! Сердце колотится. Все сильнее и сильнее... Вдруг замирает. Хочется крикнуть — нет сил! Какая тяжесть навалилась на меня! Что-то гнет к земле все ниже и ниже...

Выбиваясь из последних сил, я поворачивался то в одну, то в другую сторону. Что такое? Кусты буйно разрастаются и тянутся к небу. Какой шум и звон кругом! Звуки всё пронзительнее. Нарастающий гром. Я слышу громовый окрик:

— Гражданин, что с вами?

Лай собаки совсем оглушил меня.

Какое разнообразие незнакомых запахов!.. Среди них я сразу отличил запах цветов шиповника. Он становится все сильнее и сильнее — я словно плыву по воде, пахнувшей цветами шиповника. Потонул в этом запахе. Но вдруг он исчез. Я помню, хорошо помню, что в ту минуту я подумал: верно, ветер, который дул оттуда, где растет шиповник, теперь подул в другую сторону.

Налетали волны запаха отцветающей липы. Запахи перегноя земли. Пахнуло чем-то близким и знакомым с детства — запахом хлеба. Пекли этот хлеб в большой русской печке на таких больших листьях... На каких листьях?.. Почему я забыл? Вспомнил: на капустных.

А где та женщина, что кричала: «Гражданин, что с вами?» Вот она растет у меня на глазах. Рядом ее собака тоже растет. Страшное мохнатое, гигантское животное. Я уже не мог их рассмотреть. Я больше не слышал голоса, не слышал лая собаки. Темно... Тишина. Но почему мне так душно? Меня погребла моя же одежда. Я барахтался, карабкался... Вот стало светлее. Вылез. Оглянулся...

Итак, я принял порошок, уменьшился в росте, оказался на пне, а внизу, подо мной,

шумел лес трав...

Но разве сразу все это произошло: и уменьшение в росте, и ощущение новых запахов, цветов, звуков? И разве сразу пришли ясность, понимание, осознание всего, что со мной случилось? Нет! Конечно, нет! Но я не могу сказать, сколько все это продолжалось: минуту, час, день? Хорошо помню, что я, уже уменьшившийся в сто или двести раз, вылезая из-под своего же пиджака, лежащего на пне, вдруг спохватился: ведь сегодня в десять часов ночи я уезжаю в Москву. Билет уже куплен. Так где же он? В боковом кармане! Потянулся рукой — привычный жест — и... рассмеялся! Уж я не тот, что был!

И все это из-за головной боли... Утром, собираясь на прогулку за город, я вместе с порошком от головной боли — пирамидоном с кофеином — по рассеянности положил в карман порошок, изготовленный Думчевым (его я собирался вернуть актеру). И, сидя на пне, я вместо пирамидона проглотил думчевский порошок. Вот почему все выросло передо мной и отчего появились новые предметы! Это те же предметы, только увеличенные во много-много раз.

В своей записке, которая случайно залетела ко мне с букетом цветов, Думчев, вспоминая об Эратосфене, говорил, что перед ним, Думчевым, мир вдруг вырос в сто или двести раз. Так вот почему Думчев на вопрос брата Булай, в чем ведущая цель его опытов, ответил: «стать человеком-микроскопом». И записки, которые я приносил в институт, — эти странные записки, прочитанные нами под микроскопом, — эти записки не уменьшены были при помощи фотоаппарата, а написаны от руки самим Думчевым. Когда? Где?

Так вот она, тайна Думчева!

Вместе с тетрадкой воспоминаний старого актера сохранились порошок и пилюли Думчева. Я проглотил порошок. Но в другой пакетике были совсем маленькие пилюли. Кто знает? Может быть, пилюли обладают таким же чудодейственным свойством, что и порошок, но восстанавливают, возвращают рост. Может быть, это пилюли обратного роста?

У меня в кармане две пилюли. А если они потеряли свойство обратного роста и я останусь здесь навсегда? На миг мне становится страшно. Но порошок подействовал, значит, и пилюли подействуют. И я вернусь к людям. Какое счастье быть с людьми, какая радость! Родные... знакомые... друзья. Как хорошо даже... огорчаться... страдать, но там, среди людей! Не проглотить ли сейчас одну? Скорее! Но для этого я должен проникнуть в свой собственный карман. Там пилюли. Залезть с головой к самому себе в карман. Я это сделаю.

Но каждый карман пиджака стал теперь для меня огромной темной пещерой с неровными мягкими стенами. Я побывал сначала в одном кармане, задыхался, шарил в темноте руками, нащупал изогнутую зубчатую кочергу. Остановился. Подумал: верно, это ключ от чемодана. Полез в другой конец пещеры, но ноги стали скользить по какой-то гладкой поверхности. Я вспомнил: в кармане лежат очки, значит, я скольжу по футляру очков. Нет, крупинки я положил не в этот карман, а в тот, где тетрадки актера. И действительно, в другом кармане, куда я пробрался, среди шелестящих гигантских полотнищ (тетрадка!) я нашел обе крупинки. С трудом выкатил из кармана сначала одну, а потом и другую. Крупинки? Нет, теперь на пне передо мной лежали два футбольных мяча. Чтобы проглотить хотя бы кусочек такой крупинки, надо было ее расколоть каким-нибудь твердым предметом. Попытаюсь разбить крупинку ключом от чемодана. Я направился опять к своему карману. Ударивший в лицо ветер чуть не сбил меня с ног, я повернулся спиной к ветру и увидел — обе крупинки обратного роста теперь катились одна за другой к краю пня. Я бросился за ними. Напрасно! Обе скатились с пня. Свесившись с него, я увидел, как одна полетела в океан трав и исчезла. Но другая застряла, повисла и закачалась над травами.

Я стал спускаться с пня, цепляясь за каждый выступ. Все ближе и ближе к мячу-крупинке. Вот она висит над травами...

Канаты... нити... переплеты...

Почему меня качает? Так сильно, так резко! Но руки уже уцепились за какой-то канат. Ноги цепляются за другой канат. Что это такое? Веревоочная лестница? Она раскачивается над бездной. Я качаюсь вместе с ней. И вместе со мной раскачивается над бездной заветный шар, с которого я не спускаю глаз. Надо найти твердую опору. Я пытаюсь осторожно спуститься, но почему-то с трудом отрываю руки и ноги от канатов. Странная веревочная лестница — с ней прилипаешь! Веревки усеяны множеством мелких липких узелков. Они липнут к моему плащу и широкому поясу, не отпускают, держат.

Да! Там, на пне, я зубами и руками оторвал край моего маленького цветного платка из верхнего карманчика. Это мне удалось, и я накинул себе на плечи кусочек цветного полотна, точно древний римлянин свою тогу. Затем мне удалось оторвать еще одну узкую полоску от платка, и я обмотался широким поясом, совсем как пираты на рисунках старых книжек.

Качаясь над бездной, я перебираюсь с одного каната на другой все ближе и ближе к шару. Сделал передышку. Присмотрелся. Совсе не по веревочной лестнице я спускался к шару. Я находился в гигантской раме; канаты от рамы лучами сходились к центру и переплетались частой спиралью. Сеть!

Меня качает все сильнее и сильнее. Откуда нарастает этот гул, резкий и пронзительный? Можно оглохнуть!

Рядом со мной в сети барахтается какое-то существо, оно рвется, мечется, но все сильнее прилипает к канатам.

Как избавиться от этой ужасной качки? Нужно поскорее спуститься к крупинке. Я ищу ногами другой канат. Упираясь в него, отрываю руки от верхнего и, перебирая поочередно руками и ногами, спускаюсь все ниже и ниже.

Еще два-три движения, еще один переход с одного каната на другой — и я дотянусь до шара. Но вдруг из угла сети показалось мохнатое чудовище. Я замер.

...Из густой шерсти глядят восемь глаз. Расположенные симметрично, они смотрят в разные стороны.

Чудовище сделало движение, и на спине у него обозначился большой белый крест.

Это паук-крестовик! Значит, качающаяся гигантская веревочная лестница с лучами, расходящимися во все стороны, — паутина. А барахтающееся, гудящее, мечущееся существо — муха.

Как я был слаб, беспомощен перед пауком! Но тогда я не чувствовал испуга.

Я еще, по-видимому, не привык к мысли, что меньше паука и что гибель моя неминуема. У меня было одно желание — получше рассмотреть это удивительное существо. Любознательность спасла меня. Я не сделал ни одного жеста, движения. Я замер. Смотрел. Предо мной был мастер-ткач в своей мастерской. И мне припомнился миф об Арахнее.

Арахнея — лучшая ткачиха древнегреческих мифов, состязавшаяся в своем мастерстве с самой Афиной Палладой.

Арахнея была дочерью бедного крестьянина из Лидии. Она умела украшать свои тонкие ткани рисунками. Но вот до богини Афины — покровительницы ремесел и всяческих женских работ — дошло, что Арахнея так возгордилась своим искусством, что похвасталась победить в мастерстве Афины.

Уязвленная богиня приняла вид старухи, пришла к ткачихе и предложила ей состязаться в ткацком искусстве. Обе принялись за работу. Арахнея искусно выткала на ткани изображения походов и превращений богов Олимпа. Тут старуха — богиня Афина — стала отыскивать недостатки в работе Арахнеи. Но их не было.

Афина должна была признать себя побежденной. Нелегкое признание! И в пылу гнева мстительная Афина ударила ткачиху челноком по голове и превратила ее в паука, который обречен вечно ткать свою паутину.

В моем воображении неожиданно возник этот древний миф и так занял мои мысли, что я не сделал ни одного суетливого движения. Этим я спас себя. Ведь пауки не нападают на неподвижные предметы.

А между тем существо, находившееся почти рядом со мной, билось, барахталось,

стараясь вырваться из липкой паутины. Паук приближался к своей жертве — мухе. Хищник инстинктивно кидается на движущуюся добычу.

Плыли в воздухе восемь пар глаз, глядящих в разные стороны,плыли ноги с гребнями-щетками, видны были челюсти, похожие на клинки складного ножа.

Муха рванулась в мою сторону. Теперь она была совсем рядом со мной. Я оставался неподвижным. Паук бросился на муху. Он пеленал ее белыми нитками.

Паук как бы прилип к своей жертве. Надо выиграть время! Нужно схватить шар и бежать! Спускаясь, я все время оглядывался. Там, где была муха, теперь на паутине висело черное, обтянутое белыми нитками «платье» мухи. Я различил в разных местах паутины несколько таких же комочков. Пусть паук расправляется со своей жертвой. Мне нужен мой мяч-крупинка, возвращающий рост.

Я ринулся к шару. Случилось самое худшее: от удара ноги веревка, на которой я стоял, резко качнулась. Я перескочил на другую. Паутина стала колебаться, дрожать, и паук устремился к месту, где сильнее всего трепетала его сеть. Он кинулся ко мне!

Выступ старого пня

Я сорвал с плеч свой плащ. Размахивая, вертя плащом в воздухе, я стал целиться им в паука. Может быть, в эти минуты жесты и движения человека с плащом напоминали чем-нибудь испанского матадора, сражающегося на арене с быком. Может быть. Но не об этом я думал. Я видел чудовище и знал: погибну, погибну, как муха, если не задержу, не накрою его голову плащом. Бросил плащ и... промахнулся. Плащ не долетел до паука, а зацепился за крупинку и прикрыл ее. Канаты дрожали. Бой матадора с быком не получился. Но все же этот неудачный бросок меня спас. Паук бросился не на меня, а на плащ, под которым была крупинка, и стал его «пеленать».

Размахивая плащом, я стал целиться им в паука.

Паук стал «обрабатывать» мой плащ с тем же усердием, с каким расправлялся бы с живой мухой. Какая иллюстрация на тему о разнице между инстинктом и разумом!

Паук тклет сложные и затейливые тенета. Но как выполняет он всю свою работу? Только инстинктивно, автоматически отвечая на внешний сигнал-раздражитель. Наглядный пример предо мной.

Крупинку я уже не достану... Скорей отсюда! Еще не все потеряно! Надежда — нет, тень надежды — мелькнула в те минуты предо мной: где-то там, внизу, в океане трав, лежит другая крупинка, возвращающая рост. Ее я и отыщу... Прочь от паука. Я увидел раму, границу гигантской сети, схватился руками за какой-то канат и, раскачиваясь над бездной, стал ногами искать твердую опору... Нашел. Я — вне паутины!

И вот я уже стою на каком-то выступе или сучке пня. Медленно и осторожно, держась за этот выступ, переступая ногами через выбоины на коре пня, я спускаюсь все ниже и ниже, туда, где глухо шумят травы. Где-то там вторая крупинка...

Мои движения вновь привлекли внимание паука. Он, по-видимому, разделался с плащом, прикрывавшим пиллюлю, гораздо раньше, чем я предполагал. Паук меня преследует. Но я за рамой паутины. Здесь пауку меня не достать! Там, у себя на паутине, этот хищник — хозяин. Только там!

Но вот паук появился у рамы своей паутины. Выпустил нить. Спускается по ней. Он уже качается над моей головой. Я снова замер. Мне казалось, что все восемь черных глаз паука стали смотреть в мою сторону. Веревка удлинилась, паук приближался ко мне. Я кинулся в сторону, залез в какое-то углубление. Пусть паук меня поищет! Наблюдательный пункт у меня великолепный!

Паук зацепился за выступ, на котором я только что стоял. Отсюда стал спускаться ко мне.

Резкий, оглушительный гул прорезал воздух. Из моего убежища я увидел: какое-то животное, пролетев, задело канат, который прилепился к выступу. Паук заскользил по канату вверх. Снова гул. Я сделал шаг назад и попал ногой в какой-то колодец. Упал, почти потонул в липкой мягкой массе.

Живой циркуль

Странный запах одурманил меня. Не знаю, много ли времени прошло. Я, видимо, потерял сознание.

Очнулся на дне какого-то колодца. Сверху струился свет. Надо выбраться. Вытащив ноги из липкой массы, я ухватился рукой за выступ стенки.

Вдруг стало темно, точно кто-то прикрыл отверстие колодца. Голова ударилась обо что-то твердое. Что за крыша появилась надо мной? Она плотно пригнана к тому самому отверстию, через которое я провалился в колодец. Крыша слегка просвечивает. Я ударил кулаком — пробил отверстие; еще один удар — отверстие шире.

Я подтянулся, ухватился за край колодца и вылез наружу.

На свежем воздухе я пришел в себя и снова ощутил дурманящий запах. Это мед! Я побывал в гигантской медовой бочке. Смешно! Я голоден, но, не отведав меду, бежал от него. Зря! Не вернуться ли мне обратно? А внезапная крыша? Почему она оказалась над моей головой? Спустишь снова в колодец, позавтракаю. А вдруг опять меня наглухо прикроет крыша и нельзя будет выбраться? Надо присмотреться: откуда здесь медовый колодец и кто сооружает над ним крышу?

Серое животное появилось на зеленом огромном покрывале — на листе, совсем рядом со мной. Я притаился. Меня не видно. Животное вело себя довольно странно. Какие неожиданные движения! Танец? Нет, это не танец. Животное вырезало из листа какой-то круг, правильный и точный. Как будто окружность для выреза была начерчена циркулем. Опорной точкой являлось туловище животного, а голова с челюстями вращалась, описывая окружность.

Вырез был сделан по кругу. Строго и точно. Вдруг животное, гудя, поднялось, опустилось рядом со мной и прикрыло вырезанным из листа зеленым кругом тот колодец, из которого я только что выбрался.

А на другом зеленом листе такое же серое животное тоже «танцует» — вырезает. Вот оно улетело. И на листе остался вырез, но сделанный не по кругу, а по эллипсу. Насекомое здесь дважды перемещало точку опоры: две неполные окружности и образовали вырез по эллипсу.

Крыша моего колодца — это кусок листа, вырезанный по кругу. А кусок, вырезанный по эллипсу, пойдет, вероятно, для прокладки стен колодцев, в которых хранится мед.

Я вспомнил: серое насекомое — это пчела-листорез, мегахила. Вся ее работа — как бы наглядный урок начертательной геометрии.

«Хорошо бы позавтракать, — сказал я себе, присматриваясь, как пчела-листорез укладывает на свой медовый колодец одну круглую зеленую крышу над другой. — Надо торопиться! Если пчела уложит всю свою многослойную зеленую крышу, такую крышу кулаком не пробить. Останусь без завтрака».

Вот пчела аккуратно закрыла колодец зеленой круглой крышей. Только она улетела, как я быстро подбежал и ударил кулаком по ней. Пробил отверстие, но лезть за медом еще не рисковал. Вдруг не успею?.. Вернется. Так и случилось.

Пчела укладывала крышу — я ждал. Она улетала, вырезывала новую — я пробивал. Опять терпеливо ждал. Опять готова крыша, а я снова восстанавливаю свой ход в медовый колодец.. Пчела делает бесполезную работу. Сказывается автоматизм инстинкта.

Кончит же она когда-нибудь укладывать свои крыши?!

Много раз она прилетала и укладывала круги. Положив тринадцатый слой, так же старательно пробитый мною, как и прежние двенадцать, она улетела и не возвратилась больше. Я долго ждал, но пчела, по-видимому, считала свою работу законченной.

«Теперь пора!»

Я полез в колодец, цепляясь за края листовенных стенок. Недурную пищу замесила для меня пчела: медовое тесто из цветочной пыльцы и нектара. Сюда она отложила свое яичко.

Я позавтракал, выбрался наружу и стал спускаться с пня, держась за выбоинки коры.

Но что там блеснуло у корней трав? Не серебристая ли это крупинка, скатившаяся с пня?

Да! Я увидел серебристый блеск крупинки. Это была она! Драгоценная крупинка! Пусть другая остается у паука!

Я прыгнул на землю и больно оцарапался об острые края камней. Камни? Раньше я сказал бы, глядя на них: крупнозернистый кварцевый песок. Теперь — это огромные камни. Небольшая узкая каменная полоса, а кругом шумит лес...

Я устремился к крупинке, но круглая, шарообразная гора высотой с трехэтажный дом, стоявшая неподалеку, вдруг двинулась с места и преградила мне путь.

Катящаяся гора

Голова чудовища напоминала полукруглый гигантский ковш с крупными зубцами

Было мгновение, когда я мог бы, ринувшись вперед, схватить белый мяч-крупинку. Но гора надвигалась на меня так неотвратимо и грозно, а запах, исходивший от нее, был такой дурной и тяжелый, что я отбежал, упустил минуту. Шарообразная гора вдруг остановилась. Я кинулся в обход. Но странное существо, закованное в черную броню, выглянуло из-за горы. Оно было похоже на рыцаря средних веков. Но какие размеры! Какие нелепые доспехи! И этот странный «рыцарь» прислонился спиной к горе.

Передний край головы чудовища напоминал полукруглый гигантский ковш с крупными зубцами. Передние ноги походили на две длинные широкие лопаты с зубчатыми краями.

Скорей в обход! Обойти! Во что бы то ни стало обойти движущуюся гору и схватить спасительную крупинку!

Я промчался мимо животного, обежал гору с правой стороны. Но вдруг гора тронулась и покатила в обратную сторону, снова отрезая мне путь.

Я отступил. Из-за горы появился другой черный «рыцарь». Этот второй был поменьше ростом, движения его были быстры и ловки и, пожалуй, даже вороваты. Он и двинул гору в другую сторону. Вороватый «рыцарь» стал было угонять ее, но первый уперся, налег, стал толкать в прежнем направлении.

Оба существа катили свой громадный шар то в одну, то в другую сторону, то открывая путь к спасительной крупинке, то закрывая его. Броситься напролом вперед? Но я неминуемо буду раздавлен горой либо растоптан черными «рыцарями».

Обогнуть гору, пойти окольным путем? Но справа и слева столь густые заросли! Мне не пробиться сквозь них. И еще: если я потеряю пилюлю из виду, то рискую не найти ее потом.

Неожиданно гора быстро покатила прямо на пилюлю. Все было кончено! И вот уже моя надежда, моя крупинка блеснула на вершине гигантского шара. Мгновение — и круглая гора покатила дальше по песчаной полосе. А место, где только что лежал белый мячик,

было пусто.

Я побежал за горой, но «рыцари» катили ее все быстрее и быстрее. Я бежал вслед, задыхался, но бежал. Путь был трудный: я огибал валуны, прыгал через рытвины, взбирался на крутые курганы. Напрасно... Силы оставляли меня. Скоро круглая гора с прилипшей к ней пилюлей исчезла за огромными песчаными холмами.

Кто эти существа с длинными зубчатыми лопатами и граблями, эти черные, закованные в броню «рыцари»?

Что это за шар-гора?

Все это стало мне ясно только впоследствии.

Лес шумел

Я добежал до песчаных холмов и стал взбираться на один из них. Только бы догнать!

Совсем недавно эти холмы были для меня кучками земли, выброшенными наружу кротами и полевыми мышами. У отверстий своих подземных ходов они всегда оставляют вырытую ими землю. Я бы спокойно и беззаботно, не заметив, перешагнул через эту «гряду холмов».

А теперь? Камни катились из-под моих ног. Валуны загромождали мой путь. Земля с крутых склонов оползала и увлекала меня вниз.

До вершины холма я так и не добрался. Оглянулся. Холмы, высокие холмы стояли близко один к другому, образуя длинную гряду. Узкие опасные ущелья зияли между ними. Там, за этими холмами, была моя пилюля.

Я снова сделал шаг к вершине. Еще шаг. Но одно неверное движение — и я скатился вниз. Я окончательно выбился из сил. Отчаяние охватило меня. Никогда не понять мне, как перебрались через холмы два черных «рыцаря» вместе со своим огромным шаром.

Беспомощный и растерянный, я долго не мог собраться с мыслями. Что предпринять? Может быть, вернуться к старому пню? Но слишком труден каменистый путь. Невозможно с израненными ногами взбираться на осыпающиеся холмы. Я свернул направо — и вот я иду лесом, густой, непроходимой чащей. Я знал, помнил, что нахожусь в травах, которые недавно топтал ногами... Травы... травы... Нет!

Огромные зеленоствольные деревья невиданных очертаний окружали меня. Они беспрестанно трепетали от ветра. Каждое дерево испуганно дрожало, качалось, сгибалось почти до корней. Шум стоял в воздухе.

Я стал пробираться сквозь дебри, полные странных звуков. Меня оглушали звенящий шум, резкий свист, беспрестанный гул, несмолкаемая трескотня и рев.

Теплый, влажный, душный воздух обдавал меня, точно я оказался в джунглях.

Я раздвигал стебли, отстранял огромные листья неизвестных растений. Какое разнообразие растительного мира! Ароматы наплывали сильными волнами. Но я их не узнавал, не различал. Голова кружилась.

Где же, где знакомые, привычные с детства запахи трав: сладкий аромат кашки, горечь полыни, резкий лекарственный запах ромашки, терпкий запах мяты? И как узнать, как различить среди трав, которые кажутся мне деревьями, как узнать самый обыкновенный подорожник, клевер, тимофеевку, манжетку, лютик, колокольчик? Конечно, все они здесь. Но я видел огромные листья — большие зеленые полотнища, колеблемые ветром; видел полотна круглые и зубчатые, тонкие и плоские, заостренные, как зубцы пилы, блестяще-гладкие и покрытые густым ворсом.

Листья то были прижаты к стволам, то качались на длинных черешках, то веером вырывались прямо из земли. Лианы густо переплетались между прямыми стволами и преграждали мне дорогу. По-видимому, это были всем известные нежный вьюнок и цепкий мышиный горошек...

Все мои представления и ощущения спутались. Я видел другие размеры и краски,

слышал иные звуки, вдыхал новые запахи. Как все кругом мучило и заставляло страдать!

Странные, невиданные птицы перелетали с дерева на дерево... Птицы ли это?

Непонятные животные, огромные и маленькие, прыгали и ползали с одного места на другое: были ярко-зеленые, сливающиеся с зеленью листьев; черные, припадающие к темным корням; желтые и бурые, ползающие по земле. Все они находились в непрерывном движении. Все кругом то взлетало, то падало. Конечно, это были вовсе не птицы и не звери — это были бесчисленные виды насекомых.

Как интересна и грозна, нова и опасна эта страна!

Изделие рук человеческих

«Нет, — сказал я себе, — довольно!» Мне становится все труднее дышать. Я здесь боюсь сделать шаг, не знаю, как ступить. Не понимаю и никогда не пойму, не назову всего, что меня окружает. Здесь стало неясным все ясное в жизни. Я посмотрел на небо: оно было такое знакомое, привычное, понятное, с пушистыми серенькими облаками, которые спокойно плыли, меняя легкие очертания, по глубокому синему небу. И всегда холодная синева стала для меня теплой, родной. Одно небо оставалось прежним...

Надо раздобыть, непременно раздобыть крупинку, восстанавливающую рост, и вернуться к людям! Было две крупинки... Какие-то животные катили смрадную гору и вместе с ней унесли крупинку. Я их назвал черными «рыцарями». А на самом деле? Я представил себе жизнь в ее прежних масштабах: да ведь это жуки-скарабеи! Жуки-навозники! Догоню... догоню! Отберу! Но при одном воспоминании о жуках на меня пахнул отвратительный запах шара, изготовленного из прессованного навоза. Я еще не погнался за скарабеями, а меня уже стал душить аммиачный запах навозной горы, которую они где-то катят.

Итак, остается одно: пойти на схватку с пауком. У него в сети другая крупинка. Но я вспомнил восьмиглазое чудовище, качающиеся в воздухе, страшные челюсти-ножницы. Веревки... липкие канаты... Что делать? Я прислонился к какому-то дереву и вскрикнул от боли — в меня вонзилась острая игла. С большим трудом я вытащил из своего тела отломившийся конец этой иглы. Боль совсем как от ожога. Отойдя от дерева, я опустился на землю. Тело было точно в огне.

Густой стеной стояли предо мной деревья, все стволы их были утыканы такими же иглами. Деревья колыхались на ветру, шумя плоскими зубчатыми листьями. Каждый зубец листа оканчивался тоже иглой. Крапива!

Надо приложить к обожженному месту горсть сырой земли. От этого должно стать легче. Протянул руку и имеете с горстью земли поднял... деревянную ложку. Деревянная ложка?! Я смотрел на нее и все больше удивлялся: как удобно ее держать в моей руке — руке человека, который уменьшился во много-много раз. Или что только кусок дерева, случайно схожий с ложкой? Игра природы? Конечно! Но ложка покрыта лаком. Вот и нескольких местах лак потрескался. Как старательно вытачивалась ложка! Изделие рук человеческих?! Думчев! Неужели эта маленькая ложка — примета жизни человека в травах?

Не знаю, не угадаю, как без ножа можно изготовить тебя, маленькая ложка! Но хорошо чувствую, как через этот кусок дерева, который я держу в руке, передается мне теплота другой человеческой руки.

Ряженные и фокусники

До сети паука я дойду. Крупинку отберу. Вдоль и поперек пройду Страну Трав и найду человека, который изготовил маленькую деревянную ложку. Отыщу Думчева. Так говорил я себе. В те минуты мне и в голову не приходило, что, может быть, давно нет здесь того, кого

собираюсь искать, и что деревянную ложку, которую я так крепко сжимаю в руке, Думчев уронил, может быть, тридцать — сорок лет назад.

Итак, я решил добыть крупинку обратного роста, застрявшую в паутине. Решил, но сразу же задумался. Куда идти? Как найти дорогу к сети паука?

Когда я бежал за скарабейми, моя тень бежала впереди. Значит, теперь надо идти так, чтобы тень догоняла меня.

Огромная птица о шести ножках, с прозрачными узкими длинными крыльями взлетела, опустилась и поползла по стволу дерева, около которого я стоял. Я сделал шаг в сторону. Она спустилась со ствола и двинулась прямо на меня.

Я отбежал, спотыкаясь о корни, и притаился за другим толстым деревом. Это оса! Ужалит — погибну! Хорошо, что я сразу заметил ее и отбежал. Она мгновенно расправилась бы со мной.

Но, стоя за деревом, я взгляделся в хищника и рассмеялся. У нее нет жала! Она совершенно безвредна. Вот наглядный пример к учению Дарвина. Мимикрия. Подражание форме и цвету крыльев осы. Это бабочка-стеклянница. Ее крылышки прозрачны, как у осы, — они не покрыты пылью. Птицы давно уничтожили бы бабочек-стеклянниц, но грозный наряд осы спасает их.

Внизу, у корней, где я пробирался, была полутьма, теплая и влажная. Словно я оказался в погребе — полутемном и сыром, наполненном испарениями гниющих овощей. Неожиданность сменялась неожиданностью. Как в этом лесном маскараде отличить настоящего хищника от ряженого? И я то прятался за дерево, то накрывался листом, то припадал к земле, недвижно замирая. Но сколько раз это бывало напрасно — я прятался не от хищника!

В самом деле, я хотел перешагнуть через два лежащих рядом сучка, перегородивших мне дорогу. Но один из них вдруг отделился от другого, толкнул меня и задвигался. Я в страхе упал. Но, присмотревшись, понял: гусеница! Кому не известно, что единственная защита некоторых гусениц от хищников — подражание сучку формой и окраской.

Что-то гулко и звонко загудело около огромного куста. На вершине его слегка покачивались малиново-розовые шары. По цвету я узнал, что это клевер. А громадное гудящее насекомое — шмель. Опасное соседство! Я спрятался под куст. Тут под кустом я увидел второго шмеля. Куда же спастись?

Но оказалось, что у шмеля только два крыла, совсем как у мухи. Опять фокус — это не шмель, а муха-мохнатка. Кругом ряженые! Мохнатка в наряде шмеля! Так отпускает она врагов.

Не только ряженые, но и фокусники заполнили мир, в который я попал. Вот упало на землю какое-то существо. Оно точно потешается надо мной: шлепнулось о землю, мгновенно согнуло свое тело — метнулось ввысь.

Фокусник — жук-щелкун.

Я шел вперед. А игра вокруг продолжалась. Игра шла в нарастающем темпе. Мимикрия проявлялась вокруг меня в самых неожиданных формах: фокусы, прятки, костюмы, взятые напрокат у соседа-хищника...

Я перебегал с места на место. Как устал я от этого маскарада!.. И нет мне пути! Не дойти, не добраться до сети паука, где осталась спасительная крупинка.

Легкий ветер качнул вершины трав. Что-то грохнуло, свалилось и покатилось предо мной, заслонив дорогу. На земле лежала огромная крынка — чуть ли не вдвое больше меня. Очень осторожно подошел я к ней и стал рассматривать. Горшок был умело и ловко вылеплен. Глина и песок были сцементированы каким-то составом. Глиняный горшок, но необожженный!

С радостным беспокойством я смотрел и не мог насмотреться на крынку. Ясно, совершенно ясно: та же рука, что изготовила деревянную ложку, которую я держу теперь, — та же рука вылепила из глины крынку. Я стал оглядываться. Мне казалось, что вот из чащи леса выйдет ко мне человек. Думчев!

Ветер зазвенел, зашумели над моей головой вершины трав, и вдруг на землю полетела еще одна крынка. Я успел спрятаться за ствол дерева. С вершины деревьев летели всё новые и новые крынки. Когда ветер стих, я кинулся к ним и стал внимательно рассматривать каждую. И вот в одной я увидел на дне такое, что заставило меня отшатнуться. Там прилипла лапа чудовища, из сетей которого я едва выбрался, — лапа паука!

Нет-нет! Не станет человек лепить горшки, наполнять их убитыми пауками и развешивать по деревьям. Но кто же и для чего занялся здесь гончарным производством и заготовкой впрок «продуктов»?

Даже считанные дни случайного знакомства с жизнью насекомых по книгам, рисункам и фотографиям в Ченске, даже отрывочные воспоминания детских наблюдений природы дали мне возможность понять, как многообразны ремесла насекомых. Здесь совсем недавно я догадался, что медовый колодец и крышу над ним делает пчела-мегахила. Так, может быть, и горшок и деревянную ложку изготовило какое-то насекомое?

А Думчев? Не надо обманывать себя: видно, я один, совсем один среди гигантских трав, среди животных, которые ползают, прыгают, скачут, летают, шуршат, шумят, звенят, живут таинственной и страшной для меня жизнью.

Я шел, все шел...

Кто кого!

Еще издали я увидел знакомые очертания гигантской горы с плоской вершиной. Это был пень, от которого началось мое путешествие. Там в паучьей сети осталась крупинка обратного роста.

Казалось, что до горы близко, а я все шел и шел. Неожиданно меж трав выросли четыре колонны, покрытые шерстью. Они, по-видимому, служили подпоркой странному сооружению, которое чуть-чуть покачивалось. Колонны вдруг поочередно стали сгибаться. Сооружение исчезло. Собака!

Подняв голову, я смотрел, искал сеть паука с моей крупинкой. Но сети не видел. Блуждая вокруг пня, увидел на земле какую-то серую массу, лежащую пластами. Костюм! Мой костюм! Хотел подойти поближе — может быть, по костюму удастся взобраться на пень и оттуда посмотреть: где же сеть с крупинкой? Но опять появились шерстяные колонны. Они крепко вросли в землю около костюма. Наверное, Черникова, заведующая базой Райпищеторга, поспешила в город сообщить обо мне, а собаку оставила стеречь одежду. Я побежал прочь от моего костюма, который грозно охранялся чужой собакой.

Я хожу у подножия горы-пня, но никак не могу обнаружить гигантскую сеть. Наконец где-то высоко качнулось что-то голубое, знакомое, повисшее на веревках. Кусок моего носового платочка — мой «плащ»! Тогда он не долетел до паука, а прикрыл крупинку. Паук оплел ее вместе с голубым плащом лентами паутины. Теперь плащ висит, качается над моей головой. Но где же сеть?

Может быть, Черникова, убегая в город, задела и разорвала ее? А может, это сделал страшный пес, обнюхивая и осматривая все вокруг? Возможно, что порыв ветра, швырнувший в лесу огромные горшки, порвал сеть. Не все ли равно! Но там, высоко, на обрывке паутины, качается моя крупинка.

Я стал гадать, как добраться до нее. По щербинам и трещинам коры старого пня? Трудно, почти невозможно взобраться так высоко по отвесной стене. Закружится голова.

Около пня росло гигантское дерево. Я заметил, что между стволом дерева и пнем протянулось несколько канатов — остатков былой сети. Не залезть ли мне на дерево по канатам и перебраться на пень? Я стал было взбираться, но зловещий шорох где-то в вышине остановил меня. Я спрыгнул на землю. Притаился.

Конечно, я знал, что пауки обычно восстанавливают порванную паутину. Не начал ли этот паук ткать новую сеть вместо порванной?

Снова шорох... Над головой закачалась веревка, кинутая с дерева. Она спускалась все ниже. Казалось, живая змея тянется с ветки к земле, тянется и все норовит зацепиться за что-то. Поднял голову: там, в вышине, веревка крепко прикреплена к ветке, будто приклеилась. И вот по качающейся веревке спускается тот, кто ее удлинял и удлинял, и настойчиво пытается к чему-нибудь ее прицепить. Опять я увидел гребни, щетки и восемь черных глаз на голове. Паук!

У корней гигантского дерева валялись бревна, жерди, доски. Конечно, это были сучки и сухие веточки. Было похоже, что паук, выпустив нить, спускался по ней к этим бревнам.

Как и раньше, покачивались в воздухе челюсти, похожие на клинки складного ножа. Я увидел на брюхе чудовища огромные наросты с сотнями отверстий. Паук спустился к одному из бревен, прижал к нему брюхо, и веревка приклеилась. И сразу же паук стал по ней подниматься вверх, выпуская, выматывая из себя вторую веревку. Он поднимался все выше и выше, а коготь на задней ноге держал между веревками, отделяя одну от другой. Они не склеивались, не слипались. Так он дотянул вторую веревку наверх к ветке, где она крепко прилипла.

Паук побежал вдоль этой ветки. Бежал, выпуская, выматывая из себя веревку. Прикрепил ее к концу ветки. Теперь он выпустил веревку вниз, спустился по ней к бревну, снова поднялся наверх и потянул за собой новую веревку. И так много раз. Я увидел: бревно, к которому прикрепились веревки, потащилось по земле, приподнялось, закачалось над землей. Надежда на то, что мне удастся какими-нибудь способами разорвать сеть и сбросить крупинку на землю, рухнула. Никакими палками не порвать эти веревки. Никогда ничем мне их не перерезать. Веревки эластичны и, видно, очень крепки на разрыв. Кроме того, паук — живая мастерская. Вместо порванной нити он протянет новую. Что же делать? Как добраться до плаща? Ведь веревки сети клейкие. Тысячи и тысячи липких шариков оставляет паук на них. Я прилипну, застряну — и паук расправится со мной, как с мухой.

Я смотрел вверх то на висящего вниз головой и поджидающего добычу паука, то на голубой плащ. Правда, к нему можно пробраться по сухим радиальным нитям (только спиральные нити — липкие). Но прежде всего надо изгнать паука из сети. После этого можно пуститься в опасный путь — вверх по канатам, к крупинке.

Легко сказать — изгнать паука. Но как это сделать? Не стать ли у края сети и, дергая ее палкой, подражать жужжанию мухи? Паук начнет охотиться за «мухой». Я собью его с толку и тогда проберусь к крупинке.

Жужжать, как муха? Но низкие или высокие тоны жужжания, нарастание или снижение их вызываются вибрацией крыльев мухи. Удастся ли мне воспроизвести все это в натуре? Удастся ли мне обмануть паука?

Нет! Я читал о необычайном «слухе» пауков. На одном из концертов паук, услышав чудесную игру скрипача, спустился по своей нити и висел, слушая игру. Но, когда заиграл оркестр, паук поднялся, спрятался за канделябр. Дело в том, что колебания воздуха от звуков скрипки заставили так дрожать сеть паука за канделябром, как дрожит она, когда в нее попадает муха. Инстинкт хищника проснулся. А когда заиграл оркестр, огромные волны звуков заставили паука спрятаться. Нет, я не стану жужжать, как муха. Своим жужжанием мне не удастся обмануть «музыкальный слух» паука.

Но как же изгнать его? Неожиданно шальная мысль пришла в голову: а не повернуть ли инстинкт паука протез него самого? Ведь здесь же недавно я уберегся от смерти, догадавшись бросить пауку мой плащ. Я обманул паука, заставил его хватать фальшивую добычу. Этот прием надо утроить, усмерить, повторить десятки раз, и тогда...

Я стал собирать щепки, палки, прутья и все это подтащил к паутине.

Кружево теней, отбрасываемое сетью, которую плел паук, стало уже совсем плотным. Солнце освещало сеть, ветер надувал ее. Дрожали, перемещались на земле тысячи светлых точек. А под сетью был виден причудливый контур животного, у которого спаяны голова и грудь: паук повис и ждал добычу.

Над землей покачивалось бревно, приподнятое на канатах. Я взобрался на него. Сеть

упруго качнулась.

Упираясь ногами в бревно, я раскачивал его все сильнее и сильнее, как на качелях. Паук стал спускаться. Я соскочил на землю.

Паук еще беспокойно ощупывал концы нитей, к которым прикреплено бревно, а я уже схватил палку и стал взбираться на стенку пня. Снова качнул сеть. Я приманивал паука то к одному ее концу, то к другому, раскачивал то один край паутины, то другой, кидал палки. Паук был сбит со своего «паучьего толка». Он то успокаивался — нет добычи! — удалялся к центру и подвешивался там, то снова кидался на «добычу» и начинал пеленать палки, которые я бросал в паутину. Он пеленал их плоскими веревками, похожими на ленты. Он был, видно, очень голоден, этот прядильщик, и все пытался высосать «живительные соки» из... деревяшек. В конце концов я устал. Уселся на землю и стал думать, как же выманить паука и порвать его нить. Глянул вверх — паука нет! Видно, и он... устал.

Я долго ждал. Сеть была пуста. Только ветер слегка раздувал ее. Паук не возвращался.

И тогда... тогда крупинка-мяч наконец оказалась в моих руках.

Ночные гиганты выходят на охоту

Теперь, когда крупинка была у меня в руках, я почувствовал тяжкую усталость. Опустился на землю. Глядел на свое сокровище, не мог наглядеться, словно боялся — вот-вот оно покатится прочь от меня. В усталой голове сменяли одна другую медленные мысли: Думчев!.. Надо скорей отдать ему крупинку. Где же он?

Темнело. И мир трав, в котором я находился, становился еще страшнее, опаснее. Разве можно отыскать Думчева? Сам я убедился, почувствовал, увидел: со всех сторон обступают здесь человека опасности, каждый миг они подстерегают, смыкаются вокруг него. Один шаг, случайное движение — и он на краю гибели. Как же поверить, что Думчев прожил в этой Стране Трав десятки лет?

Надо расколоть крупинку-шар, съесть. Вернуть себе рост. Надеть лежащий у пня костюм. Пойти в город. На поезд я уже опоздал. Да! Ведь собака стережет мой костюм. Я вспомнил шерстяные колонны — ноги собаки, упирающиеся в землю, и вздрогнул. Страшно? Нет, не страшно — ведь прогнал я чудовище-паука из сети, и собаку прогоню! Но тут же рассмеялся: видно, я очень устал, путаю масштабы.

А между тем все вокруг меня принимало удивительные и загадочные очертания.

Почудилось ли мне? Где-то как будто зашумел паровоз. Шум все ближе. Я всмотрелся и увидел: гигантская змея вытянулась и стала на хвост. Она раскачивалась вправо и влево, шипела, шея надулась. Гадюка! Так вот отчего — шум паровоза...

А рядом с гадюкой лежал холм — огромный шар, утыканный пиками. Еж?

Гиганты! Они вышли на ночную охоту.

Змея свернулась и развернулась; блеснула зигзагообразная лента ее спины. Змея накинута на гигантский клубок. Рванул ветер, закачались травы-деревья.

Я собрал все силы, полез на какое-то дерево и с высоты увидел схватку этих гигантов.

Свет луны спокойно и ровно освещал поляну, и мне все было хорошо видно.

Вот на одно мгновение шар как бы раскрылся: еж впился в хвост змеи. Гадюка точно взбесилась: заметалась, пыталась укусить ежа. Напрасно! Она натыкалась на иглы.

Все выросло предо мной в необычных масштабах. И мне было трудно убедить себя, что внизу — обыкновенные еж и гадюка.

Схватка продолжалась. И казалось мне, что еж и гадюка то принимали свою обычную, давно мне известную форму, то разрастались, видоизменялись, приобретали новые, гигантские размеры. Что делать? Кружится голова. Не надо смотреть на борьбу двух страшных гигантов, не надо слушать храп и шипение, доносящиеся снизу. Я взбирался по дереву все выше и выше.

А внизу борьба разгоралась.

Еж крепко прижал хвост гадюки к земле. Гадюка пытается вырваться, но еж не отпускает.

Вдруг борьба прекратилась. Еж отскочил. Змея поспешно уползла.

Враги разошлись. Я стал спускаться на землю, но увидел, что еж покотился вслед за змеей. Опять схватка! Еж обошел гадюку, прыгнул, впился зубами в ее шею. Змея сильно встряхнулась. Еж мгновенно свернулся в шар. Змея зашипела, она тыкалась в разные стороны. Но еж был недвижим. Он прижал к брюшку рыльце и лапки, подвернул свой короткий хвост. Он хрюкал и пыхтел, как паровая машина.

Гадюка, видно, устала, отползла. Она ползла из последних сил.

Еж побежал, покотился вслед за змеей. Он догнал ее и впился в позвоночник.

Змея раскачивалась. Но зубы ежа вонзились в шею змеи.

И я, забыв об их гигантских размерах, кричу:

— Кусай! Кусай ее, Фырка! Прокуси ей шею!

Еж отбежал. Гадюка была мертва. Еж сделал свое дело. Он отдыхал: высунул добродушное рыльце, спокойно сложил иголки.

Затем он медленно, с развальцем подошел к мертвой гадюке и стал ее трепать. Разорвал змею на части, схватил кусок и побежал куда-то.

Скоро показались два маленьких серых холмика, утыканных иглами. Еженята! Они нажились с жадностью на добычу. Еж смотрел на них, и мне показалось, что он насмешливо ухмыляется.

Как я устал от этого зрелища! Как хочется спать! Но ночные шорохи, шелесты, шумы не прекращаются ни на минуту.

Росистое утро

Где спрятаться, где уснуть? Я примостился было на листе дерева, с которого наблюдал схватку гигантов, но внезапно налетевший ветер так сильно закачал его, что я едва не свалился. Пришлось спуститься на землю.

Спрятаться и уснуть под каким-нибудь кустом? Я стал собирать на земле сухие травинки на подстилку. Рука коснулась края какой-то ямы. Внутренняя сторона ямы плотно обвита веревками. Паутина? Очевидно, гнездо земляного паука. Я пошарил около гнезда. Рядом лежал какой-то круг. Не крышка ли норы паука? Ведь земляной паук лепит из песчинок крышечку для своей норы. Дома ли хозяин? Наверное, нет, а то крышка прикрывала бы щель.

Все же несколько раз я пошарил хворостинкой по паутине. Прислушался. Никто не отозвался из подземелья. Тогда я залез в яму, обследовал ее. Паутина сухая. Кое-где «штукатурка» обвалилась. На дне ямы лежали комья земли. Видно, земляной паук навсегда покинул это жилище.

Я устроился в яме поуютнее и спокойно уснул. Гулкий звон разбудил меня. Удар колокола — и тишина... Снова удар. Я прислушался: звон повторился в другом месте и опять оборвался.

Но вот уже звоны следуют один за другим: то часто, то редко, то ближе, то дальше.

Я вскочил и стал выбираться из ямы. Глянув вверх, я оторопел. Над отверстием висел огромный стеклянный шар. Он переливался на солнце всеми цветами радуги. Неужели это капля росы? А эти звоны — падающие капли?

На моих глазах шар стал вытягиваться и принимать форму груши. Еще мгновение — он оторвется и упадет мне на голову. Выскочить я не успею. Быстрым движением я протянул руку, нащупал крышку и прикрыл ею яму. Почти мгновенно раздался оглушительный звон. Стеклянный шар разбился о крышку. Как хорошо, что земляной паук, сделав крышечку, устраивает из паутины свободный шарнир и засов! Спасаясь от врага, паук вставляет коготки в крышечку и крепко удерживает ее над своим жильем.

Крышка так плотно прикрывает отверстие, что, пожалуй, это сооружение можно

сравнить с плотно закрывающимся корабельным люком.

Но пора выбираться. Я откинул крышку «люка» и вскрикнул от восторга. Куда ни глянь — направо, налево, впереди и надо мной в воздухе висели, качались, а потом падали и разбивались стеклянные шары.

Звоны... Звоны стоят в воздухе. Летят брызги-осколки в разные стороны, а в брызгах и шарах играют лучи солнца. Звоны и краски!

Здравствуй, звенящее росистое утро!

Тень старого пня

С той минуты, когда я проглотил порошок и травы у старого пня поднялись вдруг, как иглы дикобраза, потянулись вверх и обступили меня со всех сторон, — с той минуты, куда бы ни пошел, я всюду видел, чувствовал гигантскую тень пня.

Как бы далеко ни ушел от пня, я все же ощущал прохладу этой тени. Пробираясь между гигантскими деревьями-травами, скитаясь по дебрям, я вдруг останавливался и, с недоумением оглядываясь, хватался руками за голову: что же это такое? Ведь качающиеся, шумящие деревья, грозный лес, в котором я очутился, были вчера еще травой, зеленой травкой. Я топтал ее ногами.

Тень старого пня распростерлась и далеко легла на лес трав. Конечно, можно уйти из этой тени. Но к старому пню придут люди меня искать — за ними побежала Черникова; у пня остался лежать и ждет меня мой костюм; я его надену и вернусь в город.

И сегодня, в это росистое утро, тень старого, гнилого, трухлявого пня смягчала, успокаивала мое испуганное сердце.

Волоча за собой крупинку, завернутую в плащ, с ложкой в руке я пробирался осторожно через бугры, холмики, уступы, ущелья — меж старых корней пня, — пробирался поближе к тому месту, где остался мой костюм. Не унесли ли? Стережет ли его собака?

Кто-то толкнул меня. Я упал, но мгновенно вскочил на ноги. Огромный бурый удав! Он извивался, громко шуршал по земле. Я отбежал. Но странно, почему так много ног у этого животного? Голова у него толстая, бурая, с красной каймой. Удав кольцом извивался совсем рядом. В этот миг я потерял все свое самообладание: предо мной огромная голова с двумя вытаращенными глазами. Голова раздувалась.

Я бежал все дальше от удава, прижимался к уступам пня, пытался сделаться совсем незаметным. Неожиданно я увидел какую-то щель, прикрытую камнем. Отодвинул его и оказался в пещере. Только здесь я перевел дыхание.

Никогда нельзя теряться, лишаться уверенности в своих силах. Ведь этот «удав с ногами» — только гусеница, кажется, бабочки винный бражник. Опять обман! Ее пугающие глаза — два пятна. Гусеница сама испугалась — и у нее раздулось одно из колец тела. Ее вид отпугивает даже маленьких птиц.

Конечно, я остался на некоторое время в своем убежище: пусть гусеница, которая для меня стала удавом, уползет подальше.

Свет проникал через щель и мягко разливался по пещере. Я прислонился к стене, потрогал ее рукой и удивился — она была гладкая, совсем гладкая, словно ее покрыли лаком. Я хорошо понимал, что проник в гнилой, трухлявый пень и каждый миг куски дерева могут упасть, обрушиться на меня. Каким же составом кто-то скрепил, смазал, покрыл поверхность стен и потолок?

Я знал из прочитанных книг, что железы пчел выделяют воск, знал и то, что некоторые насекомые выделяют лаки. Вот почему я подумал, что нахожусь в норе неизвестного мне насекомого, которое воском или лаком обработало стены.

Ноги мои скользили словно по натертому паркету. Нагнулся. Присмотрелся. Пол был устлан... цветными надкрыльями божьих коровок. Надкрылья плотно прилегали одно к другому, словно кто-то хотел обезопасить жильё от сырости.

Шаря рукой по стене, я задел край мягкой ткани. Я очень удивился бы, если бы не знал, что многие насекомые «вырабатывают» и вату, и шелк, и паутину.

С некоторой боязнью я приподнял кусок ткани, шагнул и оказался в другой пещере.

Огоньки, огоньки, огоньки... Бледно-лунные светящиеся точки, образовав полукруг, лили мягкий свет на стены, пол и потолок пещеры. Гнилушки! Только светящиеся гнилушки! Но они помогли мне увидеть нечто такое, во что и поверить трудно.

Снова надо мной колыхнутся травы-гиганты, снова слышу долгий гул и гуд их вершин, снова светит яркое солнце.

Как поверить?! В пещерах, где я побывал, стены были покрыты воском и лаком, на дверных проемах — шелковые шторы, на полу — кувшины, наполненные пылью цветов, медом, чистой водой. Как поверить? В одной из пещер — спальня с ватной подушкой, в другой, поменьше, — сложены в строгом порядке связки канатов, веревочные лестницы, изделия из дерева, острые осколки раковин и обтесанные камни, которые в опытных, ловких руках могут стать не хуже ножа и пилы.

Какие насекомые лепили сосуды, в которых хранились разные продукты? Какие насекомые трудились над изготовлением ваты для подушек и одеял? Какие гусеницы пряли шелковые шторы, покрывала, веревки, канаты разной длины? Какие насекомые предоставили для устройства пещер под жилье воски, лаки, разные пахучие вещества? Кто отбирал у обитателей трав их изделия (какая находчивость здесь проявилась!), кто собрал все предметы под эти своды, разместил, разложил их в пещерах?

Переходя из одного помещения в другое, я задавал себе бесконечные вопросы. Но как удивился я, когда увидел маленькую стопку листков, исписанных рукой человека!

При ясном солнечном свете дня смотрю на эти листки и глазам не верю... Присматриваюсь — узнаю острый, с легкой вязью почерк.

Все тот же почерк! Я видел этот почерк на листках под микроскопом в институте, на бумагах в лаборатории Думчева, на обгорелой записке у Булай и на клочке бумаги, в которую был завернут порошок.

Все тот же почерк!

Не верю себе. Перебираю листки. Читаю вслух. Негромко, но все же так, чтобы слышать голос. На миг, оторвавшись от чтения, оглядываюсь. Мне кажется, что гул трав постепенно умолкает, будто все живущее здесь прислушивается к моему голосу.

Часть четвертая

История последнего путешествия Думчева, написанная им самим

Вместо предисловия к дневнику

Волею случая я, Сергей Думчев, оказался в Стране Дремучих Трав. Прожил здесь много-много лет. А когда нашел бумагу и пропитал ее подходящим составом, то есть сделал годной для писания, когда додумался, как приготовить из чернильных орешков чернила, — стал вести дневник, записывать все открытия и опыты, сделанные мною в этой стране. Каждый листок я обозначал порядковым номером. Последний листок имел номер 2876.

Настал день, час — и я отправился в путешествие, чтобы передать дневник открытий людям. Как это сделать, я еще не знал, но решил добраться до тех мест, где чаще всего бывают люди, где некогда, давным-давно, была беседка.

Путешествие было трудным, почти роковым. Случилось так, что буря и вихрь развеяли листки дневника. Может быть, какой-нибудь листок и долетел до людей? Но, читая его, они ничего не поймут, будут смеяться. Пусть! А мне остается: восстановить дневник с самого начала и найти верный способ, чтобы люди смогли его прочесть. Но, прежде чем начать восстанавливать дневник, я вместо предисловия к дневнику опишу историю моего

последнего путешествия.

Дневник

Лист 1

Помню, было это на закате. Дописывал я тогда очередной листок дневника. Посмотрел на заходящее солнце и подумал: уж тысячи и тысячи закатов видел я в Стране Дремучих Трав. И всегда на закате я обрывал свои записи.

Дневник мой уже переполнен открытиями и соображениями, мыслями и наблюдениями, сделанными мною в Стране Дремучих Трав. Пора, давно пора передать его людям. Но как это сделать? Впереди — леса, пустыня и Великая Медленная река. Как мне с тяжелым дневником преодолеть их?

Этот вопрос вставал передо мною всякий раз, когда я заканчивал очередной листок. Но я отворачивался от этого вопроса, откладывал, все откладывал. Потом... как-нибудь, что-нибудь придумаю. А теперь откладывать больше нельзя. Пора!

В эту ночь, лежа в спальном шелковом мешке (кокон гусеницы), я все к чему-то прислушивался, чего-то ждал, словно кто-то издали мог подсказать ответ на мучивший меня вопрос. Но было все тихо кругом. Только слышно, как стучит, стучит сердце — маленькое сердце маленького человека.

Стало всходить солнце. Где-то далеко отсюда оно осветило теперь и мой городок. До него не добраться. Лучше всего идти к беседке, которая стоит по левой стороне дороги к морю. Люди, гуляя за городом или направляясь к морю, заходят в беседку. Наверное, она сохранилась до сего дня. Помню, там, рядом с беседкой, протекал маленький ручей. Теперь этот ручей превратился для меня в Великую Медленную реку. Как я переправлюсь через нее, не знаю. Но отправляться в путь надо!

Лист 2

Когда-то я попытался доплыть на плоту по речке, которая протекает около моего дома, до Великой Медленной реки. Не удалось.

Воды маленькой речки теряются где-то на юге в песках. Правда, весной и после сильных дождей эта речка вливается в Великую Медленную реку. Но в такое время пускаться в плавание бессмысленно. Стоит шальная погода. Дуют ветры.

Хотя эта речка протекает недалеко от моего дома, я почему-то долго не знал, как ее назвать. Но вот однажды ночью ранней весной я проснулся и прислушался к шуму речки. Мне показалось, что она не унимается и попрекает за то, что когда-то, очень давно, я вовсе не замечал ее и шагал по ней, едва замочив подошвы сапог.

И в ту же ночь я назвал ее: «речка Запоздалых Попреков».

Итак, на северо-восток до Великой Медленной реки можно добраться только через лес и пустыню.

Лист 3

На всякий случай я сложил листки в плотную пачку, перевязал веревками. Из пчелиных гнезд достал воск, растопил его на солнце. Покрывл воском пачку. Теперь листки не промокнули ни от росы, ни от дождя.

В мешок из добротной водонепроницаемой материи положил дневник и обмотал его крепкими веревками. Конечно, когда-то я назвал бы эти веревки ниточками гусеницы, а мешок — коконом.

Но как же нести этот мешок с дневником? Где тот верблюд, что понесет мешок с грузом?

Сколько надо терпения, таланта, изобретательности, чтобы выдрессировать животное! История, сохранив подробности похода Ганнибала на Рим, забыла имя замечательного дрессировщика, научившего слонов нести разнообразную службу в войске Ганнибала.

А назовет ли кто имя дрессировщика, заставившего львов покорно везти колесницу, на которой Марк Антоний триумфально въехал в древний Рим?

Терпение, наблюдательность и воображение — вот неперенные черты характера дрессировщика. Но требуется еще и время, длительный срок, чтобы приручить животное, сделать послушным. Я знал старого чудака, который научил своего черного кота подбирать каждую оброненную монету и приносить на стол. Знал и натуралиста, который устроил у себя на столе муравейник под стеклянным колпаком. В один и тот же час ежедневно, на одном и том же краю стола, он кормил одного меченого муравья медом.

Но много, очень много дней прошло, прежде чем кот научился приносить монеты, а муравей в назначенный час приходить за сладкой пищей.

Кого же из обитателей Страны Дремучих Трав можно в короткий срок научить нести мой груз? Разве можно заставить жука-скарабея толкать по земле не свой огромный навозный шар, а мой мешок с дневником? Нет, бессмысленное предприятие.

Шли дни. И уже сколько раз я развязывал дорожный мешок, клал в дневник еще один заново написанный листок и снова заливал воском. Опять перевязывал дневник веревками, прятал в дорожный мешок. Дневник все ждал — скоро ли его отвезут к людям? А я — я не знал, как приняться за дело.

Иногда начинал думать о стрекозах, о гигантских бабочках. У меня были веревки разной длины и толщины. Я мог бы привязать к их спине мой груз и, ухватившись за конец веревки, идти по земле. Так и совершить путешествие. Нет, я оказался бы во власти случая: стрекоза или бабочка совсем не обязана лететь к беседке!

Держать на поводке бабочку, стрекозу? Хватит ли сил? А потом: человеку надо отдохнуть в пути, а стрекозы и бабочки, например бражники, летят, не отдыхая, и десять, и двадцать, и сто верст.

И я стал уже думать: не развязать ли мешок, рассыпать дневник, на листки? И пусть пчелы несут мои листки в улей в тех же корзинках на ножках, в которые они собирают цветочную пыльцу. Но надо будет каждый листок свернуть в трубочку и поставить трубочку в корзинку. Медленно и тяжело пчела будет возвращаться в улей: в корзинках, кроме пыльцы, — мои листки. Где-то там, в амбарах улья, она оставит листки вместе с пыльцой. Ну а дальше? Я даже налегке не успею дойти до пасеки, а листки мои вместе с пыльцой будут переработаны пчелами в... хлебце. Никто их не увидит, никто их не прочтет.

Нет, не следует рассыпать дневник на листки. Каждый последующий листок дневника перекликался по смыслу с предыдущим. Потеряется один листок — потеряется значение всего труда. Мне дорог был каждый листок моего дневника.

А дни, часы уходили. Иногда можно ждать годы, десятилетия, но как трудно, мучительно трудно иногда ждать день, час, минуту!

Лист 4

Это случилось в сумерки. Были прямы и неподвижны травы. Я сидел под навесом. Постепенно темнота окутывала все вокруг. Как вдруг травы закачались, и предо мной появился круглый, с покатыми краями стол на восьми изогнутых ножках. Стол перемещался. А на нем двигались, шевелились маленькие столики. Конечно, мало ли что может показаться

в сумерки, когда меняются очертания предметов...

Я пристально вглядывался и различил в полутьме: стол остановился. Я даже увидел, как маленькие кругленькие столики осторожно спустились на землю. Они стали двигаться по земле. В недоумении я подошел поближе и ясно увидел, что каждый столик привязан веревкой к большому столу, с которого слез. Только теперь я понял, что это паук вывел на вечернюю прогулку маленьких паучат. И они, спустившись на землю, держатся за паука при помощи ниток паутины. Я бросил камешек. Все паучки, один за другим, быстро вскарабкались на покатый стол, слились в один комок. Изогнутые ноги задвигались, стол качнулся — паук исчез. И снова травы стали неподвижными.

Уже давно стемнело. Сблизились, слились стволы гигантских трав. Уже давно добрел до своего жилья паук и, пройдя под паутиным навесом и куполом, в которые вплел комочки земли и листочки, пробрался с паучатами в вертикальное логово — уснул.

А я все еще глядел в черную чащу леса трав и видел перед собой паука с паучатами на спине. И вдруг неожиданная мысль. Бродячий паук, или паук-волк, — вот кого я заставлю нести мой мешок с дневником! Подчиню материнский инстинкт.

Теперь паук нес на себе паучат. Но ведь пауки носят и коконы с яйцами, из которых выводятся паучата. Вместо яиц положу в кокон дневник. Он тяжел, мой дневник! Ну и что ж? Я читал когда-то, что вместо яиц клали в кокон тяжелые дробинки и пауки их носили — носили ровно столько дней, сколько надо, чтобы из яиц вышли паучки.

Но смогу ли я повести паука за собой? Нелегкое и опасное дело предстоит мне — поймать, укротить паука, заставить нести груз. Трудно, но можно.

Меня наполнила радость при мысли, что скоро я отправлюсь в путь. Я приду туда, где люди смогут взять в руки мой дневник открытий.

Лист 5

Я стал присматриваться к повадкам пауков. Грозные пауки со страшными крючьями, наполненными ядом; пауки, прижимающиеся к жертве, чтобы влить в нее убийственный яд, — как страшны были эти пауки в первые дни моей жизни в Стране Дремучих Трав! Какой испуг овладевал мною, когда в темноте пещер, мимо которых я проходил, загорались огоньки — фосфоресцирующие, переливающиеся злобой глаза паука! Я отбегал, прятался за деревья.

Помню, в один из первых дней я увидел, как из пещеры вылезло мохнатое чудовище с розовыми ногами. Восемь ног. И на каждой словно тушью нарисованы черные кольца; видно, поэтому розовые ноги казались еще розовее. Было страшно, когда чудовище, увидев жука, подпрыгнуло и, показав свое черное брюхо, грозно подняло передние лапы. Схватило жука. Вонзило в него крючья, утащило в пещеру. Как я испугался тогда! Оглядывался — куда бежать. Мне казалось, что из всех пещер на меня смотрят злобные огоньки и подстерегают.

Это было давно — в первые дни моей жизни в Стране Дремучих Трав.

А теперь я ищу пауков, пытаюсь поближе познакомиться, узнать, как они живут, кого боятся.

Выследив погребного паука и дождавшись, когда он оставит свое логово, я сразу начал исследовать, как построено это жилище. Предо мной были бастион, бойницы, каменные заставы — работа настоящего инженерного мастера. Но для сооружения этой крепости погребной паук не оторвал ни одной травинки от земли — он сцепил и спутал травы и переплел их паутиной. Паутиной же скрепил соломинки и стянул различные колышки.

Притаившись за стенами своей крепости, он узнает о появлении врага по легкому трепетанию паутины. Стены логова обиты шелковыми обоями — паутиной. Если обвалится камешек, он застрянет в паутине и не ударит детенышей паука. От паутины же паук отталкивается, как от трамплина, и кидается на врага.

В другой раз, под вечер, когда я возвращался домой, мимо меня прошло огромное животное: черное с коричневыми полосами бархатное брюхо и темные кольца на ногах. Это был тарантул. Сначала мне показалось что у него на спине горбы. Но потом присмотрелся получше и увидел: у тарантула, совсем как и у того паука, которого я принял было в сумерках за движущийся стол, сидят на спине маленькие тарантулы.

Вечер был спокойный и мягкий. Тарантул вынес детенышей на прогулку. Покатал их на своей спине, а теперь возвращался с ними домой. Тарантул исчез в щели между двумя камнями. Оттуда, из темноты щели, скоро засверкали четыре глаза. Другие четыре — те, что поменьше, — не были видны. Потом тарантул занялся своим туалетом: чистил передними ножками щупальца и челюсти.

Ежедневно я следил за этим тарантулом, наблюдал и за другими пауками. Не так много времени прошло, а я уже знал, как идет жизнь во многих паучьих жилищах. Я появлялся то у одного, то у другого логова, осторожно присматривался к инстинктам, нравам, повадкам пауков и думал о том, как заставить ядовитого огромного паука слушаться и бояться меня, заставить его нести мой багаж, как носит он яйца в коконе или детенышей.

Вот бы увидеть, кого страшится паук. И тогда я знал бы, как заставить его нести мой багаж. Время шло, и я дождался!

Лист 6

Это было в яркое, теплое утро. У логова одного из тарантулов, за которым я следил, появилась оса. Светло-желтый костюм, приподнятые зыбкие янтарные крылья. Гордая осанка, быстрые, решительные движения. Оса-каликур!г!

Оса метнулась и вдруг предстала перед сидящим у щели пауком.

Рискуя каждую минуту поплатиться жизнью, я подбежал поближе к логову. Сражение каликур!га и тарантула! Тарантул поднялся почти вертикально. Маленькие тарантулы, видно, остались там, в щели-логове. Оса то выпускала из брюшка, то втягивала обратно свой стилет- жало. Тарантул опирался на четыре задние ноги, бархат черного брюха блестел, четыре передние ноги были вытянуты, ядовитые крючки широко раскрыты, и на их концах висели капельки смертоносного яда. Оса-каликур!г вызова не приняла. Она только встревожила тарантула. Паук, кажется, устал стоять вертикально — он опустил все ноги на землю.

Каликур!г вился, скользил.

Тарантул разомкнул ядовитые крючки. Вот-вот он первый кинется на каликур!га.

Каликур!г то отступал, то насакивал. Тарантулу это, видно, надоело — он сделал несколько движений вперед. Оса отскочила. Так она выманила тарантула из щели логова и мгновенно заслонила ему вход в щель. Тарантул неожиданно прыгнул, чтобы вцепиться в осу своими ядовитыми крючками. Но она ловко увернулась и сразу же вонзила свой стилет в тарантула. Страшные крючки паука с бисеринками яда беспомощно повисли. Остались не сомкнутыми. Парализованы. Но паук еще был жив. По-видимому, оса ударила прямо в нервный центр,двигающий ядовитыми крючками тарантула.

Оса плясала, держа жало вытянутым. Она обходила тарантула — выбирала новую точку, чтобы нанести удар. Снова стилет осы вонзился, на этот раз в нервный узел, который управляет движением ног тарантула. Он содрогнулся, теперь его конечности уже не двигались. Он был окончательно парализован.

Оса не отходила от своей добычи и склонилась над жертвой. Она трогала паука, проверяла концами своих челюстей, действительно ли метки удары стилета, доподлинно ли безвредны ядовитые крючки тарантула, не сомкнутся ли они.

Наконец оса потащила свою добычу. Я пошел следом. Оса-каликург оставила парализованного паука и начала бегать около скалы, искала что-то, потом возвратилась к тарантулу. Она схватила его и потащила за собой. Она взбиралась на скалу, шагала через все препятствия и тащила за собой живую, парализованную добычу.

Я продолжал следовать за осой. Она подбежала к какой-то щели. Тарантула она оставила, а сама скрылась в этой щели. Я ждал. Вот она наконец появилась и втащила тарантула в щель, а сама быстро выскочила наружу и начала старательно заделывать вход камешками. Убедившись, что щель никому не видна, оса-каликург умчалась.

Я отодвинул камешки и увидел: на брюшке тарантула приклеено белое яйцо цилиндрической формы. Из этого яйца появится личинка каликурга. Она вырастет, питаясь живыми соками парализованного паука. В тот день, когда иссякнут живительные вещества тарантула, личинка его оставит.

Надо стать для пауков осой, и тогда можно будет заставить их бояться меня. Надо притвориться осой — вот в чем дело!

Теперь я стал следить не только за пауками, но и за осами.

Сколько раз я видел: блестят из пещер на холме злые глаза пауков. И вдруг — трепетание крыльев, прозрачных, отливающих желтизной крыльев. Оса! Неустрашимый охотник за пауками появляется на холме. Легко пробегая по откосу, оса на миг останавливается *то* у одной, то у другой пещеры. И исчезают злые огоньки — их словно гасит трепетание легких крылышек. Подальше, подальше от осы в глубь пещер забивались, прятались пауки.

Взмахи крыльев осы, быстрые движения, едва слышный шорох. А потом — бросок. И вот уже она поволокла за ногу паука, которого парализовала уколами жала.

И в тот день, когда я, раздобыв крылья осы, прицепил их себе на спину и, взмахивая ими, прошел мимо входов в пещеры, — в тот день я увидел, как потухли злобные огни. Пауки стали бояться меня, маленького человека.

Лист 7

Вперед, мой «верблюд»! На северо-восток. Туда, к беседке, где бывают люди.

Я шел на северо-восток, держа на аркане животное. В коконе вместо яиц — пачка листков дневника.

За спиной у меня был мешок из водонепроницаемого шелка, а в нем — веревки разной длины. Конечно, раньше я назвал бы эти веревки шелковинками гусениц. И много еще разнообразных принадлежностей моего быта было в мешке.

Актеры бродячих театров — актеры давно прошедших лет — обычно перед въездом в город, где давалось представление, делали привал. Надо было так переодеться, чтобы поразить воображение, привлечь внимание горожан и зазвать их на представление. Самые странные, неожиданные вещи доставали актеры на привале. Но и эти актеры, много перевидавшие на своем веку, раскрыли бы рот от изумления, если бы увидели все те вещи, которые я нес в своем мешке.

Бережно и осторожно хранил я в мешке две пары крылышек осы. Такие же светлые, отливающие легкой желтизной крылышки я привязал к плечам.

Нелегко было накинуть аркан на паука и заставить его идти к тому месту, где был спрятан дневник. Но я подстерег паука, когда он пожирал добычу. Из веревки я сделал большую петлю. Подкрался. Накинул. Затянул осторожно вокруг головы паука. Держа конец длинной веревки в руке, следил, ждал, скоро ли он кончит есть. Дождался. Попытался потащить сто — не удалось. И тогда я пошел на него. Трепетали, качались, шуршали у меня за спиной крылья осы. Паук приподнялся, сверкнули бисеринки яда. Из всех сил упираясь ногами в землю, я крепко держал конец аркана. И все резче и сильнее трепетали перед ним крылья осы. Удлинил поводок — паук бросился в бегство. Но всюду перед ним — крылья

осы. Паук притих. Перехватывая руками туго натянутый поводок, я приблизился к нему почти вплотную, шурша и качая крылышками. И паук подчинился. Я привел паука совсем близко к месту, где лежал дневник. Здесь я долго и терпеливо ждал, не выпуская из рук поводка, пока усталый паук успокоится и уснет. Быстро выкинул из его кокона яйца и заменил их восковой пачкой — дневником. Паук проснулся и пошел. Не выпуская из рук веревки, я осторожно повел его па северо-восток. Но паук сразу же почувствовал, что с коконом, который он несет, что-то случилось. Он остановился. Стал оплетать новой паутиной кокон (мой дневник), крепко приплетать его к телу.

На северо-восток, мой «верблюд»! На северо-восток!

Лист 8

Паук подчинился. Я осторожно повел его на северо-восток.

Мое путешествие по Стране Дремучих Трав только началось, а меня уже тревожила и беспокоила дикая лесная даль. Паук, который нес кокон с дневником, совсем не чувствовал, что кто-то держит его на длинном поводке и осторожно тянет в определенном направлении.

Иногда лес становился редким. И я различал, как паук кидался, хватал то личинку, то жука и пожирал добычу тут же на месте. Я в таких случаях не мешал ему, отпускал поводок на всю длину. Когда на пути показался пригорок, паук почему-то стал на него взбираться. Там он оплел куст паутиной и повис головой вниз, ножки сложил на головогрудии. Паук заснул. Я улегся невдалеке, обмотав вокруг пояса конец длинного поводка, с наслаждением вытянул ноги. Мое оружие — острый клинок из осколка раковины — положил рядом.

Я шел. С каждым днем все больше привыкал к полутьме леса трав, стал уже различать, в какие оттенки окрашивают полутьму огромные купола цветов — синих, желтых, белых. Купола поворачивались над моей головой и следили, следовали за солнцем. И в травах оживал древнегреческий миф о Клитии — о трагической любви лесной нимфы Клитии к Солнцу-Гелиосу. Она неотрывно смотрела с земли на того, кто мчится по небу в огненной колеснице. Печальная и тоскующая нимфа превратилась в цветок. И цветок, увидя солнце на небе, все поворачивает за ним свою головку — смотрит вслед солнцу.

Лучи солнца застревали где-то высоко над моей головой. И в первый же день пути я то и дело останавливался и с недоумением спрашивал себя: сколько часов я иду и который теперь час?» И вдруг — какая радость! — подняв голову, я будто услышал: «А ведь скоро десять часов утра — пора спать!» Эти слова мне, конечно, почудились: никто в лесу не говорил. Но зато я ясно увидел: высоко, совсем высоко надо мной, медленно закрываясь, тяжело склонялась к земле — засыпала — голубая корзинка дикого цикория. Да, дикий цикорий устал. Он ведь давно проснулся, раскрыл голубую корзинку еще в пять часов утра. Теперь он засыпал. Я видел, как в разных местах склонялись, засыпали голубые корзинки дикого цикория: «Уже десять часов утра — пора спать...»

Так начался немой разговор цветов со мной, странником, который брел через лес трав к людям.

Стало веселее. Идешь и сразу определяешь — теперь десять часов утра: желтые головки козлотородника засыпают, медленно и тяжело склоняются к земле.

Казалось, что цветы не только говорят мне, который час, но и перекликаются друг с другом. Было три часа дня, когда я услышал (лучше сказать — понял!), что цветок одуванчика, закрываясь, говорит рядом растущей ястребинке: «Скоро ли ты уснешь?» — «Нет, я еще часок-другой буду ловить солнечный луч», — отвечала ястребинка.

Да, нелегкое дело поймать солнечный луч. С какой сказочной быстротой летит он! В одну секунду обегает земной шар восемь раз. Только сказочник Андерсен смог серьезно рассказать, как человек отправился ловить солнечный луч.

И еще мне показалось в первые дни путешествия, что травы сопротивляются силе земного притяжения и тянутся, тянутся вслед за солнечным лучом.

Я шел по лесу и, глядя на цветочные часы, подсчитывал, сколько шагов я делаю в час, через сколько дней я выйду из леса. Я установил по цветочным часам, когда мой паук засыпает, когда просыпается. И, чтобы скорее закончить свое путешествие, я стал подергиванием поводка будить пораньше мое выючное животное.

Я видел, как некоторые цветы превращают день в ночь: днем спят, а к вечеру просыпаются; видел, что иные цветы любят поменьше поспать, а другие побольше.

Но ночью и я и мое выючное животное всегда отдыхали.

Лист 9

Остался позади лес трав. Я шел по пустыне. Ветер пронесся над ней, взметая песок, пыль. Вдали, направо, виднелись кручи гор. Местность была вся изрыта оврагами. Там и здесь неожиданно возникали скалы. Их странная форма и разнообразная окраска меня удивляли, поражали. Обойдя одну такую круглую скалу, я спустился в овраг, а когда стал подниматься, услышал чьи-то голоса, сливавшиеся в однообразный гул. Я выбрался из оврага, привязал к дереву выючное животное и побежал к горе, откуда доносились голоса. Ветер со свистом врвался в глубокое ущелье. А там слышался тяжкий, скорбный гул голосов, долгий стон, нестройный шум. Мгновениями казалось — играет орган необычайной мощи, мгновениями — звучит тысячеголосый хор. Я улучил минуту, когда ветер немного стих, и ползком пробрался в ущелье. Гул и гуд сразу окружили меня. В полутьме я нащупал высокий гладкий уступ, за ним другой, третий. Где-то между этими уступами нарастал водопад звуков, голосов, шумов. Я остановился, перевел дыхание, прислушался. Нет, это все не снилось мне. И ясно различал, как человеческие голоса сливались в один гулкий зов. И я невольно крикнул: «Иду на помощь!»

Лист 10

Вперед, мой «верблюд»! На северо-восток!

Я только что побывал... в раковине, в обыкновенной раковине — фарфорке, или ужомке, которую ставят на стол для украшения и для того, чтоб засовывать в нее потухшие папиросы-окурки. Какая нелепость! Эту раковину-пепельницу кто-то выбросил в траву, а мне она показалась горой с ущельем.

Как часто в годы детства я пробирался в строгий кабинет отца, брал раковину и прикладывал ее к уху. Разве знал я тогда, в те ребяческие годы, что раковина — только хороший резонатор, усиливающий те слабые шумы, которые обычно никто не замечает? Нет, в разноголосом гуле раковины чудился мне тогда плеск морских волн и вой ветра в парусах каравеллы, заблудившейся в океане, чудились долгие вздохи Колумба: до земли не доплыть, уж не верят матросы ему, как не верил там, в Испании; король Фердинанд.

Привет тебе, фарфорка, житель зыби морской, странник волн голубых! Я иду на северо-восток.

Не скоро я в детстве узнал, что ты, раковина, — домик обыкновенной морской улитки и что эта улитка относится к огромной группе живых существ, называемых мягкотелыми, или моллюсками. Но день, когда я об этом узнал, вовсе не был скучным днем. В тот же день я узнал, что маленькая раковина, найденная древнегреческим ученым Пифагором очень далеко от моря, глубоко в земле, подсказала ему открытие, столь же великое, сколь и простое: там, где теперь суша, когда-то бушевало море. Ведь так глубоко в землю раковину не стал бы зарывать человек. Странное же ощущение я испытал здесь — в Стране Дремучих Трав — после того как обыкновенную морскую раковину, которая когда-то у кого-то была

пепельницей, я принял за говорящую гору и пробирался в ущелье, в которое когда-то люди засовывали окурки папирос и стряхивали пепел.

Вперед! На северо-восток! Через рытвины, впадины, пропасти, обходя их, перепрыгивая, переползая. Мимо скал и нагроможденных уступов, — на северо-восток! Да... Ведь эти скалы — только галька, камешки... Дети легко подбрасывают эти камешки в воздух и ловят...

Лист 11

Был полдень. Солнце припекало. Был горяч песок., Острые камни резали ноги. Стояла та полдневная тишина, когда каждый звук отдается с особой четкостью и слышен далеко. Тени скал были черны и коротки. Вдруг странный однообразный скрип возник в пустыне. Я остановился. Прислушался. На миг стало тихо. А потом снова с той же монотонностью потянулся этот скрип. Он становился все громче и резче: с каждым шагом я приближался к тому месту, откуда он раздавался. И вдруг — воронка! Я оказался на самом ее краю. Одно неосторожное движение, и я покатился бы, свалился в нее. Кто-то с большой ловкостью построил в пустыне неожиданную западню, и любое живое существо может туда свалиться.

Скрип отчетливо доносился из глубины воронки. Не выпуская конца поводка, на котором держал паука, я лег на край воронки и стал смотреть. Какое-то животное с челюстями — каждая загнута, как серп, — взрывало своим широким телом борозду в песке. Вот почему из воронки слышался скрип.

Муравьиный лев! Это он сделал воронку — ловушку в пустыне: вначале очертил один круг — первую борозду, а внутри круга стал вспахивать другую, меньшую борозду, потом третью... И вот теперь, при мне, он заканчивал работу: коническая яма готова.

Муравьиный лев зарылся в нее, только торчат из песка челюсти-серпы. Я помедлил, посмотрел еще раз и хотел было уйти. Но что-то ударило в лицо, засыпало глаза. Я закрыл их руками, выпустил поводок. Услышал грохот...

Паук! Мое вьючное животное катилось вниз вместе с дневником, лежащим в коконе, катилось туда — на дно ловушки. Песчаным дождем муравьиный лев засыпал мне глаза и сбил с ног паука. Я бегал по краю западни, не зная, что делать. Паук медленно сползал к страшным серпам муравьиного льва. Я достал из мешка самую длинную веревку, сделал большую петлю, набросил ее на паука и стал тянуть. Паук карабкался вверх, пытался выбраться. Я ему помогал. Вот он уже рядом со мной, и я резко дернул веревку. Но паутина, которой был опутан кокон, видно, ослабла, и кокон с дневником сорвался и покатился в ловушку, откуда только что выбрался паук. И в этот же миг он рванулся и бросился вслед за коконом на дно воронки, где торчали два серпа муравьиного льва. Я видел: паук догнал кокон, схватил челюстями, стал взбираться, падал, скатывался. Изо-всей силы я помогал — тянул веревку. И вот он выбрался.

Паук издыхал. Я наклонился над ним. Переломанные ноги. Оборваны спутанные нити, державшие так долге и крепко кокон. Глаза, переставшие мерцать. Но в сжатых челюстях — кокон, тот кокон, в котором паук хранит яйца (из них выводятся паучата) и куда я вместо них положил тяжелый дневник.

Всю дорогу паук нес в коконе дневник, оберегал, тяжело передвигался с ним, спас из губительной западни. Паук издыхал. Кто же убил его? Инстинкт материнства...

Ученые ставили опыт: осторожно и незаметно прятали кокон. Тарантул сразу же начинал беспокоиться, обыскивал нору, потом копал землю — нет ли там кокона. Рыл, копал, но все напрасно. Потеряв последние силы, изнемог, издох.

Паук, оставленный в банке со своими маленькими паучатами без еды, дает себя съесть паучатам, но не тронет ни одного.

Все это я знал давно.

То живое существо, которое многие люди презирают, теперь издыхало на моих глазах.

И я его очень, очень жалел.

Я достал из кокона погибшего паука дневник, отнес в сторону. Взял из мешка осколок острой раковины и стал копать землю. К вечеру я засыпал мертвого паука песком.

Рано утром с мешком, в который я спрятал дневник, с тяжелым мешком я пошел на северо-восток.

Одиноким странник бредет по бескрайней пустыне, по лесам и долам. То и дело он останавливается: мешок с грузом слишком тяжел. Он то взваливает его на плечи, то тащит в руках, то тянет по земле. Странник идет к Великой Медленной реке. Он переправится через нее и придет к беседке, к людям, чтобы передать им дневник открытий. Он несет его в непроницаемом шелковом мешке.

Лист 12

Какое безмерное водное пространство, какой необычайный серый простор! Великая Медленная река!

Все годы, прожив далеко от этих берегов, я и не представлял себе, в какое необозримое водное препятствие превратился тот маленький, ленивый ручей, через который я когда-то так легко переходил. Не думал и не представлял себе, что эта река так широка. Как переправиться? Построить плот — рубить деревья, тащить к берегу, связывать веревками? Я ходил по зарослям у реки и ни одного дерева, годного для плота, не нашел. А чем связывать плот? Хватит ли веревок?

Сколько дней, сколько ночей я еще пробуду здесь?

И все чаще, выходя из зарослей на песчаную прибрежную косу и глядя на бесконечную водную серую пелену, покрытую легкой рябью, я чувствовал: мне никогда не перебраться через реку!

Лист 13

Было светлое утро. Я сидел на берегу. Воздух так прозрачен, что, казалось, угадываешь очертания другого берега. Но до него никогда не добраться! На душе было горько и обидно.

Неожиданно в зарослях мимо меня мелькнула чья-то тень. Опять паук! Но какой красивый! Широкая оранжевая полоса окаймляла, очерчивала его темно-шоколадное тело. Белые точки в два ряда протянулись по поверхности брюшка. Розовые ноги быстро перебирали зеленую траву. Паук тащил большой сухой лист. Куда?

Осторожно и тихо я стал пробираться сквозь заросли за пауком. Он подтащил лист к воде и снова побежал в заросли. Я долго ждал у воды, и вот паук снова появился. Он опять тащил сухой лист. Оставил и этот лист рядом с первым, у воды. И снова — в заросли! Теперь я пошел за пауком. Он бежал то в одну сторону, то в другую и словно что-то искал. Скоро я потерял его из виду и вернулся на берег. Смотрю — у воды лежат уже три листа. Что будет дальше? Зачем сухие листья пауку? Зачем он тащит их к воде?

Может быть, это тот паук, которого называют плотовым? Он преследует добычу на воде — бегаёт по ее поверхности и не тонет, часто сооружает плот, плывет на нем по течению. Прикрепив себя длинной паутиной к плоту, он покидает его, бежит по воде, ловит добычу, возвращается с ней на плот, съедает, отдыхает на нем. Потом снова охотится.

С какой быстротой я побежал за своим мешком! Было очень трудно пробираться с грузом через заросли. Я спешил, боялся, что паук сделает плот и уплывет без меня. Наконец увидел: сухие листья лежат на старом месте, на берегу. Видно, плотовый паук так и не появлялся. Напрасно я спешил. Спрятав мешок за кустом, я стал собирать провизию в дорогу — цветочную пыльцу, семена, нектар. Но все время поглядывал, не появился ли паук, не стал ли он вязать плот.

Пришел вечер, а паук все не возвращался. Может быть, он погиб, а может, я его спугнул и он сооружает плот в другом месте. Я сидел на мешке у реки, ждал, мечтал.

Вот если бы раздобыть не набухающие в воде надежные веревки и связать плот!

Где-то у берегов Сицилии, Корсики, Южной Италии живут моллюски, у которых раковина длиной больше полуметра. Эту огромную раковину моллюск прикрепляет к скалам нитями. Как прочны должны быть эти нити! Странно, почему разводят разных шелкопрядов, а не добывают раковинный шелк. Моллюска, кажется, называют *Pinna nobilis*.

Настала ночь. В зарослях на берегу было сыро и зябко. Я сидел на мешке, где лежал дневник, несложный скарб — много разных веревок, ниток, — и мечтал об удивительных коричневых нитях моллюска, который где-то теперь ночью под водой прикрепляет большую раковину к скале в Средиземном море, вспоминал песни на плотях, переправах и паромах, гудки пароходов, на которых люди легко пересекают реки.

Пришло утро. Паук не появлялся. Может быть, он не помнит, где оставил листья? Но ведь помнит оса, где она прячет тарантула, которого парализовала: она уходит от него и потом издалека возвращается, приносит камешки, закрывает вход в щель. Может быть, плотный паук погиб?

Надо достать веревки из мешка, попытаться связать плот из тростинок или из плотных сухих листьев. Но чем их прошить, проколоть? Я отправился на поиски тростинок, листьев и, отойдя несколько шагов от берега, почти столкнулся с пауком. Он бежал туда, к своим сухим листьям на берегу.

Я увидел, как он стал выпускать паутину и наматывать ее на листья. Я подкатил свой мешок вплотную к листьям. Паук меня не заметил — он был поглощен своей пряжей. Паутина стягивала края листьев; они чуть-чуть загибались, образуя что-то вроде лодки с высоко загнутыми бортами. Вот он потащил плот к воде.

Забыты все сомнения, исчезли неразрешимые вопросы. Совсем как у того диккенсовского героя, который перебрасывал левой рукой через правое плечо все затруднительные вопросы. Да, как зовут этого героя?..

Паук тащит плот к реке. Я изо всех сил, не отставая от него, тащу свой дневник. Паук столкнул плот на воду. Я схватил мешок и прыгнул за ним. Плот закачался.

Да мне, собственно, и незачем вспоминать имя диккенсовского героя...

И мы поплыли.

Лист 14

И мы поплыли. Помню свой испуг, помню, как застучало у меня сердце, когда плот закачался на волнах. Из воды поднимались стройные, гибкие стволы деревьев. Я поднял глаза — их вершины где-то очень высоко надо мной купались и исчезали в синеве. Каждую минуту плот мог наскочить и удариться о ствол. Я держал шест в руке и как мог направлял плот. Ветер чуть-чуть курчавил воду. Отражения деревьев изгибались, ломались на поверхности реки. Неожиданно все мрачнело, темнело вокруг — это плот входил в дрожащую тень, и я тогда ощущал: подо мной бездна. Но плот выплывал на сверкающую гладь реки, и я весело поглядывал на мохнатое чудовище — на своего нового спутника.

Берег все удалялся и удалялся, и в душе появилась надежда: пожалуй, плот переплывет эту реку, доберется до другого берега, где стоит беседка и бывают люди. И рука моя касалась непромокаемого мешка, в котором лежал дневник.

Отрывистое, резкое клокотание пронеслось над гладью реки. Течение несло меня все быстрее, а звуки нарастали, усиливались. На одном из поворотов реки из-за толстых деревьев, растущих на берегу, глядели на меня большие, выпуклые глаза животного. Огромная раскрытая пасть жадно вдыхала воздух. Кожа подбородка то вздувалась мешком, то опадала, а вместе с ней замыкались и открывались носовые клапаны... Антракозавр? Земноводное пермского периода?

Пермский период. Миллионы лет назад в мелких водоемах, речных заливах и заболоченных низинах обитали зверообразные ящеры, гигантские земноводные — огромные, неуклюжие, неповоротливые. Менялся климат, моря отступали и наступали, менялась растительность, и все удивительные ящеры и гигантские земноводные давно уже погибли от засухи или от холода, а вот одно из них сохранилось, выжило и смотрит на меня огромными, выпуклыми глазами, открывает и закрывает свой рот-коробку. Резкое клокотание разносится над рекой, смолкает и опять начинается.

Мы проплыли мимо... лягушки!

Плотовый паук, мой спутник, прыгнул на воду и побежал ловить добычу.

Конечно, и в книгах по палеонтологии указано что лягушка сродни антракозавру и что даже она напоминает это гигантское земноводное, остатки которого находят в отложениях пермского периода. Наверное, наша лягушка и квакает совсем так, как антракозавр, только в сто — двести раз тише.

Вдруг плот подскочил и ускорил свой ход. Плотовый паук, мой спутник, прыгнул на воду и побежал по воде на высоких, длинных ногах ловить добычу.

За ним тянулась крепкая соединительная нить, которую паук прикрепил к плоту. Эта нить помогала ему возвращаться на плот.

Лист 15

Мы плыли. Металлическим блеском отливали прозрачные крылья существ, которые сидели на ветках прибрежных деревьев. Птицы? Нет, у каждой такой птицы — две пары крыльев, очень длинных и узких. Глаза этих крылатых существ (каждый глаз составлен из множества кусочков — мозаика!) переливались разными цветами. Пугали меня. А их антенны-усики все время дрожали, словно ловили движение воздуха. Эти длинные и тонкие «птицы» неожиданно срывались с места и со страшной быстротой носились над водой. Они перевертывались. Один миг лежали на спине, словно опираясь на воздух. Еще миг — уносились вдаль. А на плот падали остатки их добычи. Стрекозы!

Мимо плота проносились водяные конькобежцы. Широко раскинув ноги — гигантские иглы, они едва касались поверхности реки и, отталкиваясь от воды, то и дело прыгали через плот, опускались на воду и исчезали. Если простую швейную иголку натереть жиром, она будет плавать на воде. Так и ноги-иглы этих существ, смазанные жировым веществом, скользили по воде. Это, конечно, водомерки.

Дул легкий ветер. Плот плыл по спокойному течению вдоль берега. Я тревожно ждал — когда же ветер пригонит противоположному берегу? Напрасные усилия! Ветер вовсе не дул в сторону беседки. Что делать? Уж не заставить ли паука тянуть плот к другому берегу — припугнуть его крылышками осы? И пусть тянет плот своим канате (соединительной нити). Сколько раз пытался это сделать — не удавалось.

В заводях реки на подводных деревьях сидели животные; у каждого — вытянутое тело, выпуклые глаза, рот закрыт... маской.

Маски были разные: шлемовидные, лопатообразные плоские.

Каждое животное, казалось, застыло, приросло к тому месту, на котором сидело. Большие круглые глаза неотрывно глядели в одну точку. Неожиданно то одно, то другое животное резко отбрасывало маску вперед, рычаг на шарнире расправлялся, а острые когти маски хватили жертву и сразу же подносили ко рту. Животное пожирало добычу, а маска на рычаге, совсем как рука, поддерживала еду. Но неожиданно эти животные словно сорвались со своих подводных деревьев и, прижав к телу ноги, пронеслись с отчаянной быстротой мимо плота. Они вбирали воду и с огромной силой выпускали ее; водяные выстрелы

следовали с небольшими перерывами и толкали тело животного вперед.

Да ведь это... личинки стрекоз — личинки, которые скоро превратятся в стрекоз и будут грациозно быстро летать над рекой.

Лист 16

Что там зазолотилось вдали? Мы подплывали к острову. Чьи-то огромные лапы высунулись из воды и уцепились за край этого острова.

Из воды поднялось и стало взбираться на остров животное, на первый взгляд чем-то по форме и очертаниям напоминавшее крокодила. Зубчато-волнистый гребень тянулся по всей спине. Животное легло на бок, и я увидел его оранжевое брюхо с темными пятнами. Золотисто-желтые глаза следили за мной. Ужасный ящер!

Течение гнало плот прямо на остров.

Все более явственно и четко вырисовывался зубчато-гребнистый гребень ящера. Вот он спустился с острова. Гребенчатый хвост ударил по воде. Плот сильно закачался. Ящер рассекая воду, приближался к нему. Паук вздрогнул, в испуге заметался на плоту. Я и не заметил как он оборвал свою нить и исчез. Плот с привязанным на нем грузом — моим мешком — закрутился, перевернулся. Я упал, очутился в воде и увидел: где-то далеко скакал по волнам плотовый паук и его преследовал ужасный гребень — ящер! Держась в воде и цепляясь за край плота, я пытался взобраться на него, но меня отнесло. Мое суденышко уплывало все дальше и дальше вместе с мешком, в котором был мой дневник. Выбиваясь из последних сил, я поплыл за ним.

Вдали, на повороте реки, торчали из воды какие-то деревья. Они на время задержали плот. Я успел доплыть, взобрался на него. Мешок с дневником был цел. Оглянулся: ни острова, ни ящера, ни паука — хозяина плота — не было видно.

Течение опять подхватило мой плот, и я поплыл.

Я стал думать: «Вот мне кажется, что верстами измеряется глубина воды под плотом, а ведь на самом деле я плыву только по ручейку». Надо все ставить на свои места: не надо лягушку принимать за антракозавра. И не птицы с блестящими прозрачными крыльями летали над моим плотом, а стрекозы, обыкновенные стрекозы. А странные существа с масками — личинки стрекоз.

А ужасный ящер с зубчатым гребнем, который преследовал мой плот, — только тритон. Питается он головастиками, червями, лягушечьей икрой. Дышит атмосферным воздухом — совсем как лягушка. Появится из воды, выпустит несколько пузырьков отработанного воздуха, обновит запас воздуха в легких и уйдет под воду.

Лист 17

Легкая зыбь прошла по глади реки. Сильнее закачались деревья, мимо которых плыл плот. Цвет воды стал свинцовым, скучным. Отражения деревьев исчезли, словно потонули в воде. Ветер с шумом и свистом пронесился надо мной. Травы на берегу зловеще шумели. Их шум обрывался, чтобы начаться с новой силой. Ветер стал играть моим плотом, как щепкой. Я уже не мог им управлять. Только бы удержать мешок с рукописью. Еще раз я обмотал мешок веревками и крепче привязал себя к плоту.

Зачем, зачем ступил я на этот плот, доверил свой бесценный груз — дневник — прихотям водной стихии!

Запоздалые сожаления, как вы горьки!

Уже не летают надо мной птицы с блестящими и прозрачными крыльями. Уже спрятались в глубинах вод, скрылись, исчезли опасные спутники моего плота.

Только ветер не оставлял меня, свистел в ушах и гнал мой плот. Куда? Прямо на берег.

Но, увы, не на тот берег, к которому я стремился!

Ветер крутит плот, шумит, гудит.

О далеких парюдах, перекликающихся в непогоду друг с другом, — о них вспомнил я в эту минуту.

Чтобы плот не ударился о берег, я протянул свой шест. Но ветер, видно, сторожил каждый мой жест. Он налетал то с одной, то с другой стороны, и напрасны были все мои попытки. Вслед за мной ветер гнал большие зеленые поля. Они качались, окружали со всех сторон. И вот мой плот застрял в этих полях и поплыл с ними. Плот затерялся в необозримом зеленом плывущем поле.

Где-то далеко-далеко отсюда, в Атлантическом океане, есть Саргассово море. Там страшнее всего для мореплавателя не ветер и не течения, а водоросли. Они заполнили гигантский водяной бассейн. Зеленое море в океане. Море без берегов. В этом море застряли каравеллы Колумба и «Наутилус» капитана Немо едва прорвался сквозь толщи водорослей.

Затертый, загнанный ветром, затерянный в зеленом движущемся поле, я вспоминал Саргассово море и с тоской глядел вдаль. Как выбраться из этого необозримого зеленого плена?

Ветер с новой силой засвистал в ушах. Я поднял глаза; какие-то черные тряпки закрывали небо. Мой плот качнулся. Качнулась и тьма, окружавшая меня. Острый свет вдруг прорвался сквозь тучи и осветил все кругом, и в этот миг зеленые поля стали еще зеленее.

Спасать груз! Успел развязать узел, который я сам крепко затянул, прикрепляя мешок с рукописью к плоту. Качка усиливалась, плот становился почти вертикально, и я едва успел схватить конец веревки, которой был обвязан мешок. Сквозь вой ветра я услышал хриплое клокотание. Где-то совсем близко мелькнула блестящая мокрая открытая пасть-коробка. Мелькнула желтая отмель... Остров? Коса? Плот приподнялся — надо мной приподнялись зеленые поля. Качнулось небо...

Лист 18

Кораблекрушение!

Наверное, история кораблекрушений: времен, когда финикийцы на своих триремах, судах с тремя рядами весел и четырехугольными парусами, поднимающимися только при попутном ветре, доплывали до берегов Родезии, в далекой Африке; времен, когда отважные мореплаватели норманны оставляли Скандинавию и, определяя путь по звездам, доплывали на остроносых лодках до берегов Гренландии и Исландии, до берегов того материка, который через пять столетий был назван Америкой; времен, когда каравеллы — высокобортные трехмачтовые парусные корабли — в далеком океане стояли беспомощно на одном месте в штиль со сникшими парусами, а мореплаватели с тоской смотрели в небо: скоро ли налетит ветер, надует паруса и примчит каравеллы к той стране, где золотые слитки и драгоценные камни валяются на земле, как опавшие листья в осеннюю пору...

— наверное, история кораблекрушений всех времен знает немало случаев, когда вместе с кораблем тонул весь экипаж, а оставался в живых только один человек. Но никогда этот уцелевший после кораблекрушения человек сам не знал толком, как и почему он один остался в живых, не погиб. Знала об этом только морская вода, что вынесла на берег одного, только одного человека. Но, оставляя, покидая его на берегу, морская волна убегала поспешно назад в море. Легкий плеск, тихий рокот, жалобный стон...

Вот и я не знаю, не умею рассказать, как случилось, что я не утонул. Лежу на берегу. И теплый шелковый ветерок обвеивает лицо, успокаивает меня. Надо мною спокойная синевя неба. Я приподнимаюсь, смотрю на реку. Широкая — противоположный берег чуть виден.

Какая тихая, спокойная, медленная! По этим ли тихим водам ветер гонял мой плот в разные стороны, прижал к берегу, окружил полем водорослей? В этой ли реке в бурю опрокинулся мой плот? И чувство жалости к самому себе, столь опасное в каждом человеке, чувство жалости, смешанное с насмешкой над собой, охватило и переполнило меня: какое там кораблекрушение, Саргассово море, поля водорослей!.. Ведь это качается на воде самая обыкновенная зеленая, очень зеленая болотная ряска. Я чуть было не утонул в... болотце, в медленно текущем ручейке, в ряске!

Но светлая мысль разогнала горькие размышления. Может быть, мешок с рукописью не уплыл, а застрял в ряске? Я отыщу, непременно отыщу свой дневник. И пусть обитают в этой Великой Медленной реке динозавры. И пусть антракозавры заглушают своим криком вой и свист бури. Но все же я знаю: Великая Медленная река — это только ручей с ряской, где обитают обыкновенные тритоны и самые обыкновенные лягушки.

И свой дневник я найду! Он не промокнет — он залит воском, лежит в непроницаемом мешке.

Лист 19

День за днем ходил я по берегу, плавал между полями ряски, смотрел, искал мой мешок. Не нашел! Но и думать не хотел, что течение его унесло. И поверил я в то, во что хотел верить: он здесь, непременно здесь, совсем близко... Но где же, где? Если его нет в ряске, значит, кто-то из обитателей реки утащил его на дно. Там, на дне, и надо искать мешок с дневником.

Лист 20

Я все пытался припомнить, узнать то место, где перевернулся плот. Надо нырять, искать дневник под водой. Но где, в каком месте искать?

Лист 21

Аэростаты... аэростаты... аэростаты... Иногда вдруг в голову приходит то или иное слово, слово, не связанное ни с тем, о чем думаешь, ни с тем, что тебя окружает. Но это слово не отстает, звучит в голове, и ты его повторяешь и повторяешь.

Я был очень голоден, бродил по берегу, думал о том, как раздобыть еду, но все повторял слово, которое ко мне привязалось: «аэростаты... аэростаты...» Откуда оно пришло? Это все от голода. Как кружится голова! И плывут высоко в небе облака, плывут, качаются в недостижимой вышине. А под ними плывут, качаются цветы: белые зонтики, пушистые метелки, разноцветные шары. Кружится голова. И засело в мозгу занозой одно слово: «аэростаты».

Лист 22

У самого берега по воде простерлись листья какого-то растения. Продолговатые и густо-зеленые, они были похожи на листья тропического фикуса. Я был в несколько раз меньше каждого листа. Торжественно покачивались над водой громадные столбики розовых цветов. Это земноводная гречиха.

Вода ограждала гречиху от незваных пришельцев, которые вползли бы и пробрались бы к нектару.

Голодный, усталый, я издали глядел на розовые цветы и, вздыхая, вспоминал, как вкусны и питательны пыльца и нектар земноводной гречихи, — глядел и не знал, что делать. Мне не доплыть, не добраться до этого куста — не хватит сил. Я отошел от воды и скоро увидел другой куст земноводной гречихи, на берегу. Здесь она защищалась от похитителей нектара на иной лад: стебель был покрыт волосками, которые выделяли клейкую жидкость. В ней барахтались жучки, муравьи. Чтобы не «влипнуть», как муравей, я взобрался на высокий высохший куст. Он рос рядом с гречихой. Я потянул розовые цветы гречихи к себе. Ел пыльцу,пил нектар. Цветы рвались из рук. Я не отпускал. Был ли то обед или ужин? Не все ли равно! Я сыт. Но голова все еще кружилась. Может быть, от еды и питья, а может быть, оттого, что я слишком высоко взобрался...

С большой осторожностью, рискуя свалиться, я спустился на землю.

Аэроостаты... аэроостаты...

Лист 23

Вечерело. Заходило солнце. Опять над большой полноводной рекой носились птицы-стрекозы. И их блестящие длинные узкие крылья переливались цветами радуги.

Они беспокойно провожали волны в долгий путь и исчезали за изгибами реки.

Опять в голове неотвязно зазвучало: аэроостаты... И стало мне казаться, что где-то, когда-то я видел много-много аэроостатов. Серебристые, легкие, привязанные длинными тросами, они чуть-чуть покачивались и рвались, тянулись, готовились взлететь. Но где и когда я их видел? Не помню. Я взобрался на ствол, чтобы улечься на листе: здесь спокойнее и безопаснее спать, чем на земле. Некоторое время я ворочался: ведь по всему листу проходят жилки. Наконец я примостился, нашел удобное положение.

Рядом со мной ярусами поднимались зеленые листья. На каждом — тысячи и тысячи своеобразных форточек. Настежь они были открыты утром и вечером — свежий воздух проветривал растения. Но в жару закрывались. Конечно, я понимал, что форточки — устьица листа. Открывая и закрывая их, растение упорядочивает испарение воды.

Лежа на чуть-чуть покачивающемся листе, я в дремоте смотрел на прихотливые очертания листьев и думал: хоть бы во сне увидеть аэроостаты.

Ведь бывает же так, что человеку приснится то, о чем он напряженно думал. И он просыпается радостный и взволнованный: вспомнил, всё вспомнил. Но нет, не слушается сон человека. Приснилось мне совсем другое. Я лежу на верхней полке вагона медленно движущегося поезда. И вдруг резкая остановка. Чуть было не свалился. Падаю, руки мои хватают, цепляются за край полки. Проснулся.

Солнце уже высоко стояло в небе. Я лежал на самом краю листа. Лист, следуя за солнцем, двигался и поворачивался всей поверхностью к солнцу, и я все скатывался. Вот тебе и медленно движущийся поезд! Вот тебе и аэроостаты!

С реки долетали острые, тонкие звуки. Комары заводили свою музыку. Оглянулся. Меня поразило: направо за листом чуть-чуть покачивалась какая-то гигантская тень. Качание тени вдруг усилилось. Игра светотени! И было такое мелькание, что у меня зарябило в глазах. Огромный гамак, сотканный пауком-тенетником, был привязан канатами к деревьям. Ветра нет, а мелькание, игра светотени не прекращаются. Значит, паук сам раскачивает сеть. Так он делает в минуту опасности или при нападении на добычу: сеть становится невидимой, словно тает, расплывается.

Но лихорадочная игра светотени и резкое мелькание постепенно прекратились. Гигантская тень от сети спокойно легла на землю.

Я спустился с листа и стал снизу рассматривать сеть. Ни добычи паука, ни его врага не увидел. Только сверкали на солнце капли клейкой жидкости.

Припомнил! Все припомнил! Аэроостат!

В тот миг, когда опрокинулся мой плот, в тот именно миг, там, в глубине вод, я увидел

такую же сеть из паутины. Она качалась в воде и была похожа на аэростат. Все ясно: надо искать мой потонувший мешок с дневником там, где в воде висит такая же сеть, похожая на привязанный аэростат.

Чем больше я смотрел на сеть паутины, тем яснее становилось, почему слово «аэростаты» неотвязно звучало в моей голове.

Лист 24

Надо нырять. Найду подводный аэростат — найду около него и мешок с дневником.

В той, «большой», жизни я был неплохим пловцом и знал, что у ныряльщиков на большую глубину бывает кровотечение из носа, ушей и рта. Я знал, что ныряльщик может пробыть в воде около двух минут.

Тяжелый камень в руке. Совсем как у искателя жемчуга. Прыжок! Вода сомкнулась над моей головой. Камень потянул глубоко на дно. В висках стучит. Плохо вижу. Головокружение. Впереди мелькнуло что-то темное. Бросил камень, всплыл наверх. На песчаном берегу едва пришел в себя. Пульс усиленно бился. Голова все больше кружилась. Шум в ушах не переставал.

С трудом дополз до какой-то пещеры. Чья это нора?

Не все ли равно — она пуста. Кое-как подкатил к пещере большой камень, кое-как прикрыл вход. Прислонившись в пещере к стене, я задремал.

Лист 25

Пришел новый день. А с ним — другие размышления. Надо вспомнить и отгадать тайны ныряльщиков. Какие чудо-ныряльщики были в древние времена! Царь персов Ксеркс, воевавший с греками, предложил греку-ныряльщику Силлиасу раздобыть сокровища с потонувшего на большой глубине корабля. Силлиас извлек и доставил сокровища царю. Но Ксеркс, увидя замечательное мастерство ныряльщика, задержал его на корабле, никуда не отпускал. Но в тот час, когда налетела буря и поднялся шторм, грек-ныряльщик Силлиас прыгнул с корабля в море. Уплыл.

История примечательная, но она вовсе не раскрывает тайны ныряльщика грека Силлиаса.

Я стал думать о физиологии ныряльщика. По-видимому, процесс ныряния связан не только с общеизвестным фактом, что у ныряльщика под действием давления воды происходит процесс освобождения азота в организме. Киты и тюлени — млекопитающие — дышат легкими. Набрав в свои легкие кислород, они очень долго остаются под водой. Видно, что-то помогает их организму связывать выделяющийся азот. Может быть, какие-либо микробы? Вот бы исследовать в лаборатории.

Нет, не время вспоминать, жалеть, вызывать тени прошлых лет!

Надо учиться нырять. Снова и снова нырять. Я медленно подошел к берегу, взял свой камень, сделал глубокий вдох и бросился в воду. И тут мне показалось, что рука коснулась какого-то шланга. Я даже почувствовал, что шланг отстранился, совсем как живой. Я опускался на дно, а рядом тянулся шланг, словно кто-то с берега ловил рыбу странной живой леской. На дне я сразу же увяз в иле и почувствовал, что под ногой шевелится что-то живое. Инстинктивно, чтобы не упасть, схватился за качающийся шланг, но он как-то странно сокращался, уходил вниз. Точно кто-то там, на дне реки, тянул его к себе. Я почувствовал, что держусь за живой отросток существа, которое закопалось в ил.

Казалось, будто «подводный» рыбак протянул свою живую леску к поверхности воды со дна реки.

Я доплыл до берега. Уже лежа у входа в пещеру и думая о том, что случилось со мною в

воде, я догадался, что шланг, за который ухватился, — дыхательная трубка личинки мухи-ильницы.

Личинка мухи живет па дне, закапываясь в ил, и выставляет наружу свой хвостовой отросток — дыхательную трубку. Через эту трубку личинка дышит свежим воздухом. А если повысится уровень воды? Удлинится дыхательная трубка. И она же сократится, если уровень воды понизится.

Теперь я знаю, как ходить по дну и оставаться под водой не одну-две минуты, а значительно дольше. Здесь неожиданный подсказ: дышать через трубку, как личинка мухи-ильницы. Я буду ходить по дну реки, держа во рту трубку-соломинку, искать мешок с дневником, искать там, где качается в воде паутиная сеть, похожая на купол аэростата.

Лист 26

Утро началось с того, что я сказал себе: «Мне нужна соломинка». Я ходил и искал колос ржи. Иногда я останавливался, закрывал глаза, и мне чудилось, что сюда, в Страну Трав, долетает долгий шорох колосьев спелой ржи под ветром. Тяжел созревший колос и стремительны порывы ветра, но соломинка не ломается, только качается и гнется. И не прекращается шорох колосьев.

Помню, к открытию Всемирной выставки в Париже была возведена Эйфелева башня. И тогда же французский ученый Фансе указал на соломинку ржи как на лучший пример стройного, прочного и изящного сооружения. Он писал, что Эйфелева башня, по сравнению с большинством растений, — неуклюжа и широка. Высота соломинки ржи с трехмиллиметровым диаметром при основании равна примерно тысяче пятистам миллиметрам. Эйфелева нее башня, чтобы сравниться прочностью и высотой с соломинкой, должна быть в восемьдесят три раза выше.

Все это пришло мне в голову, когда я бродил и искал соломинку. В лесу трав я увидел уходящую в небо невероятной длины желтую трубу, перехваченную в разных местах огромными узлами, кажется — колос ржи! И тут я убедился: зря искал. Совсем забыл, что я во много-много раз меньше, чем эта соломинка.

Лист 27

Сухой стебель растения был полым и тонким. Я его срезал острым осколком раковины. И вот настала минута: держа стебель во рту, я нырнул и опустился на дно реки.

Осторожно и медленно сделал первые шаги по дну; один конец стебля во рту, другой — над поверхностью воды. Дышать ртом было трудно, тростинка мешала каждому движению. Над моей головой толща воды. Но не следует об этом думать. Надо все время помнить: как бы не оступиться, не упасть, не выпустить изо рта стебель, не погрузить его верхний конец в воду. Я сделал несколько неуверенных шагов. Дорогу мне загородил какой-то странно поблескивающий большой холм. Надо обойти.

Но стало страшно. Холм приподнялся, раздвинулся в основании, и из него показался отросток. Странное живое существо, упираясь на выступивший наружу отросток, двинулось прямо на меня и ударило сильной струей воды. Вода — в воде! Я упал, но трубки не выпустил. Холм снова окатил меня водой. Как из брандспойта, как из металлического наконечника, надетого на кишку пожарной машины, била в меня струя. Я лежал на дне реки, не выпуская трубки изо рта, дышал. Удары струй прекратились. Поднялся. Увидел: это «живое сооружение» придвинулось совсем близко и тянет меня к себе, всасывает. Я схватился за ствол подводного растения. Трубка вырвалась изо рта. Захлебываясь, я попытался всплыть...

Лист 28

Аэростат! Серебристый аэростат в воде! Я сидел под куполом и свободно дышал. Как я в нем очутился? Какой случай спас меня?

Упустив трубку, захлебываясь, я сделал какое-то движение, чтобы подняться на поверхность, и оказался в аэростате. Он висел на ветвях того подводного дерева, за которое я ухватился, когда упал. Кто здесь повесил аэростат? Кто наполнил его воздухом? Об этом потом.

Здесь же сразу скажу — очутившись в аэростате, я сообразил: холм, который тянул меня, всасывал, бил в меня струей, был обыкновенной беззубкой, двухстворчатой ракушкой. Этот моллюск полузарывается в мягкий грунт водоемов. Створки его медленно раскрываются, и через щель высовывается нога — мягкий желтоватый тупой отросток. Моллюск ползет по дну. Скорость двадцать — тридцать сантиметров в час. У беззубки два сифона: вводной и выводной. Приходит в действие вводной сифон — и мелкие живые существа, плавающие в воде, втягиваются с большой силой. И роговые лопасти загоняют попавшую живую пищу в рот. Ненужная, отработанная вода вытесняется, выбрасывается через выводной сифон.

Беззубка насытилась — сомкнулись створки, она превратилась в неподвижный холм...

Течение чуть-чуть покачивало подводный аэростат, в котором я сидел. Его прозрачная сферическая оболочка, прочно и ловко натянутая на густую веревочную сетку (надежный каркас!), была прикреплена к стволам подводных деревьев.

Не этот ли аэростат я увидел в тот миг, когда плот перевернулся? Возможно, что где-то здесь, под деревом, к которому привязан этот аэростат, лежит мой дневник... Совсем близко!

Сидя на одной из веревок сети, упираясь ногой в другую, я отдыхал.

Легкие тени появлялись, скользили, исчезали в глубине вод. Слышались неясные звуки. Возникали и таяли. Полусумрак. Там, над рекой, высоко — солнце. И его теплые лучи, преломляясь в воде, тянулись в этот призрачный мир.

Пора! Скорее на берег! Раздобыть новый полый стебель и сразу вернуться и нырнуть под этот аэростат.

Надо покинуть тихий хрустальный прозрачный дом, пока не вернулся тот, кто его построил...

Восемь глаз, горя фосфорическим блеском, глянули на меня из-за ствола соседнего подводного растения. Он! Хозяин и строитель дома под водой. Водяной паук! Серебрянка — аргиронета!

Этот подводный колокол — его гнездо — я принял за аэростат.

Лист 29

«Бежать!» — мелькнуло у меня в голове. И тут же другая мысль: «Я не на земле! Надо вынырнуть. Уплыть!»

Секунды растерянности и смятения. И в эти секунды я увидел, как от серебрянки потянулся канат. Но не к моему пристанищу, а куда-то в сторону. Неожиданно канат обвился вокруг какого-то растения. Потом водяной паук потянул его снова вперед и снова назад.

Я смотрел, наблюдал. И совсем забыл, что сижу в доме другого такого же паука, забыл, что и мой водяной хозяин — паук — может вдруг вернуться домой и застать меня — непрошеного гостя.

Не отрываясь следил я, как серебрянка прикрепляла канат то к стволам у самого дна, то к камням. Канат двигался в разные стороны и казался совсем живым. И все время горели в воде фосфорическим огнем восемь глаз, глядевших в разные стороны. Ни на один миг ни в одном месте канат не запутался, не оборвался. Он лег на дно реки, образовав ломаный

многоугольник. Я заметил, что в тех местах, где серебрянка прикрепляла его к стволам растений или к другим неподвижным предметам, там канат был толще. С каждой минутой увеличивалось число линий в многоугольнике, и постепенно линии образовали частую сеть.

Но вдруг строитель оставил свою сеть и проплыл мимо моего аэростата: пара челюстей и целая поросль щетинок. Уплыл. Но мне казалось, что вместе с сетью на дне реки остались восемь фосфорических глаз.

Вскоре паук-строитель вновь появился. Блеснула серебряная одежда из воздушных пузырьков, которую он одел на себя там, на поверхности воды. Серебрянка опустилась около сети на дно реки. Она чуть-чуть приподняла сеть, залезла под нее и стала касаться лапками своей блестящей одежды. Пузырьки воздуха отделялись от щетинок и, цепляясь за нити сети, тянулись вверх, приподнимали ее. Снова и снова серебрянка уплывала, приносила с поверхности воды пузырьки воздуха, оставляла их под сетью. Затем она снова принялась прясть свою пряжу. Переплет сети становился все более частым, густым. И скоро пузырьки воздуха, принесенные пауком, начали раздувать не сеть, а серебряное полотно шатра, в котором будет жить водяной паук.

Серебряный полотняный шар — аэростат, распираемый воздухом, пытался взлететь, но канаты, прикреплявшие его к стволам подводных деревьев и к неподвижным предметам, не отпускали, крепко держали.

Мой плот опрокинулся возле аэростата. Но под водой я увидел, как серебрянка сооружает новый аэростат. Постепенно я привык к легкому подводному полусумраку и начал различать: поодаль и надо мной висели другие аэростаты. Серебристые, легкие, все они были похожи один на другой. Их много.

Становилось все труднее дышать, кружилась голова — не хватало воздуха. Пора, давно пора выбраться на поверхность. Но я все еще медлил, рассматривал качающиеся в разных местах аэростаты. Хорошо взглядевшись, я увидел, как в одних подводных колоколах пауки-серебрянки отдыхали, подобрав ножки, в других — пожирали пойманную добычу.

Сколько же серебрянок здесь? Сколько серебристых аэростатов настроено и привешено к подводным растениям? И где, под каким из них, около какого аэростата искать мой мешок с дневником?

Лист 30

Кто там бродит по дну Великой Медленной реки, кто ходит, вдруг останавливается, нагибается, берет что-то в руки, поднимает, вглядывается, озирается и вновь бреде!?! Маленький человечек со скафандром на голове, с осколком острой раковинки в руке и со связкой канатов, перекинутой через плечо.

Он ищет свой дневник, который надо-» передать людям, — дневник опытов, наблюдений и открытий, сделанных в Стране Дремучих Трав, дневник, полный сведений, которые обогатят науку и жизнь людей.

Вынырнув из жилища серебрянки и вернувшись на берег, я уже иначе, спокойно и смело, смотрел на Великую Медленную реку. Разве не для меня в ее глубинах серебрянки строят и наполняют воздухом свои жилища? Я подплыву к одному из них, самому маленькому, и острым осколком ракушки перережу канаты. Этот колокол, полный воздуха, я надену на себя и спокойно пойду по дну реки на поиски своего дневника. А когда иссякнет воздух в скафандре, я заменю его другим. Обшарю, осмотрю все закоулки дна реки.

Аэростат, наполненный воздухом, должен взлететь, когда я перережу канаты. Но камней на дне реки много — я их подвяжу, как грузила, к канатам, и аэростат не всплывет.

Каждый день менял я скафандры, шарил вдоль берега, осматривал подводные кусты,

стволы, ветви, листья... Приключения? Их было много.

Однажды я сделал шаг-другой в скафандре и вдруг почувствовал — задыхаюсь. Скафандр был большой, но мне почему-то не хватало воздуха. Едва-едва освободил голову и всплыл на поверхность воды. А когда аэростат прибило к берегу, я рассмотрел: в своем гнезде серебрянка сплела второй этаж. Крепким прозрачным полотном отделила она первый этаж от второго, где лежали яйца, маленькие яйца, из которых выйдут паучата. Обычно в таких случаях серебрянка сидит у входа в первый этаж — сторожит. Но на этот раз «хозяйка», наверное, куда-то отлучилась. А я, не заметив, натянул на себя двухэтажный аэростат.

Неизменно, каждый день, я опускался на дно реки, выбирал пустое жилье серебрянки, перерезал канаты, привязывал к ним камни-грузила и, надев этот скафандр, двигался по дну реки, преодолевая сопротивление воды. Искал мешок с дневником.

Полно, уж не лучше ли прекратить поиски, вспомнить все, что было записано и начать новый дневник? Но процесс писания прочитается очень долго. Добывать, готовить бумагу, чернила, перья — сколько времени на это уйдет! И окажется, что я пишу не скорее, чем во времена клинописи.

Новых открытий, о которых надо сказать людям, много, очень много. А жизнь так коротка...

Лист 31

Но настал день, час, миг, и я увидел в воде свой мешок с дневником.

Помню, в то утро я проснулся с отчаянием в душе — пора прекратить все поиски. Потом нехотя стал готовиться к спуску, посмотрел на реку, и неожиданная радость надежды охватила меня.

Конечно, не с неба свалились надежда, уверенность и радость. Все гораздо проще. Сколько раз я замечал, что в одной излучине берега течение замедленное. Замечал, но не думал об этом. Но в утро, когда, отчаявшись найти дневник, я подошел к берегу и посмотрел на реку, то сделал простой вывод: уплывая, мой дневник мог застрять в затоне, где течение было почти незаметное. И в душе возникла спокойная уверенность: сегодня я найду дневник. Помню, как столкнулись два чувства: отчаяние и надежда. И одно из них — отчаяние — растворялось, иссякало.

Спустился на дно реки. Со скафандром на голове добрался до излучины реки. Увидел: в нескольких десятках шагов от меня, у входа в затон, под веткой подводного дерева, лежал мой мешок с дневником.

Но не удивился, не вскрикнул — задохся от радости. Показалось странным: как же я раньше не догадался зайти в затон? Верно, мой мешок-кокон долго плыл, качался на воде. Но веревка развязалась, вода проникла в мешок, и он опустился на дно. Вода, конечно, не коснулась листков дневника: пачка плотно запечатана — покрыта воском.

Вот он — труд тысяч и тысяч часов одинокой жизни в Стране Дремучих Трав, непрерывный мой разговор с людьми, которых не увижу никогда, никогда! Вот он — верный спутник моих невероятных исканий, безмолвный свидетель смешных приключений, отчаянных случаев, страшных происшествий, мой помощник в трудах, поисках и наблюдениях... Единственный друг, кому доверял я свои размышления, находки и открытия в бессонные, тревожные ночи, медленные рассветы и задумчивые закаты. Вот он, мой дневник! В нескольких шагах от меня.

Я крепче натянул на голову скафандр. Сделал шаг...

Но дневник мне взять не удалось.

Лист 32

Вход в затон преграждало какое-то подводное дерево. За ним лежал мой мешок с дневником. И, чтобы взять его, надо было обойти дерево. Я хотел войти в затон слева, но дорогу заслонила спиральная высокая постройка.

Башня едва заметно передвигалась по дну. По всему сооружению, по оборотам его, тянулись три темные полосы. Это была лужанка — крупная улитка с завитой раковиной. Она ползла, высунув из-под основания своего дома широкую плоскую ногу и упираясь ею в грунт. Я постучал в стенкудвигающегося сооружения. Непростительное легкомыслие! Сооружение перестало передвигаться. Остановилось и загородило мне дорогу: улитка втянула ногу, закрыла крышку дома.

Оставалось зайти в затон с правой стороны. Мешок лежит совсем близко. Пройду мимо заросшего мхом камня, наклонюсь, возьму дневник.

Пошел. Глаз с мешка не сводил. Чем ближе подходил к камню, тем более странным казался мох, который на нем рос. Он точно был составлен из каких-то трубочек. Из них торчали белые перистые хохолки. Они едва-едва дрожали, чуть-чуть качались. По-видимому, от легкого, медленного течения воды. Казалось, будто трубочки кивают мне белыми головками.

И тут я почувствовал: мне трудно идти дальше и не могу сделать шага назад. Было такое ощущение, словно кто-то толкает меня к этим трубочкам.

Какие-то небольшие живые существа, проплывавшие мимо камня, почему-то вдруг приостановились в воде. Хохолки потянулись к ним, и эти живые существа исчезли в трубочках мха. Так вот как ловят добычу эти перистые хохолки — щупальца трубочек мха, выросшего на камне!

Я попытался отойти подальше от камня. Но, видно, трубочки с перистыми хохолками тянули к себе все, что появлялось рядом с ними: скафандр мой закачался. Я держал его крепко руками. Что делать? Всё резче трепетали и с большей силой тянули меня к себе удивительные страшные трубочки. Погибельный мох был уже близок. Не помня себя, в отчаянии, крепко придерживая левой рукой скафандр, я нагнулся, поднял камень и швырнул в трубочки. И сразу же белые хохолки мха замерли, застыли. О, вы тянете к себе, всасываете только живые существа?! Я стал поднимать кусочки раковин, камешки и швырял, все швырял. И уже без усилий удалялся от застывших трубочек. Обернулся, посмотрел и издали увидел: трубочки снова стали кивать мне перистыми хохолками, качаться, дрожать. И опять показалось, что на камне растет только мох.

В Стране Дремучих Трав встречал я самые неожиданные и своеобразные формы приспособления обитателей к окружающей обстановке. А здесь, под водой, увидел, как хищное животное притворяется... мхом. Мхом? Так ведь это мшанки! Колония мшанок. Этих животных относят к червеобразным.

Было бессмысленно тратить силы и кислород в скафандре на борьбу с опасными и коварными мшанками. Я всплыл на поверхность реки.

Лист 33

Не надо отчаиваться, говорил я себе на берегу: дневник не уплывет из затона. Нельзя обойти дерево с правой стороны — там мшанки. А с левой? Не вечно же лужанка-улитка со своим домом будет стоять на одном месте и загоразивать дорогу.

И действительно, когда на другой день я пришел в скафандре к затону, то увидел: дорога к дневнику с левой стороны свободна. Но, как раньше, чуть-чуть дрожали в медленно текущей воде ветви дерева, простертые над мешком. Мне показалось странным, что это дерево совсем не похоже на другие подводные деревья: оно было прозрачное, словно сделано из зеленого хрусталя. Но ведь в воде краски, цвета и оттенки совсем иные, чем там, в травах, под ярким солнцем. С того дня, когда я надел на голову жилище серебрянки — мой скафандр

— и стал бродить по дну реки, у меня появилось ощущение, будто я хожу по забытому старому замку, куда свет пробивается сквозь пыльные цветные стекла.

Всего несколько шагов оставалось до дерева. У него было шесть ветвей. Все зелено-прозрачные, как и ствол. Под одной из веток — мой мешок с дневником.

Я поправил скафандр, спокойно подошел, нагнулся, протянул руку и... вскрикнул от боли.

Лист 34

На берегу я рассматриваю руку и не верю в то, что со мной случилось на дне реки, не верю в то, что видел своими глазами. А этот ожог? Рука в одном месте припухла, покраснела. Боль не проходит.

Вот в подробностях, как это было.

На дне реки я нагнулся и протянул руку, чтобы взять мой мешок, но кто-то резко ударил меня по руке. Ожог! Я увидел, как ветка прозрачного дерева закачалась, потянулась и пыталась схватить меня. Опять удар, ожог!

И теперь, вспоминая, я вновь переживаю то состояние оцепенения, когда человек во сне хочет позвать кого-то на помощь. Хочет, но не может: все внутри стынет от страха. Да, я все еще помню свой испуг.

На берегу боль постепенно утихла. Не пойму, не разберусь, не догадаюсь, что же случилось под водой. Разве может ветка подводного дерева размахнуться и ударить человека по руке?

Я оттачиваю камнем кусок створки раковины. Он становится все острее и острее. Раковина под камнем шуршит, звенит — дз... дз... С этим острым серпом я снова спущусь на дно реки.

Лист 35

Испуг — плохой советчик. Пора! Пора снова спускаться под воду. В руке остро отточенный кусок раковины. Через плечо перекинута длинная веревка. В хорошо прилаженном скафандре, свободно дыша воздухом, которым его наполнила серебрянка, я снова шел по дну реки, чтобы на этот раз вернуться на берег с дневником.

Мягкий свет, меняя свои оттенки, распространялся по воде. Были быстры и легки тени проплывающих рыб. Спокойно обтекала вода черешки кувшинок — черешки, которые вставали предо мной гигантскими стволами. Вот и затон. Издали виднеется загадочное прозрачное дерево. Как спокойно повисли в воде его шесть ветвей! Только испуг смог превратить это дерево, правда несколько странное (на ветвях — ни листочка), в чудовище.

Да, испуг — плохой советчик.

Удивительно, как мог я придумать какое-то фантастическое событие, связанное со спокойным деревом и его шестью мирными ветвями.

Я приблизился и не успел даже наклониться, чтобы поднять сверток, как дерево пришло в движение.

Я отбежал прочь, прижался к подводному берегу.

Дерево на моих глазах укорачивалось, становилось толще. Ветви, покачиваясь, сближались, шарили, искали что-то в воде: поймать, схватить то, что от них ускользнуло. Хорошо и внимательно присмотревшись, я убедился, что дерево теперь стоит совсем не на том месте, где я его увидел в первый раз. Оно переместилось — подальше от мшанок и поближе к мешку с дневником.

Что делать? У дерева шесть ветвей. Под одной из них, совсем рядом, — мой мешок. Я кинулся к нему. Не добежал, рука не дотянулась. Какая-то нить обвилась вокруг левой руки.

Я обрубил серпом одну, потом другую ветвь. Замахнулся на третью. Но одна отрубленная ветвь зацепилась за скафандр. Я не стал ее отрывать: некогда! Кинулся снова к мешку. Нити, выбрасываемые деревом, обмотались вокруг ног, тянули меня к себе. Ожог, другой... Я их ощущал на руках, ногах, на спине. Уронил серп. Пытался поднять. Порезал руку. Стал задыхаться — воздуха под скафандром не хватало. Израненный, обожженный, я успел перерезать грузила со скафандра и, измученный, выплыл на поверхность воды. С трудом добрался с запутавшимся у правой ноги скафандром до берега. Попытался встать, но сразу свалился: левая нога была парализована, рука горела, будто я схватил раскаленный гвоздь. До пещеры добраться не смог. Лег на песок.

Надо мной летали, мимо меня скакали, ползали, через меня прыгали обитатели Страны Дремучих Трав. И все же я заснул. Когда проснулся, солнце уже заходило. Песок остыл. Боль то утихала, то усиливалась. Попытался сдвинуться с места — и не мог... Какой яд влило в меня это дерево?

Голод мучил. Надо мной качалась пышная головка клевера. Вот бы выпить нектар из его узеньких цветочков! Но не добраться, не дотянуться...

Еще на дне реки зацепилась за край скафандра обрубленная ветвь дерева-чудовища. Теперь жалкая, потерявшая свой живой стеклянный блеск, она валялась на песке, рядом со скафандром. У меня достало сил протянуть руку. Я был очень голоден и стал жевать сморщенный кусок ветви.

Рана на ноге горела, кровоточила. Чем бы прикрыть, охладить открытую рану? В полузабытьи я приложил к ней все еще влажный остаток ветви, обмотал ногу. Весьма странная повязка!

Лист 36

Теперь мысли мои — мысли врача — занимала новая загадка. Совсем недавно, после злополучной схватки с деревом, я лежал без движения, был почти парализован, не мог приподняться. Горели ожоги. На ноге — рана. Но почему я так быстро поправился? Какое лекарство вернуло мне силы? Как могло случиться, что гниющая, дурно пахнущая ветвь с дерева-чудовища помогла мне выздороветь? Весьма странное лекарство! Неизвестное растение почти убило меня, и это же растение... вылечило! Нога так горела, но уже через день-два полегчало — рана стала заживать. А когда я снял «повязку», увидел: рана закрылась, зарубцевалась. Этот случай как будто подтверждает своеобразный закон подобия: то, что тебя сделало больным, то и вылечит. Получается так, будто прав древнегреческий ученый Гиппократ, говоривший свыше двух тысяч лет назад о том, что врачует больного его природа, а врач должен лишь помогать природе. Гиппократ писал: «Болезнь вызывается подобным, и подобным же больной восстанавливает свое здоровье».

Загадки, загадки, загадки...

Что за странное дерево растет под водой рядом с моим мешком? Оно перемещается, отростки его шарят по воде, ловят живые существа, жалят, парализуют. И это же дерево... лечит.

Может быть, это неизвестное насекомоядное растение, близкая родня венериной мухоловки и росянки? Пусть сечет, бьет дождик, но и росянка и мухоловка ни одной ворсинкой, ни одной щетинкой не поведут. Но как оживают оба растения, когда в спокойный час поднесешь кусочек мяса! Им надо поймать, переварить эту пищу. В таких случаях они проявляют свой характер по-разному: медленно, не спеша пригибаются ворсинки росянки к мясу. А венерина мухоловка схватывает добычу энергично и порывисто. Можно обмануть мухоловку: дотронешься соломинкой до одной из ее щетинок, и сразу же лист растения захлопнется. Поймал! А росянку соломинкой не обманешь.

Может быть, в затоне не растение, а животное, которое еще никем не описано? Разве во всех пещерах, дебрях нашей планеты побывали люди, разве по всем уголкам пещер шарил

свет фонарей? Разве изучен океан на всех его глубинах? Нет, не все живые существа стали экспонатами наших музеев. И не все на планете описано, зарисовано, сфотографировано. Ведь сообщалось в «Научном вестнике» (припоминаю... это было за год или два до того, как я оказался в Стране Дремучих Трав), что в лесах Конго экспедицией обнаружено животное, полосатое, как зебра, с длинной шеей — ближайший родич жирафы. Местные жители называли его окапи.

Загадки, загадки, загадки...

Лист 36-а

В третий раз я направился в затон, чтобы взять наконец мой мешок с дневником, который лежит около загадочного дерева.

Здоровый, бодрый, веселый, снова в скафандре, с новым острым серпом в руке, с длинной крючковатой палкой шел я по дну реки к затону. В успехе был уверен: на этот раз я вернусь с дневником.

Две ветви я срубил, четыре осталось срубить — и мешок будет у меня.

Я крепко сжимал в руке серп. Конечно, дневник я возьму. Ветви, которые срублю, вытащу на берег и начну проверять, исследовать целительные свойства странного растения. И, кто знает, может быть, больной, страждущий человек получит новое лекарство небывалой силы.

Я прислонился к подводному обрыву берега. Надо передохнуть. Сквозь полусумрак воды я вижу дерево и даже различаю очертания мешка с дневником.

Как немой и грозный страж, стоит здесь это дерево. Чтобы охранять вход в затон, чтобы не подпустить никого к мешку и наказать того, кто тронет дневник открытий, сделанных в Стране Дремучих Трав.

И старая-старая сказка пришла мне на ум: чудовище сторожит сокровище, которое может дать человеку счастье. И это чудовище выставляет на пути человека страшные преграды, обрушивает на него бедствие за бедствием. Но человек преодолевает препятствия. Он идет все вперед, убивает чудовище и отбирает бесценное сокровище.

Глядя сквозь подводную полутьму на дерево, я собирался зацепить своей палкой мешок с дневником и быстро вытащить его. Сделал шаг. И сразу же отскочил. Ветви дерева сильно и резко качнулись. Почему? Рядом проплыли мальки. И тут я увидел: дерево стало короче и толще. И сразу же — я это ясно видел — ветви его ударили в проплывавшую стайку.

Добыча — несколько мальков — схвачена была у меня на глазах. Прозрачный ствол дерева потемнел. По-видимому, ствол полый, и теперь в нем переваривается пища.

Довольно! Довольно смотреть и удивляться. Пора действовать... Я протянул палку, удачно зацепил меток и изо всех сил потянул к себе. Схватил в руки. Как забилося сердце, когда стал раскрывать мешок!

О, тяжкий час! Мешок пуст! Не может быть! Где же дневник? Когда и где он вывалился из мешка? Не выкинул ли я его за деревом, когда зацепил мешок крючком? Надо обшарить дно затона. С серпом в руке я кинулся к дереву, чтобы обрубить оставшиеся четыре ветви. Остановился... На дереве покачивались... восемь ветвей! Что это? Вместо двух обрубленных выросли четыре ветви.

Гидра?!

Что за странное дерево растет под водой рядом с моим мешком?

Лист 37

Дневник пропал. За пустым мешком — коконом гусеницы — охотился я столько дней! Смешно! Тяжко! Итак, все кончено. Открытия, сделанные мною за долгие годы в Стране Дремучих Трав, тайны, загадки и разгадки жизни этой страны, размышления об удивительных инстинктах, законах, повадках насекомых, технические изобретения, подсказанные обитателями этой страны, — все, что с величайшим трудом я записывал в дневник, чтобы передать людям, все это пропало.

Какое горькое мгновение! И горечь моя растет, увеличивается, заполняет душу еще потому, что я в эти минуты ясно понимаю: не в Великой Медленной реке, а к мелкой луже пропало мое сокровище.

Я принялся было за сбор пыльцы: надо было сделать запасы, но все валялось из рук. Одежда моя совсем истрепалась, и я отправился на поиски — не найду ли подходящий кокон гусеницы. Неожиданно для себя я снова оказался на берегу реки, где под волнами остался мой дневник, где я принял гидру за дерево.

Клетки гидры, наверное, обладают удивительным активным началом: я сам видел, как у гидры восстановились утерянные щупальца. Совсем как у мифической лернейской гидры: на месте сбитой Гераклом одной головы выросли две новые. Но Геракл прижигал горящими стволами деревьев шеи гидры, с которых сбивал своей палицей головы, и уничтожил гидру — чудовище с телом змеи и девятью головами дракона.

Как много сдернуто покрывал с разных тайн, разгадано загадок природы! Но среди тех, которые еще надо разгадать, остается тайна быстрого восстановления органов пресноводной гидры.

Известно, что пресноводная гидра — существо с полым цилиндрическим телом-мешком. Змееобразные щупальца гидры сокращаются и вытягиваются. Пяткой своей животное присасывается к грунту или камню.

Стрекательные органы гидры больно жалят, парализуют добычу (от ожогов у меня и теперь болят руки). Добыча, которую гидра захватывает и переваривает, просвечивает некоторое время через стенки ее тела. Переварила! И опять стала неподвижным «деревом» из зеленого прозрачного стекла. Но почему цвет гидры светло-зеленый? Наверное, в ее организме находятся зоохлореллы — одноклеточные водоросли. Эти водоросли питаются углекислотой и аммиаком, выделяемыми гидрой, и тем самым очищают воду вокруг гидры.

Тот кусочек гидры, сильно отдающий тухлым яйцом, часть которого я проглотил, а другую приложил к ране, обладал удивительной целебной силой. Почему? Видимо, в организме гидры что-то помогает восстановлению и размножению новых клеток взамен погибших. И это «что-то» и явилось моим лекарством.

Что делать дальше? Мне показалось, что и наступающий вечер об этом тихо задумался. Травы-деревья у берега Великой Медленной реки перестали шуметь. Я смотрел на солнце и не хотел, чтобы оно заходило. А ведь в детстве было совсем иначе: посмотришь на заходящее солнце и с нетерпением ждешь, чтобы оно скорее зашло и сразу же взошло. Тогда хотелось, чтобы в природе все скорее менялось.

Пора спать. Там, в воде, уткнулись в песок мальки — уснули. И шмели в своих земляных гнездах уснули. И, наверное, сама хрустальная гидра уснула. Ослабели и сократились ее щупальца.

Вот и моя пещера.. Ах, почему с таким трудом засыпает мысль человека!

Лист 38

С каждым днем мне все тяжелее было вставать по утрам. Дневник потерян. Я чувствовал себя усталым и старым. Смотрел на реку и думал: все, все унесла вода. Силы мои убывали. Я слушал, как шумят травы, и не верил себе: неужели это я так весело и дерзко прошел через джунгли, принес с собой тяжелый груз, пустился в смелое плавание?

У меня было несколько плетеных гамаков. Их я отобрал у паука. Пауки ведь ткнут

паруса, сетки, мешки, трубки, колокола, гамаки...

В теплые ночи спал я чаще всего не в пещере, а в гамаке, который подвешивал под большими листьями. Однажды утром проснулся, когда солнце только всходило. Открыл глаза — и увидел перед собой лицо очень странного человека. Мне оно показалось чуть-чуть знакомым. Я приподнялся и стал пристально вглядываться в это лицо. И оно тоже стало приближаться ко мне. «Какое горькое, жалобное выражение у него! — подумал я. — Что с ним случилось, где я его видел?» Повернул голову. При свете утреннего солнца из-за редких ветвей и стволов, окружавших меня, глянуло много людей, но у всех у них такие же лица, как у моего незнакомца. И каждое лицо почему-то расширилось, расплылось. И тут уж я не мог не засмеяться: это все — отражения моего лица в каплях росы. Росинки-зеркала. Я стал всматриваться и разглядывать себя в зеркале, которое висело предо мной на слегка согнутой ветке: глаза лихорадочные, виски впалые.

Вот каким увидел я себя в это утро, яркое и солнечное.

Нектар, пыльца, семена, зерна — все это имелось у меня с запасом. Но истощенный организм нельзя восстановить только растительной пищей. Надо прибавить животные белки и жиры.

Глянув вниз, с гамака, я увидел, как тонкая оса, упиравшись ногами в землю и подняв крылышки, волочит по земле огромную жирную гусеницу. Вот оса отбежала от своей жертвы, стала копать ямку, но потом вернулась, как бы проверила — на месте ли добыча! и снова подбежала к ямке. И копает, копает. Я вижу как гусеница делает слабые движения: оса, прежде чем притащить ее сюда, парализовала уколами нервные центры. Гусеница ни жива ни мертва. Скоро оса выроет ямку, втащит туда гусеницу и отложит на ее тело яичко. И личинка будет жить за счет гусеницы, развиваться, превратится в осу.

Но я голоден. Осторожно спустился с гамака и стал пробираться к гусенице.

Нет, такая пища мне сегодня не по душе. Надо поискать другую.

Я посмотрел на реку — там столько мальков! Надеть скафандр и ловить рыбу? Но чем ловить? Сетями пауков. Чем не рыболовная снасть? Ими я перегороджу один из протоков реки.

Рыба будет!

Лист 39

Каждый день спускался я на дно реки, надевал скафандр и осматривал свой невод. Конечно, мальки попадались не часто. К рыбной пище я стал привыкать.

Один самый большой колокол серебрянки я приспособил для хранения улова: перевернул его, привязал к веткам куста, склонившимся над рекой. Получился сачок.

Лист 40

Шли дни, а я все еще не оставлял эти места.

Всякий раз, спустившись на дно, я не сразу направлялся к моему неводу, а подходил к затону. Все присматривался, не лежит ли там мой дневник — пачка листков, запечатанная в воске. Но дневника не было. Как и раньше, у входа в затон стояла светло-зеленая гидра и тянулись по воде ее щупальца.

Конечно, мой дневник мог вывалиться из мешка и не в затоне, а в другом месте реки. Но все же надо непременно попытаться пробраться в затон, где обитает гидра. Не остался ли там дневник?

У меня были в запасе сети, неводы, мешки.

И вот однажды я решился: накину на гидру сеть и обшарю затон. Несколько шагов отделяло меня от гидры, когда, заслоняя ее, мимо проплыла огромная черная рыба. Я

отбежал, прижался к береговому обрыву и увидел, что из грунта торчит какое-то животное, извивается, буравит грунт.

Оно вгрызалось в землю, пыталось скрыться. Не удавалось: грунт не поддавался, видимо, мешали плитки известняка.

Животное упало на дно, стало уползать. Змея? Тело, составленное из гигантских колец, подтягивалось, извиваясь в разные стороны, и при этом казалось, что кольца движутся сами по себе. Змея то сокращалась, то становилась длиннее. Через мгновение на змею кинулась черная огромная рыба. Резки и неожиданны были движения этого хищника, который тоже то сокращался, то удлинялся. Только челюстные пластинки, усаженные острыми зубами, и несколько глаз успел я рассмотреть. Не скоро я догадался, что вижу пиявку, схватившую дождевого червя. Пиявка и дождевой червь! Хищник намертво присосался к водяной змее. Она крутилась, вертелась, билась о подводный обрыв, пыталась уползти. Дикий танец. Замутилась вода. Я отступал все дальше и дальше от затона. Неожиданно обвалился подводный выступ берега. Обвал, темнота! Я успел выплыть и выбраться на берег. Отдышался. Снова спустился на дно реки. Муть осела — вода стала прозрачной. И я увидел: затон завален землей. Все кончено! Искать здесь нечего...

Лист 41

Я часто думал: не обосноваться ли на этом берегу? Устроиться в пещере так, чтобы не бояться холодов, сделать запасы. Рядом — река. Я стал понимать жизнь подводных обитателей. Здесь пауки-серебрянки готовят для меня скафандры, плетут сети-неводы. Я всегда могу ловить рыбу.

Но ветры! Ни с того ни с сего начинают они вдруг дуть около реки, опрокидывают и ломают все на своем пути, поднимают вихри пыли, песка (а для меня песчинка — почти булыжник!), жалобно воют у входа в пещеру. Нет, надо вернуться в свой старый дом, где я жил и писал дневник. Нужно уйти с этого берега.

Но я медлил, откладывал со дня на день и все так же спускался на дно.

Как часто, когда я бродил по дну Великой Медленной реки, совсем рядом со мной показывались медленно передвигавшиеся сооружения — жилища ручейников.

Все эти сооружения возводились в воде личинками ручейников.

Прутики и кусочки тростника, хвоинки и мелкие раковинки, обломки веточек, мох, песчинки — все, что можно подобрать в воде, все это идет для построек ручейников. Разнообразный и неожиданный материал скрепляется ручейниками прочными шелковинками в весьма надежное сооружение.

То мимо меня двигалась черепицеобразная постройка, в которой кусочки тростника лежали один на другом совсем так, как плитки черепицы в старинных голландских домиках, то дом-чехол, а иногда дом-футляр. Видел я и такую черепицеобразную постройку, которая была сооружена из обломков коры и из кусочков листьев, очень аккуратно вырезанных.

Все эти сооружения возводились в воде личинками ручейников. Непрерывно достраивались. Так и передвигались личинки ручейников — каждая со своим домом, в котором росла. Приходил срок превращения. Над рекой уже носились крылатые ручейники.

Видел я и передвигавшееся в воде гнездо неведомой птицы. Присмотрелся — опять ручейник! Дом был сделан из мха.

Не сразу, не вдруг научился я различать эти постройки среди разных обломков раковин и камней, лежащих на дне, среди плавающих веток и разных живых существ,двигающихся, стоящих, поднимающихся в воде.

Как-то шел я по дну реки. В одном месте, где течение было быстрое, я ухватился за

выступ скалы и увидел качающийся в воде дом-трубу. Такие жилища ручейников я уже встречал. Но все же удивился: течение быстрое, а дом плыл совсем медленно, сопротивляясь течению — два камня были прикреплены к основанию дома-трубы.

Громоздкими, тяжелыми, неуклюжими показались бы мне постройки ручейников на земле. Но в воде эти дома разнообразной архитектуры были легки и подвижны.

Лист 42

И все же я нашел свой дневник...

Края его были изгрызены, воск местами сошел. Вода просочилась в пачку, и листки намокли. Осторожно доставал я листок за листком. С жадной радостью трогал, расправлял их. Смотрел, проверял номера. Начинал читать одну страничку, но тут же, не дочитав, хватал другую, оставлял и ее, брался за третью.

Я был горд собой: буря, ветер, кораблекрушение, вода унесла дневник, но маленький человек, исследующий Страну Дремучих Трав, нашел его на дне реки!

И на этот раз я уже передам, непременно передам людям свои листки.

Как я был горд: дневник найден!

Лист 43

Вот как это случилось.

Вчера рано утром я вышел из пещеры. Были спокойны и неподвижны травы-деревья, густой чащей подступавшие к берегу. Я слышал звуки труб — это в травах шмели расправляли свои крылышки, приветствовали восходящее солнце и будили других шмелей: скорей к цветам! То и дело я останавливался. Чувствовал: из чащи на меня глядят чьи-то глаза. И всякий раз замечал муравьев. Это их мозаичные глаза осматривали все, что делается на берегу.

Я спустился на дно реки, осмотрел невод — не попались ли мальки? Пусто! Устал. Забрался в колокол паука-серебрянки, отдыхал. Было очень тихо. Я различал звуки водных глубин. Казалось, обитатели этих мест, проплывая мимо меня, ворчали, спорили, вели меж собой отрывистый разговор. Выходило так, будто рыбы меж собой говорят...

Рыбаки и моряки когда-то рассказывали, что они слышали, как ревет белуха, как пищит вьюн, как петушки (так ялтинские рыболовы называют триглей) любят поворчать. И будто сомы издают звуки, схожие со скрипом немазаной телеги, и что есть рыбы, которые хрюкают и каркают. Я не верил в эти рыболовецкие рассказы. Но здесь, среди звуков, которые возникали и гасли вокруг меня в воде, я уловил вдруг чей-то острый писк. Уж не вьюн ли это? И сразу же вслед за этим я услышал звук ксилофона — словно музыкант ударил по его деревянным пластинкам молоточком. Тень большой рыбы проплыла мимо аэростата. Звук повторился. Да, рыбы... говорили.

Возникающие и исчезающие звуки, мелькающие тени, травы-деревья, поднимающиеся со дна и стелющиеся по воде... Полусумрак, окрашенный в легкий розовый цвет... И здесь, под водой, вспомнился мне бело-розовый сад. Солнце еще не взошло, и старые яблони прячут в полутьме свои кривые стволы, вымазанные белой известью и подпертые палками. Густой полусумрак под яблонями наполнен смешанным запахом речного тумана, свежей земли и мокрой росистой травы.

Здесь, сейчас под водой, я ощущал свет солнца совсем как тогда, в утреннем полусумраке под яблонями в саду.

Я срезал раковиной веревки аэростата, подвязал камни и пошел смотреть невод.

Вдруг мелькнули совсем близко две гигантские тени. Рыбы, хищные рыбы! Я бросился к большому камню, спрятался за ним. Две рыбины — каждая с тремя острыми иглами на

спине — плыли одна вслед за другой. Тускло отсвечивали изогнутые иглы в воде. Колюшки! Вон их гнездо. Огромное, с двумя отверстиями. Одна колюшка скрылась в гнезде. А другая, расцветенная яркими красками, осталась у входа в него. В гнезде запоздалая колюшка откладывала икру, а расцветенный самец (он и сделал это гнездо) сторожил вход.

Я глядел из-за камня на гнездо и думал: «А что, если в нем мой дневник?» Его могло загнать туда течение, могла вплести с растениями и сама колюшка. И лежит он рядом с икринками, охраняемый сторожем со страшными иглами. Не улучшить ли мне минуту и не заглянуть ли в гнездо? Но я побоялся это сделать. И даже не колюшка, а сама мысль об иголках меня испугала. Мимо, дальше!

Я подошел к неводу и ахнул. Мой невод был порван, а в его отверстиях застряло несуразное сооружение — огромный передвижной дом-футляр ручейника. Он покачивался, верно, пытался продолжать свой путь. Конечно, вся рыба из невода ушла. Ну и пусть — уж больше я сюда не вернусь. Я оглядел внимательно архитектуру передвижного дома, порвавшего мой невод: какое занятное, но серьезное сооружение!

И тут... тут...

Между кусочками коры, веточек, хвоинок, из которых ручейник соорудил свой дом, я увидел продолговатую, хорошо знакомую мне, отливавшую желтизной пачку листков. Это был мой дневник, выпавший из мешка. Подняв со дна реки осколок раковины, я стал разрушать стену дома.

Удар, опять удар... Без устали колотил я по ловко сработанному сооружению, срезал паутинки, которыми ручейник скрепил части своего жилища.

На берег я вернулся с дневником.

Лист 44

Я разложил на песчаном сухом берегу листки, расправлял их. Клад камешки на каждый листок. На некоторых листках строчки были смыты водой. Потом, потом допишу, говорил я себе. А теперь пусть подсохнут листки. Но тут же с опаской глядел я на солнце — не выгорят ли чернила? Вот и на последний мокрый листок положен камень. Оглядел все, сел на согретый солнцем песок и, вдыхая запах трав, запел. Я услышал, что в чаще трав, подступавших к берегу, кто-то запел мне в ответ. Я пел все громче. И голос мне отвечал громкой песней. «Какой знакомый голос!» — подумал я. И вдруг мне показалось, что на реке уже не один голос, а хор голосов подхватил мою песню. Звонко и стройно. Я умолк, прислушался. Ну конечно, эхо! Вовсе никто в лесу не подпевал мне. И не было хора с реки. Игра эхо. Ах, мало ли что может человеку показаться, когда он нечаянно найдет самое заветное, самое дорогое!

Светило солнце. Река медленно текла мимо меня. Трещали цикады. Говорила на разных голосах Страна Дремучих Трав. Я не помнил себя от радости. Мне показалось, что я, маленький человечек, сейчас весело и бодро зашагаю по траве, приминая и топча ее ногами, войду в городок Ченск и крикну:

«Друзья, читайте эти листки! Сколько открытий, сколько разгаданных тайн!»

Вот сейчас перескочу через Великую Медленную реку (ведь она маленький ручеек), перескочу, перешагну...

Я решительно выпрямился, хотел встать. Вскрикнул, упал... Попытался приподняться — и не удалось. Одно движение — и сразу же острая боль в спине.

Беспомощно лег на землю. Все суставы были сдавлены, точно обручем. Парализованы. Болела голова. Начало знобить.

Я сопротивлялся болезни, не давал чувству унижительной жалости к себе овладеть моим сознанием. А высокие травы кивали мне тонкими верхушками. Кружилась голова, как на взлетающих качелях. Что со мною? Почему заболел? Так бывает от переохладения. Слишком долго и слишком часто бродил я по дну реки.

Лихорадило. Болели мускулы, суставы. Похоже на острый ревматизм; все клетки воспалены.

Когда-то в больнице я лечил больных салициловым натрием, или «салицилкой», как говаривал фельдшер. Однако лучше всего помогал муравьиный спирт. Но здесь разве я справлюсь с тем муравьем, который важно прошел мимо меня, часто поводя усиками? И еще... еще — яд пчел. Их укусы помогали больным ревматизмом. Но сегодня укус одной пчелы меня убьет.

Я вспоминал жалобы больных. Сопоставлял их болевые ощущения с моими.

Припомнился мне случай из практики. В больницу принесли мальчика, на него было жалко смотреть — скрюченный, посиневший. Мать рассказывала, что он подолгу не вылезал из пруда: все купался и купался. Я поставил диагноз: радикулит. Что, если натереть мальчика, слегка ожечь его той травой, которую уже сотни лет кожевники собирают для дубления кож — сумахом? Так и сделал. Мальчик быстро поправился.

А не испробовать ли мне сейчас сумах? Листья непарноперистые, от девяти до семнадцати крупногородчатых продолговато-ланцетных или яйцевидных листочков. Но теперь для меня все выглядит по-иному. Найду ли, узнаю ли?

И я пополз. Охал, вздыхал, но полз. Часто останавливался, поднимал голову и вглядывался — не это ли растение передо мной. Нет. Но вот качаются надо мной листья сумаха. Снова ошибка — не они... И опять полз. Наконец, увидел: высоко надо мной стояли рыхлые зеленовато-желтые метелки. Я стал присматриваться. Каждый из листочков больше моей головы. Я представил их уменьшенными во много-много раз. Сумах!

Лежа на земле почти без движения, я смотрел на сумах и гадал: как же достать пыльцу, цветок или листочек, один только листочек?

Лежа на земле почти без движения, я смотрел на сумах и гадал: как же достать пыльцу, цветок или листочек?

Время тянулось. Я все пристальнее глядел вверх. Увидел — один листочек был надломлен. Стал ждать, скоро ли он свалится. Напрасные ожидания! Под вечер на стебле появилась улитка в шарообразной раковине. Обрадовался: а вдруг она со стебля переползет на черенок, где был надломленный листочек. Опять ждал. Переползла. Какая удача! Листочек сорвался, полетел, опустился на землю. Я дополз до него, подобрал, стал растирать кусочек листочка между пальцами, прикладывал к больным местам и втирал, втирал зеленую кашицу в тело. Кожа горела, покраснела, но через несколько часов боль стала уходить.

Может быть, сумах ядовитый мне и помог, а впрочем, может быть, я вылечился только потому, что через силу двигался, полз. Гимнастика — прекрасное средство против некоторых форм ревматизма.

Лист 45

В это утро перламутровый свет заливал чашу трав. Я возвращался к берегу, чтобы собрать из-под камней подсыхавшие листочки дневника и уложить их в новый восковой пакет, а потом снова попытаться переправиться с ним через Великую Медленную реку.

Алые с розовыми краями, душистые, шелковые ковры лежали на земле: шиповник цвел и ронял свои лепестки. Темно-зеленые травы выстраивались в длинные правильные аллеи. Где-то высоко голубели звезды незабудок.

Может быть, юноша придет сюда, соберет цветы шиповника и незабудки в букет и, волнуясь, позабыв все приготовленные слова, протянет его дрожащей рукой кому-то через низенький частокол палисадника. И ему в ответ блеснет улыбкой девичье лицо. Березка качнет у их ног кружевами своих теней, и ласточки с веселым звоном еще ниже пролетят над

ними.

Но, если бы знали эти милые люди, как трудно было мне пробираться сквозь чащу незабудок, как преграждали мне путь, нацеливаясь на меня, иглы шиповника — темные, грозные копыя!

Лист 46

Старый злой ветер жил в тех местах, где в бурю был опрокинут мой плот, — в местах, которые кажутся такими тихими и спокойными: узенькая песчаная полоска, лес задумчивых трав, ленивая волна реки.

Берег бурь и ветра...

В ранний утренний час, когда солнце не спеша, спокойно и торжественно всходило над лесом трав, подступавших к прибрежной полосе, в такой час мне часто чудилось: на той стороне реки, где каменные горы спускаются уступами к реке, — там, в ущелье, находится постоянное жилище ветра. Оттуда он вырывается и, расширяясь, пролетает через реку. Всегда в разных плащах, смотря по погоде, — то в сером, когда на небе свинцовые тучи, то в темном, перед грозой, то в золотистом, когда крутом радостно и светло, — всегда в разных плащах (сколько их — не перечить!) пролетает он через лес трав и прибрежную желтую полоску и с воем и свистом исчезает. И вдруг, когда его вовсе не ждешь, вновь появляется. Усталый и утомленный от множества дел, проделанных им где-то далеко отсюда, в степях, морях, полях, он все же гонит быстрых стрекоз, гнет к земле лес трав, поднимает волны на Великой Медленной реке. Потом возвращается к скалам, в свое ущелье, чтобы спрятаться, свернуться и уснуть.

Итак, я быстро шел к реке. Чем ближе к берегу, тем все чаще приходилось мне пробираться через огромные овраги. На склонах оврагов деревья-травы жалобно шумели. Вот из-за деревьев блеснула стальным цветом река, покрытая темной рябью.

Лист 47

Выбравшись из последнего оврага, я увидел: на берегу крутится, дымится песчаный столб. Гигантские травы, подступавшие к берегу, узкие и длинные, как шпаги, содрогались, дрожали от основания до верхушек и гнулись, касаясь песка. Все потемнело. Песчаный вихрь гулял по берегу и завывал в чаще. Я кинулся к своим листкам.

Ветер срывал, катал камни с места на место, крутил и уносил листки дневника. Они летали в воздухе, ложились на воду. Я метался по берегу, а ветер носил их над моей головой, улетал с ними в чащу трав. Шумели, качались травы. Отдельные странички плясали, прыгали по земле, но ни одной я не поймал. Вот лист зацепился было за корень, торчащий из земли, но ветер отогнал и его. Унес. Вытянув руки, я бежал, спотыкаясь, вдогонку, но ветер поднял пыль, закрутил, рассыпал и ослепил меня.

А когда я протер глаза и осмотрелся, уже не видно было ни одного листка. Только ветер летал, меняя свои очертания и формы, — летал, свистел и выл.

Ничего, кроме ветра и пыли, на берегу не осталось.

Лист 48

Когда несколько дней назад в поисках лекарства я уползал с берега реки в лес трав, стояла тихая и ясная погода. Конечно, я знал, что здесь возникают неистовые ветры и бури, но, больной и слабый, разве мог я тогда найти в себе силы, чтобы собрать из-под камней листки и спрягать их в пещеру?

Я ушел с берега Великой Медленной реки. Ушел навсегда. Вернулся в дом, где оставил бумагу, чернила, чтобы начать новый дневник, писать его долгие годы. В тихие вечера, под звуки цикад, вспомню все, что было записано в потерянном дневнике, все повторю, вновь запишу. И опять — в дальний путь. Переправлюсь, непременно переправлюсь через реку. И передам людям новый дневник.

Новый дневник

На этих сорока восьми листах я уже обрисовал историю моего последнего путешествия по суше и по воде и обстоятельства, при которых пропал мой дневник.

Этот новый дневник начинаю писать я, Сергей Думчев, взамен дневника, унесенного бурей на берегу Великой Медленной реки. Той реки, которая много-много лет назад была для меня только маленьким ручейком.

На этих страницах снова будет последовательно перечислено и объяснено все, что я видел, наблюдал, открыл в Стране Дремучих Трав.

Припоминаю, как внезапно иссяк ветер, который с таким неистовством разметал листки дневника. Так же внезапно, как и начался. И сразу все кругом стихло. Осела пыль. Застыли в покое деревья-травы. Ни звука, ни шороха там не раздавалось: обитатели трав, перепуганные ветром, еще долго не решались подать какие-либо признаки жизни. Обеспокоенная река потекла еще осторожнее и медленнее. Солнце стало светить мягко и отрадно.

Но не тихо было у меня на душе. Все потерять — горько и больно. Но найти потерянное и снова потерять!.. Что же это? Потеря в квадрате?! Ощущения, переживания, боль, горечь аршином не измеришь, цифрами не подсчитаешь. Все так случилось потому, что я — маленький: мир вырос во много-много раз. Вот и стал я во много раз беспомощней. Кричи, бранись, плачь, — нет дела до меня ни шумящим деревьям-травам, ни Великой Медленной реке, ни всегда немому солнцу.

Сейчас, все припоминая, вижу, как жалок я был, когда бежал за последним листком и молил, упрашивал ветер — хоть этот, хоть один листок донеси до людей. Какая глупая, смешная просьба! Ну что из того, если ветер и донесет до людей какой-либо листок. Ведь люди, читая его, ничего не поймут. И как они его прочтут?

Вот некстати... Бумаги мало. Только начал писать новый дневник, а бумага кончается. Придется прервать начатое дело, побывать у бумажных ос...

Часть пятая Человек спасает человека

На берегу речки запоздалых попреков

Итак, Думчев начал новый дневник и ушел за бумагой и чернилами.

Я кончил читать эти записи Думчева, когда солнце шло к закату и тени деревьев-трав становились всё длиннее и длиннее.

«Что теперь делать?» — спросил я себя. Конечно, надо передать Думчеву крупинку, возвращающую рост. А не лучше ли спрятать ее здесь, в доме-пещере, под пнем, а потом уже искать Думчева? Все не так! Зачем прятать то, что надо отдать? Ни на миг не расстанусь я с крупинкой, возвращающей рост! Обмотав крупинку плащом, я решил идти с узлом за спиной.

Думчев пишет, что он отправился за бумагой к бумажным осам. Гнездо бумажных ос совсем рядом, в нескольких шагах от пня, около которого я стою. Зачем же идти? Можно позвать. Я глубоко вздохнул, чтобы погромче крикнуть, но тут вспомнил, что крик мой

потонет в шуме трав, как писк комара. Я ведь уменьшился, и поэтому пространство, которое отделяет меня от Думчева, неизмеримо выросло. Мне придется идти к гнезду бумажных ос долго, очень долго.

Я перенес записки Думчева в дом-пещеру и положил на место. В последний раз посмотрел я при мягком, неживом свете гнилушек на листы, исписанные рукой Думчева, и мысленно произнес: «Человек!» Это слово звучало у меня в голове, когда я вышел из пещеры. И все вокруг стало не таким страшным: «Здесь человек! Думчев!» И травы этой страны будто подслушали, как я произнес про себя «человек», и приветливо, радостно откликнулись.

Я видел, как они, длинные и внимательные, благосклоннее стали качать верхушками.

Какой поток чувств вызвали во мне записки Думчева! Тут и сострадание к Думчеву, проделавшему такое опасное путешествие, и радость оттого, что теперь, получив крупинку роста, Думчев вернется к людям. И еще радость оттого, что меня теперь оставил страх перед обитателями этой страны, страх, который угнетал и унижал. Теперь я был спокоен. Рядом со мной в травах — человек! Теперь я смогу смотреть на все происходящее в Стране Дремучих Трав, как на поучительное, занимательное зрелище. И как хорошо, что загадка микрозаписок, оказавшихся у меня в Ченске, теперь разгадана! Значит, вот в чем дело: не при помощи фотоаппарата кто-то уменьшал тексты, а писала их маленькая, твердая рука человека. И записки, залетевшие ко мне с букетом цветов в номер гостиницы, и записка о лечении туберкулеза — все это листки из дневника Думчева, развеянные бурей.

Надо идти к гнезду бумажных ос, к Думчеву. А вдруг мы разминемся? Он вернется сюда с бумагой, а я... я буду его искать где-то там. Оставить здесь записку? На чем писать? Остаться ждать? Нет, какое жестокое слово: «ждать!» Надо идти!

Я углубился в травы. Полный радостных предчувствий и дум, я шел, не разбирая пути, и вдруг заметил, что солнце заходит.

Кажется, все было ясно и просто: идти к гнезду бумажных ос. Но куда? На север, на юг, на запад, на восток? Этого я не знал. Смотрел на солнце, на травы-деревья. Кто подскажет? И я пошел наугад, все отдаляясь и отдаляясь от пня.

Я всматривался в даль, стараясь что-нибудь увидеть, разглядеть сквозь чащу. Вслушивался. Откуда-то нарастал шум воды. Лес трав становился реже. Наконец вышел на опушку. Блеснула речка. Она была совсем не широкая: противоположный берег ясно виден. Конечно, это не Великая Медленная река, подумал я, а речка Запоздалых Попреков, о которой пишет Думчев. Почему-то я решил, что гнездо бумажных ос находится непременно на той стороне речки. Надо искать переправу: наверное, Думчев где-то построил мост.

Медленно и осторожно шел я по краю высокого и обрывистого берега. Местами речка бурлила, шумела, как поток. Отсюда я видел противоположный низкий берег, покрытый наносами глины, песка, гальки и валунов. По-видимому, весной и во время больших дождей речка разливается широко, далеко, мощно.

Какой, однако, здесь странный запах! словно я оказался на поле, где разбрасывают навоз.

Река сделала крутой поворот, и на берегу вдруг выросла и покатила па меня гора. Опять они — черные «рыцари», скарабеи! Опять катят шар. С моей крупинкой? Я не успел отбежать. Куда деваться? Гора надвигалась неотвратно. Я оказался па краю обрыва берега. Острый запах аммиака ошеломил меня. Голова закружилась.

С берега, с большой высоты я упал в шумящий поток. Чуть не захлебнулся. Пришел в себя и, держа в руке плащ с крупинкой, поплыл по течению. Какая-то доска проплыла мимо меня. Я уцепился и влез на нее. Это была простая щепка, но для меня — спасительный огромный плот. Плот прибило к противоположному берегу, и я выбрался на сушу... Какие странные следы! Глубокие и четкие. По влажной земле у речки только что прошел человек. Здесь, рядом, еще один человек! Думчев!

Снова бумажный «город» ос

Не отрывая глаз от следов, я уходил все дальше и дальше от шумящей речки. Вот-вот, где-то здесь за поворотом, я должен увидеть Думчева...

Воображение рисовало самые неожиданные картины. Я ускорил шаги, но следы человека вдруг затерялись. Они исчезли в кустарнике. Мрачные, густые тени легли на землю. В полутьме я перелезал через гигантские балки, бревна, цеплялся за сучья. Какая-то огромная птица пролетела мимо, и я, спасаясь от нее, шарахнулся в сторону. Стал под тень растения. Надо мной качались желтые цветы. Их одуряющий запах слегка туманил голову. С трудом пошел дальше. Шум речки заглох. Тени рассеялись. Стало светлее. Я поднял голову и вскрикнул. Удивительные гигантские груши цвета пергамента висели над моей головой. Какие странные сооружения! Будто колоссальные чашки, они висели высоко над моей головой. А позади пергаментного города серая стена уходила в небо. Как великолепен бледно-желтый город, освещенный солнцем, на фоне серой стены!

В воздухе стоял шум и гром: гигантские желтые птицы с гулом и грохотом влетали в город и вылетали из него.

Строения были прикрыты сверху покрывалом. И казалось, будто птицы не сверху, а снизу влетают под покрывало.

Где я? Чей этот странный город?

Я сделал шаг и с недоумением остановился. На земле предо мной лежало толстое бревно. На его красном фоне ярко светились под солнцем какие-то широкие золотые полосы. Полосы складывались в буквы. Но совсем непонятные, незнакомые. Их не разобрать. Они небывалых размеров. Чтобы прочесть, я отбежал в сторону и рассмеялся: «Пионер 3М».

Забавно! «Пионер 3М» — это марка карандаша. Мягкий карандаш. Таким я люблю писать. Вспомнил. Это бревно — мой карандаш. Здесь я оторвал от гнезда бумажных ос кусок картона и хотел на нем что-нибудь изобразить. Достал карандаш и тут же его уронил. Стал искать в траве — не нашел. И вот теперь, когда травы стали для меня огромными деревьями, я вновь встретился с утеряннным карандашом.

Маленький карандаш, который я любил держать в руке, — мой карандаш о шести гранях, тонко отточенный, мягкий «3М», которым было так легко писать, набрасывать эскизы лиц, делать пометки на полях рукописи, записывать дорогие сердцу номера телефонов. Так вот где встретился я с тобой! Он все такой же, карандаш «Пионер 3М». И гнездо ос, висящее на бруске, врытом в землю, — все такое же, как было. Но я стал совсем другим. И гнездо ос представляется мне гигантским городом, куда влетают и откуда вылетают большие птицы.

Осы строили всё новые и новые ячейки-жилища, заполняли их яичками, из которых разовьются личинки, будущие жильцы. В это же время осы кормили личинок, готовили покрывки для ячеек, закрывали отверстия тех ячеек, где личинки превратятся в куколки. Непрерывно шла основная стройка: ряд за рядом возводились помосты для новых этажей, воздвигались этажи. Тут же происходила заготовка и производство строительного материала — бумаги. Все эти разные по характеру работы совершались здесь одновременно.

Я загляделся. Вдруг на поляну выбежал человек — человек в плаще. Я не успел крикнуть, как человек уже перебежал поляну, с необычайной легкостью взобрался на гигантскую стену (это был брусок, врытый в землю), а со стены перескочил на крышу пергаментного «города».

Словно сталь сабли мелькнула в воздухе. Человек отрубил от крыши этого удивительного сооружения огромный кусок бумаги.

Думчев!

На человека набросились осы. Но он спрыгнул на землю и метнулся в сторону. Я хотел кинуться к нему и вдруг услышал оглушительный шум. Воздух заколебался. Резко и внезапно потемнело кругом.

На поляну спустился громадный самолет. Так мне сначала показалось. Присмотрелся. Этот «самолет» держался на двух длинных столбах. Крылья были сложены, равномерно

покачивался черный с белым хвост. Это птица. Кажется, трясогузка.

Но где же человек, который так храбро воевал с осами? Вот он! Каким лилипутом показался он мне по сравнению с этой огромной, страшной птицей! Она его заключает. Я крикнул, чтобы предупредить. Но он не обернулся. Не слышит! Птица скакнула в его сторону. Но человек уже прислонился к серой стене, сорвал со своих плеч серый плащ, прикрылся им. Трясогузка рядом, но не замечает человека. Она клюнула червяка, который показался мне огромной змеей.

Птица, взмахнув крыльями, улетела. И тогда человек помчался прочь. Он убежал, держа под мышкой кусок бумаги.

Птица снова опустилась недалеко от него. Человек приник к большому зеленому листу. Серый плащ упал на землю. Человек оказался в зеленом плаще. Он стоял на зеленом листе и был невидим.

Птица с шумом улетела.

— Думчев! — кричу я.

Он не слышит, не оборачивается и исчезает со своим куском бумаги.

Думчев не оборачивается... Он уходит, исчезает!

Надо кинуться за ним! Но пролетающие осы ужалют. Погибну.

Крикнуть еще раз? Но шум полета ос заглушает мой слабый человеческий крик. И все же я кричу, снова и снова:

— Думчев!..

Нет, он не оборачивается... Он уходит, исчезает!

Я в отчаянии устремляюсь вслед. Догнать! Догнать!

Летают, гудят, сотрясая воздух, осы. Но я лавирую: пригибаюсь к земле, падаю, поднимаюсь, снова бегу вслед за Думчевым.

Лишь бы догнать! Не потерять из виду!

Бегу. Кричу из последних сил:

— Думчев! Ду-умчев!..

И мне показалось — он смотрит в мою сторону. Я поднимаю камешки, ветки, кидаю в воздух.

Да, он меня увидел! Останавливается, всматривается. И вдруг, точно в испуге, кидается прочь. Но, сделав несколько шагов, он как бы опомнился. Обернулся. И вот он уже идет, идет ко мне навстречу. Размахивает руками, подавая какие-то знаки. Я спешу к нему. Еще шаг, другой...

Но земля подо мной заколебалась.

Я куда-то провалился.

Человек, откликнись!

Я упал на что-то мягкое. Темно. Густая, тяжелая тишина. Прислушался. Мне почудилась, что рядом со мной кто-то стоит и дышит. Кто здесь? Ни звука. Но все же что-то шевелится рядом со мной.

Я отбежал в сторону. Уперся в стену. Тронул ее рукой. Стена земляная, то гладкая, то шершавая. Побежал вперед по длинному, бесконечному коридору...

Коридор куда-то опускался. Я остановился; грохот, плеск, шум слышались впереди. Что это? Коридор выходит к воде?

Обратно! Назад!

Я шел... шел... касался руками стены. В каком-то месте коридор раздваивался. Пошел направо.

Внезапно споткнулся, задел ногами сучок или корешок и остановился. Сучок... гладкий... рогатка... Некогда раздумывать. Надо выбраться отсюда. Я бросил сучок и снова пошел по коридору. Сколько мне еще идти? Не иду ли я по замкнутому кругу? Где же выход из него? Неужели там, где грохочет вода? Опять раздваивается мой коридор. Нога снова зацепила за что-то. Сучок? Ведь это тот же сучок, который я бросил!

Как слепая лошадь в коногонке, хожу по бесконечному кругу. Кто строил этот лабиринт?

В полной темноте я дошел до какого-то неожиданного спуска. Шума воды здесь не было слышно.

По-видимому, я забирался в глубь земли. Спуск привел меня в новый длинный коридор. Здесь опять, трогая и ощупывая стены, я убедился, что этот коридор, как и первый, замкнут.

Нет! Вот еще ход! Через него я попал в узкое ответвление. Но напрасно я пытался выбраться из этого рукава. От него на некотором расстоянии друг от друга отходят боковые коридорчики. Они завели меня в тупик. Я возвращаюсь обратно и опять иду по большому кругу.

Когда же это кончится?

Под ногами хворост, видимо сухая трава.

Я опустился на подстилку. Кто мог построить этот лабиринт? Я стал дремать. «Лабиринт... лабиринт...» Медленно выговариваю я это слово, и вспоминается мне миф.

На острове Крит был лабиринт, из которого ни один смертный, попавший туда, не мог найти выхода. Древнегреческий миф рассказывает, что в этом лабиринте подселилось чудовище Минотавр, пожирившее людей. Этому чудовищу, с туловищем человека и головой быка, Афины вынуждены были посылать на съедение каждые девять лет семь юношей и семь девушек. И чудовище их пожирало. Тесей из Афин пробрался в лабиринт и убил Минотавра. Но как выбраться Тесею из лабиринта?

Ариадна, дочь критского царя Миноса, полюбившая Тесея, дала ему, когда он спускался в лабиринт, клубок ниток и острый меч. Конец клубка оставался у нее в руках. И эта путеводная нить — нить Ариадны — вывела Тесея из лабиринта.

В чьем же лабиринте запутался я? И какой Минотавр ожидает меня? Действительно, кем же прорыты эти галереи?

Кротом! Конечно, кротом!

Смешно! Не найти выхода из норы крота!

Крот роется под землей и питается личинками и дождевыми червями. Но он иногда выходит и на поверхность земли. Этот выход нужно найти.

Какая тишина! Какая темнота! Измученный, усталый, я борюсь с дремотой. И вдруг слышу:

— Человек, челове-ек, отзовись! Вскაკиваю на ноги и кричу, в ответ:

— Я здесь! Сюда! Сюда!..

Молчание. Нет, это сон. Но я снова прислушиваюсь. Молчание. Да, все почудилось мне...

Тишина и темнота.

Может быть, сейчас на земле неторопливо наступает ночь? И хорошие люди поют веселые песни...

Храп какого-то животного все ближе и громче.

Я побежал по одному из коридоров и почувствовал — пол коридора стал подниматься. Потянуло струей свежего воздуха.

Значит, близок выход!

Блеснул свет огня. Огонь перемещался, двигался.

Это Думчев! И мне показалось, что я вижу белую человеческую руку, сжимающую факел. Я мчусь вверх по коридору на огонь, а позади слышится страшный храп крота.

Вдруг факел пропал, исчез.

Я протянул руку — наткнулся на стену. Поднял руку — она ушла в какую-то выемку в

кровле галереи.

Я нащупал выступ, встал на него, изо всех сил начал расширять проход в потолке. Животное храпит уже где-то рядом.

Я подтянулся обеими руками и вылез из лабиринта на поверхность земли.

На земле была ночь. Огонь факела приближался ко мне.

Огоньки, огоньки...

— Думчев! Думчев!..

Вдруг в разных местах вспыхнули десятки огоньков.

Я сбит с толку. Что это: злая игра? Огоньки, огоньки окружают меня, они гаснут, тают, исчезают и вновь горят. Ближе — далеко, далеко — близко...

Я кружусь, мечусь бесцельно.

Да ведь это гнилушки и светящиеся жучки! Но где же меж ними факел Думчева? Наверное, он держит в руке светящуюся гнилушку. Я останавливаюсь. Жду. Пусть Думчев идет ко мне сам.

Действительно, какой-то огонь спокойно и деловито приближался.

И я услышал:

— Че-ло-век, человек, отзовись! Человек, откликнись!

— Думчев! — кричу я. — Думчев!

Огонь все ближе, голос все слышней:

— Человек, я иду к тебе!

Вдруг все вокруг меня стало меняться, а голос стал удаляться. Почему от меня все убегает? И огоньки, и кусты, и деревья — все плывет мимо.

При неверном, призрачном свете луны и мерцающих огоньков я увидел, что огромный дождевой червь тащит лист, на который я случайно стал.

Надо немедленно соскочить с листа. Но, пока я раздумывал, червь подтащил лист к глубокой яме. Еще мгновение — и я покачусь вниз. Я ухватился руками за края ямы и поджал ноги; червь утащил лист вниз, а я остался наверху и с облегчением вздохнул.

Все было тихо.

Я не решался двинуться с места и точно на часах застыл у норы.

А из леса трав мне снова светили огоньки, гасли, загорались. Где-то меж ними — факел человека. Он светил для меня, но я не знал, как его отличить.

Время шло, никто не приходил. Потянуло свежестью. Легкий холодок прохватил меня. Стало зябко. У огня светляка не согреешься, но все же я направился в чашу трав и выбрал там место, где было побольше этих лампочек: зеленых, голубых, синих, желтых, красных... Казалось, каждый светляк заслонил от меня огонек каким-либо цветным стеклом. К разным цветным огонькам — к волнам света разной длины — я протягивал свои озябшие руки. Каждый фонарик горел сначала ярко, ровно, а затем свет его уменьшался, угасал. Я переходил от фонарика к фонарику с протянутыми руками: «Подайте, светляки, немного тепла усталому страннику Страны Дремучих Трав!» Напрасно! Ничтожна доля тепла, выделяемая вами. Всю свою энергию вы тратите на свет. Около вас я похож на того жалкого диккенсовского клерка, который в жестокий, пронзительно холодный вечер согревал свои руки у одинокой свечи в конторе скряги Скруджа. «До свидания, дорогие мои светляки, голубые, зеленые, синие, красные, до свидания! Храните свой световой пигмент — ламперин, пусть реакция окисления продолжает создавать красивые и холодные световые эффекты. До свидания!»

Я вернусь к яме, куда уполз дождевой червь, прислонюсь к насыпи и немного подремлю. Может быть, меня там найдет Думчев.

«До свидания, светляки!»

Встреча

Утро настало. Снова утро в Стране Дремучих Трав. Думчев не нашел меня. Надо вернуться к его дому, к старому, гнилому пню. Может быть, Думчев там.

Я стал пробираться сквозь чашу трав. Все вокруг меня летало, прыгало. Все пело, шумело, звенело. Среди общего хаоса звуков я уловил знакомое однотонное гудение: оно нарастало, приближалось. Уверенные и спокойные звуки. Я сразу вспомнил о листорезной пчеле — о мегахиле, в гнезде которой я вчера побывал и так вкусно поел. Не мешало бы сейчас позавтракать...

Когда животное опустилось на землю, я присмотрелся и понял, что это не листорезная, а какая-то другая пчела. Конечно, я знал, что есть много пчел, ведущих одиночный образ жизни.

Итак, мне очень хотелось есть. И я увидел на ножках пчелы — в корзинках — и на ее брюшке золотистую сладкую пыльцу, которую пчела собрала с цветов. Пряный, острый аромат щекотал горло и нос.

Гнездо пчелы оказалось рядом со мной — в земле, но я его вначале не заметил, оно было прикрыто листьями. Пчела ушла в землю. Земляная пчела!

Пчела вылезла на край гнезда, закрыла его листьями и улетела. Я попытался стащить лист с гнезда, но, видно, ослабел от голода и от плохого сна. Лист тяжелый. Время уходит. Наконец стащил! Теперь надо прыгнуть в гнездо. Но боюсь — глубоко. Отыскал подходящей длины шест, притащил. Только начинаю по шесту спускаться, как слышу — гудение. Это она, хозяйка гнезда, летит домой с новой порцией провизии. Несдобровать мне.

Я карабкаюсь вверх и, оставив шест, отбегаю. Нет, надо оставить в покое эту пчелу — слишком быстро она возвращается из очередного рейса. Мне не перехитрить ее, не хватит ни сил, ни терпения.

Однако как странно: все в Стране Дремучих Трав так неожиданно, поразительно, а чувство голода все то же, знакомое, привычное. И в этой невероятной Стране Дремучих Трав человек не может не есть, не может не спать.

Надо скорее добраться до дома Думчева.

Резкая трескотня оглушила меня.

Что за диковинный зверь? Крылья узкие и зеленые, задние ноги длиннее передних. Кузнечик! Он все пронзительнее, все веселее поет-трещит. И вдруг смолкает, прислушивается: не поют ли громче, чем он, другие кузнечики? И снова трескотня.

Подальше, подальше от этого оглушительного треска и шума! Один шаг — и я уже в чаще леса, среди странных деревьев. Корни, желтовато-белые, уходили в почву, а ярко-зеленые стволы то улетали стрелами в небо, то, пригнувшись к земле, сходились, сближались своими вершинами и узкими, длинными листьями. Непроходимая стена! Но и в чаще все слышится звон и треск кузнечика. Я оглянулся.

Там, совсем рядом с кузнечиком, вырастает, то сливаясь цветом с этой чащей, то выделяясь из нее, какое-то странное длинное существо.

Солнце всходило. И это существо смотрит на солнце. Зверь вытянулся и сложил на груди свои голенастые «руки». Не его ли называют в народе богомол? Ну конечно, это богомол!

Я залюбовался им. Как спокойно и величественно он поворачивает свою голову с выпуклыми глазами, точно хочет внимательно прислушаться к треску кузнечика!

Похоже, что кузнечик надоел ему своим треском. Богомол то выступает вперед, то вновь исчезает в чаще.

Пуф! Пуф! — раздается рядом с кузнечиком. Точно резкое царапание ногтем по стеклу. Стук, сухой треск.

Занятно!

Богомол, нежно-зеленый, изящный и стройный, поворачивается к кузнечику.

Да, кузнечик, видно, ему порядком надоел.

Но как пластичны движения богомола! Вот он вытянул вперед длинную переднюю ногу, будто приготовился к какому-то замысловатому танцу. С ноги глядят черные пятна с белыми точками внутри. Нарисованные глаза! А на бедре — двойной ряд острых шипов, точно пила с двумя лезвиями. Шипы разного цвета и разной длины. Одни черные, другие зеленые, одни подлиннее, другие покороче.

И вдруг кузнечик повис на пиле, рванулся... Богомол отставил свою складную, как на шарнире, ногу, и я увидел на бедре еще одну пилу — с более мелкими и гуще расположенными зубьями.

Пилы сомкнулись и держат кузнечика. Кузнечик бьется в этих тисках. Тщетно: удары его ножек бьют по воздуху. Еще мгновение — и все кончено. Кузнечик затрепетал и замер. Богомол расправляется с ним: одна нога держит на зубьях своей пилы жертву за туловище, другая давит голову кузнечика.

Богомол завтракает.

Солнце все выше. И, позавтракав, богомол с трогательным смирением снова сложил свои страшные «руки» и обратил голову к солнцу.

Вот ханжа!

Но голова его то обращена к солнцу, то поворачивается в другую сторону.

Я зачарован изящными движениями богомола. Забыл всякий страх. Цепляясь за корни деревьев, пробираюсь все ближе и ближе: надо получше рассмотреть пилы богомола.

Одно неловкое движение — и, зацепившись за корень, торчащий из земли, я упал.

Пуф! Пуф!

Вскочил. Поздно! Передние, хватательные ноги богомола, так смиренно, «молитвенно» сложенные на груди, раскрылись во всю длину.

Богомол кинулся на меня. Он высок, очень высок, в три-четыре раза выше меня. Я отчаянно вскрикнул и все же успел замахнуться плащом, в котором была завернута крупинка. Прыгнул в сторону. Но поздно — вот-вот пилы богомола сомкнутся. Я погиб!

Но что это? Богомол падает.

Я не могу устоять на ногах и падаю рядом с ним.

Явь ли это или все только снится мне? Кто-то бережно и осторожно вытирает сухой, теплой человеческой рукой пот с моего лба, приподнимает меня.

Я слышу человеческую речь:

— Эх вы, батенька, батенька! Разве можно? Разве можно доверять этому злодею?

— Это вы? Вы спасли меня! — шепчу я. — Думчев?! Человек по-старомодному кланяется:

— Да, я Сергей Сергеевич Думчев.

Я смотрел, не зная, что сказать, был озадачен до крайности. Ну как не удивиться тому, что предо мной въявь стоит этот необыкновенный человек — Сергей Сергеевич Думчев? На плечах у него несколько плащей разной длины и разнообразной окраски. Под плащами — жилетка из плотной бумаги. На земле лежал дорожный мешок, по-видимому кокон гусеницы.

— Всю ночь за вами следую, — говорит Думчев. — Побывал и в лабиринте крота. Звал вас, а вы от меня прочь.

— Сергей Сергеевич... — шепчу я. — Я видел вас вчера... совсем близко... Догонял, звал... но потерял. И ночью искал! Ждал... И вот здесь, здесь вдруг вы спасли меня от этого зверя!

— Пустое! Совсем пустое! Я у них, у этих же зверей, учился. Видите, в руке у меня жало осы? Похоже на саблю. Пришлось вскочить на спину богомола, чтобы поразить в грудные нервные узлы. А у кого учился? Слышали ли вы о каликурге и помпиле? Сфексы! Особый вид ос. У них учился!

Богомол кинулся на меня.

— В Стране Дремучих Трав?

— Повторите! Как назвали вы эту страну?

— Страна Дремучих Трав.

— Правильное название. Страна Дремучих Трав... Когда-то очень давно я так и назвал страну, где живу. Но кто же вам сказал об этом?

— Название страны я прочел в листках, которые вы оставили (я хотел сказать — под пнем, но замялся)... оставили в своем доме.

Я развязал плащ, достал крупинку и протянул ее Думчеву:

— Вот, Сергей Сергеевич! Вот крупинка, которая восстановит вам рост!..

Он посмотрел на нее и сказал:

— Чернила! Мне нужны чернила, чтобы написать сызнова дневник!

«Странное дело, — подумал я: — почему Думчев отвернулся от крупинки? Иль, может, эти крупинки вовсе не восстанавливают рост? Но об этом мне Думчев не хочет сказать?»

Первые впечатления

Почему первые слова, которые Думчев сказал, увидя меня в Стране Дремучих Трав, были им произнесены так, будто он давно меня знает? Точно эта диковинная страна, где я появился, самый обыкновенный городской бульвар: на скамейках сидят няни, они заняты своим вязаньем и поглядывают, как играют дети. И на этом бульваре он встретил меня — соседа по квартире.

— Сергей Сергеевич... — шепчу я. — Я видел вас вчера... совсем близко... Догонял, звал...

В схватке человеческого разума с многообразием инстинктов обитателей этой страны победителем вышел разум. Думчев, учитывая автоматический механизм жизни насекомых, застывшие, ограниченные формы их инстинкта, не только не погиб в этой стране, но обратил силы их инстинкта на службу себе — человеку.

Какое-то особенное спокойствие, я бы сказал — страстное спокойствие, проявлялось во всех его движениях.

Да, Думчев не удивился моему появлению в его стране и не спросил, как я очутился здесь. Видно, долгая жизнь в этом мире, где беспрерывно подстерегают опасности, где человеку с его гордым разумом всякий миг надо решать труднейшие задачи, — эта долгая жизнь приучила Думчева ничему не удивляться.

Вот он отошел на несколько шагов от меня, посмотрел на какие-то следы, прислушался к шороху деревьев-трав и заговорил сам с собою. Это была, по-видимому, его привычка. Она сложилась у него за десятки лет жизни в Стране Дремучих Трав. Говорил он очень медленно, негромко и отчетливо.

— Что ты скажешь о нем? — спросил он себя обо мне и тут же себе ответил: — Что скажу? Очень уж он стрекочет! Совсем как кузнечик. Мельтешит, шумит. В каком-то ознобе. Но что с него возьмешь? Он молод...

И тут я собрался с духом и перебил его:

— Как же вы, Сергей Сергеевич, не удивились? Вдруг ни с того ни с сего появляется человек здесь, в вашей Стране Дремучих Трав... А вы ни о чем не спрашиваете.

Он спокойно и отдельно ответил:

— Чему же удивляться? Все ясно и просто. Люди открыли состав сложных соединений, уменьшающих и восстанавливающих рост, вот вы и появились. — Думчев внимательным, долгим взглядом всмотрелся в шумящие вершины и тихо, серьезно спросил: — Что же не идут сюда другие люди?

— Нет! Нет! — вскричал я. — Зачем же людям заниматься поисками каких-то составов, уменьшающих и восстанавливающих рост? Современные микроскопы помогают человеку достаточно хорошо изучить мельчайшие организмы.

— Не живя, не бывая в Стране Дремучих Трав, изучать ее?! Глядеть через стекла микроскопа?..

Я не ответил на это замечание. Разговор между нами прервался.

Потом я услышал, как он опять говорит сам с собою:

— Но как же он, этот суетливый человек, оказался здесь, недалеко от моего дома?

— Как? — воскликнул я. — Ведь все началось с листков в букете...

Думчев с недоумением посмотрел на меня:

— О каком букете вы говорите?

— Однажды вечером в номер гостиницы ко мне залетел букет цветов, а в нем листки, загадочные листки...

— Вы что-то путаете, молодой человек.

— Ничуть!

— Букет цветов... листки... гостиница... — Он сердито пожал плечами.

Я продолжал:

— Листки были прочитаны под микроскопом, листки вашего дневника.

Лицо Думчева осветилось тревожной радостью.

— Так он найден? Он дошел до людей?

— Кто? О ком, о чем вы говорите?

— О своем дневнике открытий, сделанных за все годы моего пребывания в Стране Дремучих Трав. Все ли, все ли листки дневника найдены?

— Три листка! Три листка. Они были загадочны и непонятны.

— А их было много, очень много! — с горечью сказал Думчев. — Их едва тащил на себе мой верблюд. Но он погиб, мой верблюд, мой паук-волк. А я все шел и шел... На северо-восток, на северо-восток, к беседке. Я хотел переправиться через Великую Медленную реку. Буря... Плот перевернулся. Под водой чудовище охраняло мой дневник. А потом... ветер унес листки. Ветер...

Думчев замолчал. А я все больше и больше верил в то, что он скоро, может быть уже сегодня, вернется к людям. И не надо будет думать о чернилах, не надо будет у бумажных ос добывать бумагу. Думчев вернется к людям и спокойно вспомнит, восстановит, повторит то, что было в его дневнике. Сколько бед, невзгод, злоключений преодолел он, сколько отваги, труда, настойчивости, изобретательности проявил, чтобы обогатить человечество новыми знаниями и донести свой дневник людям, дневник, от которого остались только три листка!.. Теперь все это позади.

Я хотел сразу же заговорить об этом, но не знал, с чего начать. Крупинка роста лежала на земле перед нами. Стоило только развязать плащ. Но ведь один раз я протянул ему крупинку, а он отвернулся от нее. Почему?

Думчев прервал мои размышления и задал свой первый вопрос:

— Да, вы говорили, что люди еще не изобрели сложных составов, влияющих на рост живого организма. Но как же вы здесь очутились?

— Случилось так, что в моем распоряжении оказались порошок и две крупинки. Они лежали на столе в фанерном домике.

— И вы проглотили порошок, не так ли?

— А вот эта крупинка, Сергей Сергеевич, сохранена для вас, — сказал я твердо и спокойно и протянул ее.

— Мешок! Посмотрите, какой хороший мешок!

— Где? О чем вы говорите?

— Двигается большой мешок. Как, вы не видите? — Думчев указал на большую гусеницу, похожую на ту, которую я принял когда-то за удава.

— Почему вы эту гусеницу называете мешком?

Но Думчев уже сорвался с места и побежал за гусеницей, скрылся в травах.

Скоро он вернулся и весело воскликнул:

— Выследил! Из добротных шелковых ниток сплетет она оболочку — кокон. А я ее из этого мешка вытряхну.

Будет для вас хороший спальный мешок. — Он похлопал ладонью по своему дорожному мешку. — Не хуже этого... Но я вернулся к прерванному разговору:

— Так вот, Сергей Сергеевич, были у меня две крупинки. Одна вот эта...

— А другая? — спросил Думчев.

— Другую закатали скараabei.

— Понимаю, понимаю... Закатали в навозный шар. А не укажете ли вы место, где видели в последний раз скарабеев с навозным шаром? Отобрать у них крупинку! Что ж, человеку перехитрить зверя нетрудно. Если скараabei катили шар-кладовую, то есть такой шар, в который они откладывают яйцо, то крупинка будет наша. Но если... если скараabei катили шар не для потомства, а чтобы съесть его, то она погибла!

Горькая обида

Горькая обида, тягостное недоразумение стали между мной и Думчевым.

Как это случилось?

От места схватки с богомолем, из страшных пил которого меня спас Думчев, мы отправились на поиски скарабеев. Мы шли к речке, чтобы переправиться на другой берег — туда, где скараabei столкнули меня в воду. Думчев шел впереди. За плечами он нес большой мешок с картоном, добытым в осином городе, в руках — саблю.

Как я вскоре убедился, Думчев почти каждый день подстерегал гусеницу, когда она, выпустив нити-веревки, подвешивается к растению и изготавливает кокон. Думчев перерезал веревки острым кусочком раковины, вытряхивал гусеницу из кокона-мешка, а затем пропитывал его специальным составом. Так кокон гусеницы стал мешком. В Стране Дремучих Трав можно было с успехом раздобыть и воск, и креозот, и лаки, и йод, и другие сложные составы.

Думчев шел легко и быстро. А я тащился за ним со своим узлом-плащом. В нем были шар-крупинка и деревянная ложка, с которой я не хотел расставаться.

Я шел и думал: почему, когда я протянул Думчеву крупинку роста, он на нее и не посмотрел, а заговорил о... чернилах? Странно... А ведь стоило ему принять крупинку — и через час или два он был бы у себя за столом в лаборатории. После стольких лет одиночества!

А здесь ему еще придется превращать в бумагу картон, который он несет в мешке за спиной.

Думчев словно угадал мои мысли. Он сказал: — Человек многое подсмотрел у насекомых, люди многое взяли у них для развития культуры... Хотя бы чернила...

Я, конечно, стал сразу же объяснять, что чернила производятся из анилиновых красок.

— Вы, видно, не понимаете, о чем я говорю, — возразил Думчев. — Человек еще до ваших красок заметил чернильно-ореховую муху и те странные наросты, которые она делала на растениях, — чернильные орешки... Простая вещь — чернила, а какой скачок сделала с их появлением человеческая культура. Наблюдать, исследовать жизнь насекомых. Здесь

столько богатств!

— Чернила — это мелочь, — возразил я.

— Насекомое прокалывает лист, — продолжал Думчев, оставив без внимания мои слова, — откладывает яичко, потом образуется орешек, в котором живет личинка. И люди стали готовить из этих дубовых орешков чернила. А бумага? Бумажные осы подсказали человеку, как производить бумагу из древесины. Бумага из льняного тряпья стоила слишком дорого. А культура человечества требовала много, очень много удобного и дешевого материала для письма — бумаги. Осы уже миллионы лет выскребывают своими челюстями волоконца дерева, растирают их в мелкий порошок и, выделяя клейкую жидкость, слепляют бумажный шарик. Этот шарик они прессуют челюстями, превращают его в тоненькую пластинку. И материал для стен их жилищ готов. Только лет его назад был открыт секрет производства бумаги из древесины. И на такой бумаге мы сейчас пишем и печатаем книги. Ведь это технический переворот, огромный скачок культуры вперед!

Мы шли дальше.

Я думал: какое странное торжественное выражение было на лице Думчева, когда он заговорил о чернильных мухах, о бумажных осах, а вот когда я ему протянул крупинку роста, он будто ее и не заметил. «Почему?» — спрашивал я себя. Смутная, пугающая догадка пришла мне в голову: неужели страстность и одержимость исследователя, открывателя победили в нем желание вернуться в большой мир? Неужели он не хочет расставаться со Страной Дремучих Трав?

Вдруг Думчев остановился и заговорил сам с собою:

— Надо думать, что молодому человеку (это он говорил обо мне) совсем не легко тащить в плаще тяжелый груз. Но мешок мой до отказа набит картоном. А надо, чтобы у нас руки были свободны.

Он повернулся ко мне:

— Не лучше ли спрятать наши вещи в надежное место? Будет легче идти. Мы спрячем их в гнезде халикодомы.

Это слово — «халикодомы» — он произнес с глубоким уважением.

Думчев отошел в сторону, прошел через открытую полянку и остановился.

Высоко в небо упиралась вершиной огромная голая, лишенная зелени каменная гора. К горе прилепилось белесоватое полукруглое сооружение. Оно в нескольких местах было просверлено. Подойдя ближе, я увидел, что отверстия эти гладкие и круглые.

— Лучшего места для хранения вещей не найти, — сказал Думчев. — Мы перед жильем халикодомы, пчелы-каменщицы. Молодые пчелы, пробив крыши своих гнезд и общий свод, улетели. Сейчас там пусто, все здесь будет в сохранности.

Думчев взял из моих рук узел, поправил за спиной мешок с картоном и стал легко взбираться на гору. С горы он перебрался на прилепившееся к ней белесоватое сооружение.

Я едва-едва вскарабкался вслед за ним. Все вещи Думчев опустил на длинных веревках в отверстие свода сооружения, а затем заложил отверстие камнями.

— Надеюсь, вы запомните это место? — спросил он.

— Но это невозможно!

— Учитесь топографии у пчел.

— Топографии? При чем тут топография? Здесь инстинкт. Результат миллионов лет приспособления. Но инстинкт слеп! До крайности ограничен, всегда автоматичен!

Я сказал это резко. Но разве я хотел быть резким?

Однако сам я почувствовал, что получилось обидно и назидательно.

Думчев решительно возразил:

— Вздор! Пчела всегда без ошибки находит свое гнездо.

— Да, это так! — уже запальчиво вскричал я. — Но перенесите это же гнездо в сторону, пусть совсем близко, так, чтобы пчела видела его, и она не узнает свое же гнездо. Она возвращается только к тому месту, от которого отлетела. Здесь инстинкт. А вы сказали: человеку надо учиться у пчелы, подражать ей. Ведь это нелепо! В безбрежном океане

человек найдет человека. Разум создал компас и другие сложнейшие инструменты.

Угрюмая складка легла возле губ Думчева. Наступило тягостное молчание. Потом Думчев сказал:

— А все же человек учился у пчелы-халикодомы. Она приготовила цемент. Из цемента построила вот это жилье для своего потомства. Известково-глинистая земля, смоченная слюной пчелы, «схватывается» на воздухе и затвердевает навсегда! — Думчев почти выкрикнул это слово — «навсегда».

По-видимому, он был очень уязвлен моим замечанием, что людям нечему учиться у халикодомы. Я молчал.

Мое молчание он принял за возражение. С каким-то вызовом, не глядя на меня, он продолжал:

— Она, эта скромная пчела-каменщица, преподнесла человеку в дар тайну цемента.

Я попытался возразить Думчеву, но он резко прервал меня:

— Древний человек был весьма наблюдателен. Египтянин заметил: халикодома строит свое гнездо на камне из цемента. И строители египетских пирамид обратились к цементу. В этом они подражали халикодому. Цемент скрепил пирамиды навсегда! До наших дней!

— От некоторых пирамид осталась груда развалин, — возразил я.

При этом я почему-то вспомнил подпись под рисунком пирамиды в одном альбоме по истории древнего Египта: «Не суди обо мне низко по сравнению с каменными пирамидами, потому что меня строили так: глубоко в болото погружали жердь, затем ее вынимали и собирали прилипший к ней ил; из этого ила сделаны мои кирпичи»-Эту надпись одного фараона на пирамиде я прочел вслух Думчеву.

— Знаю, знаю! — сказал Думчев. — Пирамида Асикхиса. Хвастовство не помогло — она рассыпалась. Но раскопки установили, что для скрепления кирпичей египетские строители тоже употребляли известковый вяжущий раствор — цемент халикодомы. У нее учились.

— Сергей Сергеевич, строительство пирамид древними египтянами — дело истории. Уже открыты новые вяжущие материалы — портландцемент, гидравлический цемент. Цемент дал возможность создать новый строительный материал — бетон. Теперь люди строят из железобетона здания, огромные мосты, перекрытия... И вовсе не пчела подсказала изобретение железобетона.

Думчев вслушивался, он повторял едва слышно:

— Железобетон... бетон... гидрав... Не понимаю...

— Согласитесь же со мной, Сергей Сергеевич, — сказал я тихо. — Человеку нечему учиться ни у этой пчелы, ни у других насекомых — у этих живых машин.

— Что? Как вы сказали?

— Все эти насекомые — живые машины! Низшие организмы!

Какой болью исказилось лицо Думчева! И я понял: горькая обида легла между нами.

Мы спустились на землю. Вот и случилось, сказал я себе: не сдержался и причинил боль тому человеку, к которому привязался еще тогда, когда не знал и не видел его. А ведь я так искал, ждал встречи с ним в этой Стране Дремучих Трав! Он спас мне жизнь... А вот я нанес ему обиду.

Я шел вслед за Думчевым. Солнце уже было совсем высоко. Я все хотел сказать, что чувствую себя виноватым перед ним, но не знал, с чего начать.

Когда в воде не тонешь

Шумела речка Запоздалых Попреков, к которой мы приближались, и вот уже из-за деревьев-трав блеснули ее бурливые воды.

— Через речку мы переправимся на плоту. Он привязан здесь, у поворота. На том берегу мы пойдем по следам скарабеев. Настигнем их, отберем вторую крупинку обратного

роста, — сказал Думчев.

Длинными баграми (сухими иглами сосны) мы оттолкнулись от берега и поплыли.

Рядом с плотом плыли огромные водяные чудовища — живые «лодки» с веслами на уключинах.

Опытной рукой Думчев направлял плот к берегу. Вдруг мне послышалось, что недалеко кто-то ударяет веслами по воде. Оглянулся и... засмотрелся. Рядом с плотом плыли огромные водяные чудовища — живые «лодки» с веслами на уключинах. Эти «лодки» с большими пристальными красными глазами то высматривали что-то в воде — замирали и двигались очень медленно, то сразу устремлялись вперед. Весла, обросшие щетинками, били по воде, и с неизмеримой быстротой «лодки» неслись по глади реки. Гибель наша была бы неминуема, если бы хоть одна из «лодок» задела на ходу наш плот — он мгновенно перевернулся бы.

— Наблюдайте! Гладыш — прообраз весельной лодки. Задние ноги этого водяного насекомого — весла — держатся точно на уключинах, и концы их покрыты щетинками. Сильнее толкайте плот! — крикнул Думчев. — Гладыш настигает!

И почти тут же волна окатила нас. Плот закачался, завертелся. Думчев перебежал на другой конец плота. Равновесие трудно было восстановить. Плот сильно заливало водой. Он накренился, и один его край ушел под воду. Думчев выровнял его.

Опасная минута прошла. Думчев спокойно говорил, работая багром:

— Кто знает, не подсмотрел ли первобытный человек, как передвигается по воде гладыш? Посмотрел — и научился делать весла с уключинами...

Думчев не договорил. Толчок снизу! Плот встал отвесно, и мы оба оказались в воде.

Волны захлестывали нас и относили в сторону.

— Гладыш рядом! Нырять!

И Думчев исчез под водой. Я нырнул за ним.

Видение ли это? Под водой предо мной возник необычайный хрустальный терем. В этом тереме, на стволе какого-то дерева, спокойно сидел Думчев и знаками приглашал меня к себе.

Нет, это не видение! Вот и я оказался под прозрачным, точно хрустальным колоколом.

«Аргиронета! Серебрянка!» — сообразил я, вспомнив все, что читал о подводных аэростатах в записках Думчева.

— Дышите здесь спокойно, как на земле, — услышал я ровный голос Думчева, когда устроился рядом с ним на стволе.

Я стал осматриваться. Сквозь прозрачную оболочку терема, в котором мы сидели, я видел, как толстые стволы незнакомых мне подводных деревьев тянулись со дна речки, сплетались, переплетались, дрожали в зыбкой воде и уходили ввысь. Длинные боковые стебли стлались по течению, точно уплывали куда-то далеко-далеко.

Видно, мало стало места на земле могучей растительности Страны Дремучих Трав, и она ринулась в воду.

Вдруг за густыми переплетами водорослей, совсем недалеко от нас, я увидел горящие глаза. От ветки к ветке, от ствола к стволу потянулись канаты.

Мы сидели на сучках подводного дерева, скрепленных паутиной, и наблюдали странную, прихотливо-разнообразную жизнь подводного царства. Меж стволов, стеблей и ветвей мелькали тени каких-то животных. То плавно, то резко они рассекали воду.

— В этом колоколе мы можем пребывать спокойно, — сказал Думчев. — Понимаете ли вы, что это сооружение спасло нас от беды? Водолазный колокол, — указал он на сетку, сотканную аргиронетой из паутины, — паук постепенно освобождает его от воды и заполняет воздухом. Каждый пузырек воздуха, прикрепленный к паутине, вытесняет, как это известно из физики, равный объем воды. Теперь вы не сомневаетесь, что человеку незачем было мудрить там, где был перед ним уже готовый образец природы?

«Что за вздор!» — хотел я сказать. Но вспомнил наш недавний разговор о цементе, вспомнил об обиде, которую нанес Думчеву, и промолчал.

Он снова обратился ко мне, но я сослался на свое незнание водолазного дела.

Вынырнув из колокола, мы всплыли на спокойную гладь воды. А потом с большим трудом вскарабкались на обрывистый берег.

— Итак, начинаем охоту за скарабеями, — сказал Думчев. — Ведите же меня туда, где в последний раз видели скарабеев с шаром, в котором была крупинка.

Я всматривался, размышлял.

— Видел я скарабеев два раза. Один раз, когда они закатали крупинку в шар, покатали этот шар за грядой холмов, а другой раз на этом берегу. С крутого обрыва я и свалился в речку.

— Где же вы свалились? Укажите место. Я повел Думчева вдоль берега:

— Там был обрыв... изгиб... поворот реки, — говорил я.

Думчев привел меня на крутой обрыв:

— Это было здесь? Или, может, вон там, у того изгиба? Там тоже обрыв. Или налево — у поворота реки?

Я не знал, что ответить. Все обрывы и изгибы реки были для меня здесь схожи.

— Не смущайтесь! Укажите мне хоть направление, по которому вы из леса пришли к речке, — сказал Думчев.

Я повел было Думчева в ту сторону, где какой-то куст и стоящее рядом с ним дерево показались мне знакомыми. Подошел поближе и увидел, что ошибся. Проплутав по берегу, я убедился, что мне не найти того места, откуда я свалился, спасаясь от скарабеев.

Но мог ли я отказаться от поисков крупинки, цена которой — возвращение в большой мир? И в эту минуту я подумал, что здесь, на берегу, возможно, были совсем другие скарабеи. А похитители остались там, за грядой холмов. Предположение неожиданное и ничем не обоснованное. Но расстаться с этим предположением не мог, а может быть, не хотел: оно меня успокаивало, выводило из мрачного состояния. И я поверил в собственную выдумку.

Своими мыслями я поделился с Думчевым. Он посмотрел на меня пристально и внимательно:

— Вы предлагаете поход за грядой холмов? Хорошо. Я согласен.

Неожиданные вопросы Думчева

Чем дальше мы шли, тем больше я начинал раздумывать: ведь Думчев собирается раздобыть чернила и, видимо, остаться в Стране Дремучих Трав, продолжать исследования и заново писать свой дневник. Все это тягостно, непонятно. И почему он уклоняется от разговора о главном, о возвращении? Почему не спрашивает о моих дальнейших намерениях?

Наверное, вид у меня был понурый и растерянный. Я об этом догадался потому, что Думчев с беспокойством часто оборачивался и поглядывал на меня. Он остановился и, желая отвлечь меня от мрачных мыслей, сказал:

— Вы, конечно, знакомы с нотной грамотой?.. Так знайте: уже подсчитано количество ударов крыла насекомого в минуту.

Я не сразу понял, о чем он говорит.

— Слышите? Летит пчела... Она издает при полете звук... Прислушались?

— Ля!

— Правильно. И это соответствует четыремстам сорока двойным колебаниям в секунду. Прислушайтесь же к новым звукам.

— До!

— Этот звук соответствует тремстам тридцати колебаниям крыльев пчелы в секунду: Не четыреста сорок, а триста тридцать, на сто десять, меньше. Пчела, видно, сильно

утомлена. В Стране Дремучих Трав, закрыв глаза, я в любую минуту по звукам знаю всё, что делается вокруг меня: утомлены ли, обеспокоены, ли обитатели, летят ли с ношей или налегке, куда направляются. Здесь я проверил таблицу высоты звуков, производимых разными насекомыми. С таблицей я ознакомился еще давным-давно, в лаборатории. Насекомые взмахами крыльев рожают разные звуки. Частые взмахи — одной высоты, редкие взмахи — другой. Еще с детства я научился определять высоту звуков различного тембра. Ведь всякий музыкант сразу скажет, какой высоты ноту взяла певица или певец. Здесь все это мне пригодилось. Крылья здешних обитателей! Что может быть интереснее и поучительнее для людей, чем наука о крыльях и полетах!

Думчев, резко повернув в сторону, повел меня к полянке, видневшейся сквозь чащу трав. К дереву на краю полянки было привязано крылатое существо.

Думчев подошел поближе и начал объяснять. В рассказ вплетались воспоминания о его первом, единственном, давнишнем полете на ярмарке.

— Вот видите, видите! — говорил он. — Вот как надо строить машину для полетов в воздухе! Это стрекоза с двумя парами крыльев: одна пара расположена немного выше другой. Каждая пара крыльев у стрекоз развивает как подъемную, так и тяговую силу. Эти крылья не только поддерживают, но и двигают аппарат. Даже слабое движение длинных крыльев развивает большую тяговую силу. Эту сильную стрекозу называют «коромысло».

Думчев отвязал стрекозу. Она сразу взлетела и исчезла из виду.

— Что, хороша в полете? Смотрите, вот еще одна такая же на привязи. Передняя лобовая часть крыльев — жесткая, а задняя — гибкая. Таким образом, крыло автоматически меняет угол встречи с потоком воздуха, в зависимости от того, куда направляет стрекоза свой полет: вверх, вниз, вправо, влево. Что, хороша?

Думчев вопросительно поглядывал на меня

Я молчал. Он по-своему понял мое молчание.

— Удивлены? А теперь я покажу вам нечто непревзойденное. Видите, вот другая стрекоза — из семейства либеллюла. Смотрите, как распластаны ее широкие крылья. Это весьма проворный и самый мощный летун. А размеры крыльев! Размеры!

Я прикинул: размах крыльев был вдвое больше самого насекомого. Но меня поразила окраска. И я сказал:

— Какая серьезная и добротная окраска! Задняя пара крыльев имеет при основании широкую темно-коричневую полосу того же цвета, что тело...

Думчев прервал меня:

— Вы дитя, что ли? Не на окраску смотрите, а следите за полетом. Видите, она отдыхает. Сидит, но к полету готова. Она держит крылья в горизонтальном положении. Готова всегда... Сидит против ветра! Итак, в полет! — крикнул Думчев.

Развязав узлы канатов, он толкнул стрекозу своей саблей — жалом осы. Либеллюла взлетела. Это был не полет. Это была головокружительная, но вместе с тем грациозная игра в воздухе.

— А ловкость, ловкость-то какова! А мощь!.. Теперь глядите! — воскликнул Думчев.

Действительно, было чем восторгаться. Стрекоза, преследуя какую-то добычу, перевернулась на миг спинкой вниз. Затем резко выровнялась, последовал поворот за поворотом, и она схватила добычу.

— Сергей Сергеевич, — начал я, — все это интересно, но...

Я хотел было рассказать о современной авиации, о том, что человек уже обрел крылья и стал хозяином воздуха, но Думчев не дал мне вымолвить ни слова.

— Пусть же люди учатся построению своих летательных машин у стрекоз! — назидательно закончил он.

«Сегодня же вечером, — подумал я, — надо будет рассказать обо всем, что произошло в нашей стране за годы его отсутствия... О нашей великой революции, о могучем движении науки вперед, о сказочном скачке техники... Надо сделать это осторожно, постепенно. Он

будет ошеломлен, огорошен, потрясен услышанным. Ведь многое, что он собирается принести в дар Родине, уже найдено, открыто, изобретено, изучено...»

Мы начали подниматься на пологий холм.

— Видите? — спросил Думчев и остановился на самой вершине холма.

— Вижу. Два туманных полукруга в воздухе. Вот они висят в одном месте, а вон и в другом месте два таких же полукруга. Странное явление...

Думчев усмехнулся:

— Эти два полукруга образуются крыльями насекомого, работающими безотказно, с определенной быстротой. Присмотритесь получше...

— Они, эти мухи, не летают, а... — начал я.

— Договаривайте, договаривайте! — крикнул Думчев.

— Они стоят в воздухе!

— Да, мухи висят в воздухе! Они останавливаются в любой точке воздушного пространства.

— Птицы летают... — начал было я.

— Что птицы! — махнул рукой Думчев. — Птицы только и умеют летать, планировать и падать камнем вниз.

— Пикировать, — подсказал я, подумав о пикирующих бомбардировщиках.

— Что? Пикировать? Странное слово... — сказал он в раздумье и улыбнулся иронически. — Учиться у птиц! Не придется ли тогда чересчур мудрить? Навесить летательному аппарату хвост... Придумать тяговое устройство.

— Пропеллер, — подсказал я. — Воздушный винт.

— Не понимаю... Вся тайна полета — только в крыле. Крыло! Тут и подъемная сила, и сила тяги, и управление. Этому научит человека не птица, а стрекоза, пчела, муха! Они выключают то одно, то другое крыло — и сразу резкий прыжок в сторону, вверх, вниз. А если надо, висят в воздухе. Почему же ты, человек, не присматриваешься, не копируешь механику их полета?

Я не сводил глаз с насекомых, стоявших в воздухе.

— Как их зовут?

— Сирфы, — ответил Думчев. — Личинки сирфов питаются тлями. Для них я тут развел колонию тлей. В воздухе могут стоять и бабочки-бразники и многие другие насекомые...

Что ж, и сейчас, как и прежде, Думчев показывал мне то, что людям уже много лет известно. Да, он хочет изумить мир открытиями, которые давно уже открыты. Вертолеты, висящие на месте... Реактивные самолеты... Об этом я пока ни словом не обмолвился, сдержался, вспомнив, как я невольно обидел Думчева в разговоре о цементе и когда назвал обитателей этой страны «низшими организмами».

Но разве можно сравнивать насекомое, стоящее в воздухе, с вертолетом? Впрочем... Вертолет висит в воздухе, это правда, но он висит совсем иначе, чем насекомое. Винт вертолета вращается в горизонтальной плоскости — и вертолет висит. А насекомое, стоя в воздухе, свободно и легко машет крыльями. Не начинается ли здесь путь к неожиданным открытиям? Так, может быть, Думчев в чем-то и прав?

И я не удержался и сказал:

— Самолеты, созданные людьми, летают со скоростями в восемьсот, тысячу и больше километров в час.

Думчев остановился. Внимательно посмотрел на меня и, мне показалось, побледнел. Через мгновение он усмехнулся и хитро сощурился:

— А вы, батенька, оказывается, мечтатель и мистификатор! «Самолеты!» Гм... гм... Словечко неплохое придумали. Ну ладно, допустим... Но не считаете ли вы меня таким чудачком, который советует человеку во всем копировать насекомое? Поймите меня правильно! Когда я говорю: человек, учись у обитателей Страны Дремучих Трав, я разумею только одно: человек, вникай, познавай, изучай природу, травы! Наклонись! Взгляни на то,

что ты топчешь ногами. Не будь высокомерен! Вот ваши фантастические самолеты летают в час... С какой скоростью?

— Пятьсот, семьсот, тысячу и больше километров...,

— Плохо! Извольте учиться у шмеля, у мухи! — воскликнул Думчев. — Шмель пролетает в минуту расстояние в десять тысяч длин своего тела. Посчитайте, сколько же своих длин покрывает в минуту ваш самолет?

Думчев выжидательно и хитровато смотрел на меня.

Я стал считать в уме: принял длину самолета в десять метров, и получилось, что самолет покрывает в минуту свою длину тысячу шестьсот — две тысячи раз. Феноменальное отставание от шмеля! Тогда я принял длину самолета в сто метров, и при этой же скорости оказалось, что в минуту самолет покрывает только сто шестьдесят — двести своих длин. А шмель — десять тысяч. Десять тысяч!

Конечно, нельзя сравнивать насекомое и машину — мир живой и мир техники. Дело еще и в том, что мелкие и мельчайшие размеры насекомого ставят его в очень выгодные аэродинамические условия. А если «увеличить линейные размеры тела насекомого, то вес его возрастет в геометрической прогрессии, иначе говоря — простое увеличение насекомого, скажем, в десять или сто раз ничего не даст, так как нагрузка увеличится в 103 или в 1003 раз.

А Думчев говорил:

— Комар, простой комар одним движением — только одним движением! — ударяет всей шириной поверхности крыла сверху вниз. Кажется, просто. А построил ли человек летательный аппарат с машущим крылом?

И опять я не знал, что ответить.

— А научились ли люди у насекомого, — говорил Думчев, — строить такие аппараты, чтобы они, как насекомое, отбрасывали крыльями токи воздуха в любом направлении и умели подниматься на них под любым углом и с любой скоростью? Отвечайте: додумались ли вы до таких самолетов?

И на этот вопрос я не знал, что ответить. Промолчал.

И тогда тихо и просто Думчев сказал:

— Нет, не этот молодой человек расскажет людям все, что он здесь видел... О, если бы я сам мог явиться к инженерам: смотрите — вот чертежи!.. Вчера случайно я нашел то, что, кажется, поможет поставить опыт...

«О какой находке говорит Думчев?» — с недоумением подумал я.

— Пойдемте же к гряде холмов за второй крупинкой! — сказал я, сделав вид, что не слышал его странной последней фразы.

— Да, да, надо идти, — ответил Думчев. Но подъем будет трудный. Подождите здесь. Я сейчас вернусь.

Расплата за обед

Я остался один. Задумался, глядя на чашу леса трав.

Из-за густого широколистного дерева показалось странное животное, как бы составленное из двух баллонов. Зверь направился прямо на меня. У него два огромных глаза. Каждый как бы мозаика из шести маленьких глаз. Огромные усы на ходу ощупывали все. Челюсти устрашающие, саблевидные. Все движения животного резки и неожиданны. Кто бы это мог быть?

Фасеточные глаза. Три пары ног. Да это муравей!

Легко трогая своими усами все попадавшееся на пути, муравей неожиданно свернул влево. Побежал. Интересно, куда и зачем он так деловито направился?

Довольно ловко муравей взобрался по стволу дерева на гигантский лист. Я полез за ним на нижний лист — на большое, мохнатое, слегка покачивающееся полотнище. Возможно, это лопух. Запрокинув голову, я увидел, как, тесно прижавшись друг к другу, приникли к нижней поверхности листа травянисто-зеленые толстенькие животные. Иногда одно из них повисало на шести слабеньких, тоненьких ножках, а затем снова прижималось к листу и упирало свой острый длинный хоботок в его сочную мякоть.

Животные поглощали соли листьев. На моих глазах эти существа становились все толще и толще.

Да ведь это тли! Здесь предо мной гигантский завод сахара, или, вернее, сахарного сиропа.

Тля! Бывают бархатно-черные тли, бывают прозрачно-желтые или, как здесь, травянисто-зеленые. Тля, ничтожество — так говорят в народе. Тли никогда, ни от кого, ни при каких условиях не защищаются. У любой особи животного мира есть друзья, есть и враги, есть средства защиты. А тли? Они ленивы и ко всему одинаково равнодушны. И так же равнодушны к своей судьбе. Тля поглощает хоботком сок из мякоти листа, наполняет свое брюшко сахарным сиропом. Вот и всё.

«Испарина неба», «Слюна звезд» — так свыше двух тысяч лет назад римский ученый Плиний-старший назвал сладкую росу, которая иногда падает, точно с неба, на людей, стоящих под деревом. Небо безоблачно, солнце в зените. Откуда же эта роса? Потом все разъяснилось — это работа тли. Они оставляют липкие капельки «медвяной росы» на листьях деревьев. Движениями ножек они отбрасывают капельки сиропа. Легкое дуновение ветерка — и «медвяная роса» падает на землю.

Следуя за муравьем, я оказался на территории своеобразного сиропно-сахарного завода.

Темный муравей быстро перебежал от одной тли к другой и очень бережно трогал своими усиками круглое брюшко то одной, то другой зеленой толстой скотинки. Она приподнималась. На заднем конце брюшка вдруг выступала, блестя на солнце, круглая капелька прозрачной жидкости. Муравей жадно глотал эти капельки. Но вот он, видимо, насытился. Осторожно перешел с листа на ствол, а со ствола стал ловко спускаться на землю. Я свесил голову со своего листа и смотрел ему вслед. Но вот показался другой муравей. Он прикосновениями своих усиков остановил первого муравья. Сытый муравей присел на задние ножки и, вытянув голову вперед, выпустил изо рта каплю сиропа. Голодный потянулся к сытому — часть сиропа перешла к голодному. Сюда уже спешили другие муравьи. Первый муравей, побывавший у тлей, стал «выдавать» каждому из них немного сиропа.

Все это было очень забавно. Но и я хотел есть. Быть на территории сахарного завода и остаться голодным? Нет, так нельзя. Почему бы мне не отведать этой же пищи? Подойти бы поближе к зеленым коровкам.

Очень долго я полз, тянулся к месту, где оба листа, верхний и нижний, почти соприкасались. Лист-полотнище трепетал, колыхался. Одно неверное движение — и скачусь, полечу вниз.

Но все же я добрался.

Теперь тли были почти рядом.

Я тронул рукой одну толстую скотинку. Тронул раз, другой. Совсем как муравей. Она немедленно предоставила мне большую каплю жидкости, сладкой и ароматной.

Так я переходил от одной к другой, все более и более восторгаясь вкусом этого чудесного сиропа.

«Неужели Сергей Сергеевич Думчев не вкушал сей сладчайший напиток? — весело подумал я и решил: — Пора спуститься на землю. Возможно, Думчев уже вернулся. Приглашу его на пир. Впрочем, еще один глоток...» Сильный, резкий удар в темя свалил меня с ног. Я заметался по огромному полотнищу листа. Два муравья наскочили на меня.

На большом тракте

Один из муравьев потащил меня с листа на ствол, а со ствола — прямо вниз. Другой муравей догонял нас. Если бы этот второй муравей, ростом поменьше, действительно помогал первому — мне бы несдобровать. Но все дело в том, что он точно задался целью мешать своему товарищу. Он то забежал вперед и тащил меня обратно — вверх по стволу, то, становясь поперек дороги, подставлял свою спину, чтобы принять всю тяжесть моего тела непременно на себя. Всем этим он очень мешал большому муравью. Я быстро разобрался в этой сумятице.

Марк Твен описывает, как два муравья, найдя ногу кузнечика, волокут ее домой:

«После каких-то совершенно превратных умозаключений они берут ногу за оба конца и тянут изо всех сил в противоположные стороны. Сделав некоторую передышку, они совещаются. Оба видят, что что-то неладно, но что — не могут понять. Снова берутся за ногу — результаты по-прежнему те же. Начинаются взаимные пререкания: один обвиняет другого в неправильности действий. Оба горячатся, и наконец спор переходит в драку. Они сцепляются и начинают грызть друг друга челюстями и катаются по земле, пока один из них не поранит руку или ногу и не остановится, чтобы исправить повреждение. Происходит примирение, — и снова начинается прежняя совместная и бессмысленная работа, причем раненый является только помехой. Стараясь изо всей мочи, здоровый тащит ношу и с ней раненого друга, который, вместо того чтобы уступить добычу, висит на ней».

Кто не наблюдал за жизнью муравьев, за их «работой»!

Были люди, которые считали муравьев высокоорганизованными животными, наделенными почти разумом.

Но прав Марк Твен, говоря о муравье: «Удивительно, как такой отчаянный шарлатан ухитрился морочить столько веков чуть ли не весь мир!» И добавляет: «Муравей хорошо работает тогда, когда за ним наблюдает неопытный натуралист, делающий неверные выводы».

Но почему же груз все-таки прибывает по назначению, в муравейник? Только потому, что каждый муравей, хотя и мешает своему соседу, все же тащит груз к родному гнезду. Таким образом, какое-нибудь зерно, влекомое муравьями в муравейник, движется по самой прихотливой кривой: то вперед, то назад, то направо, то налево. И все время это зерно кружится и переворачивается.

Все это я вспомнил, когда муравьи тащили меня куда-то, и стал лихорадочно соображать: как мне от них отбиться?

Вот один из муравьев столкнул меня со ствола вниз, но я мгновенно уцепился за какой-то бугорок на стволе и сразу же вытянул ногу, за которую меня и схватил другой муравей. Схватил, потащил вверх и тем самым удержал от падения на землю.

Так, каждое мгновение принаравливаясь к нелепостям их «взаимной помощи» я «помог» муравьям весьма бережно, осторожно спустить меня на землю.

Только тут я заметил: к кустам, на которых паслись стада тлей, пролегла торная муравьиная дорога. По-видимому, она тянулась до муравейника. Дорога была покрыта быстро снующими муравьями — они спешили к тлям.

Похитители волокли меня по хорошо протоптанному тракту. Здесь к ним подоспело еще несколько муравьев.

И тут я увидел: за деревьями-травами движутся два больших блестящих жука. И показалось мне, что они тянут на веревках красное бревно с гигантскими золотыми буквами... «Пионер ЗМ» — прочел я и подумал: «Тяжкий сон!»

Муравьи подхватили и потащили меня по земле.

«Надо выиграть время, — сказал я себе. — Либо Думчев вернется и выручит меня, либо я сам что-нибудь придумаю».

Я взглянул на своих похитителей и не мог не рассмеяться. Ведь все, что происходит со мной, прежде всего смешно.

Весьма несложная задача была предо мной: мешать муравьям, которые влекут меня к муравейнику, и помогать тем, которые тянут в сторону.

И тут пошла потеха. Я помогал то одним муравьям то другим. Таким образом, я побывал и у одной обочины дороги и у другой. Потом снова оказался на муравьином тракте.

Чем больше муравьи «помогали» друг другу тащить меня, тем легче мне было мешать им: я то двигался вперед, то уходил обратно, то усаживался на чью-нибудь спину.

Но я понимал: они тащат меня все-таки в муравейник. В тот миг, когда я окажусь там, начнется самая страшная из пыток.

На миг мне представилась картинка из одной старой книжки по природоведению. «Африканские муравьи-кочевники, нападающие на рогатую гадюку» — такова была подпись под картинкой, где тьмы и тьмы муравьев уничтожали извивающуюся в корчах змею.

Да, мне несдобровать!

Спина болела, руки были исцарапаны.

Но что там впереди? Холм-муравейник! Хоть и очень медленно, но все же меня волокут к нему. Я был в отчаянии.

Я почувствовал: силы мои в этой игре мало-помалу истощались. Холм-муравейник все приближался.

«Ламехуза спасет!»

Вдруг я услышал крик:

— Держитесь! Ничему не удивляйтесь!

Похитители волокли меня по хорошо протоптанному тракту.

Это кричал Думчев. Он, по-видимому, вернулся и, не застав меня на месте, поспешил на помощь.

— Сергей Сергеевич, что делать?

— Берегите силы!

— Муравейник... Туда.. туда волокут!

— Понимаю! Вижу! — кричал Думчев. — Ничего, уступите муравьям! Все равно, муравейника вам не избежать!

— Там гибель!

В этот миг муравьи толкнули меня в другую сторону, и я не расслышал ответа Думчева.

— Сергей Сергеевич! Смотрите... Смотрите... Что делать?!

— Ламехуза спасет вас!

— Кто?

— Ла-ме-ху-за! — донеслось до меня.

Я не понял этого слова. Но не до расспросов мне было. Думчев куда-то скрылся. Потом он появился вновь, в стороне от тракта. Он гнал перед собой длинной палкой какое-то рыжее животное с продолговатой головой и с длинными булавовидными усиками.

Странный жучок! Думчев погнал жучка с обочины на дорогу.

— Это ламехуза? — крикнул я.

— Нет! Это жучок-ошупник. Ламехузу ждите! Он толкнул жука к муравьям. Они кинулись на жучка.

Думчев крикнул издалека:

— Пробирайтесь ближе к нему!

— Зачем?

— Потом все поймете!

Жучок подставил муравьям брюшко, а сам похлопывал усиками муравьев, и они

отрыгивали ему пищу. Происходило примерно то же самое, что я видел, когда сытый муравей кормил голодного. Одна ватага муравьев за другой набрасывалась на жучка. Запах эфира распространился в воздухе.

Я послушался Думчева и пробрался к жучку. Муравьи кидались к нему, лакомились эфирно-ароматической жидкостью, которую он выделял.

Муравьи забрызгали меня мелкими кислыми каплями муравьиного спирта. Это меня спасло. Свирепость и натиск муравьев заметно слабели.

Они еще толкали меня, но без прежнего усердия и ярости.

Но что, если кислый запах муравьиного спирта улетучится?

— Думчев! — крикнул я. — Что же дальше?

— Ламехуза спасет вас!.. — донеслось издалека. Огромная, уходящая в небо гора, черная, шевелящаяся, выросла предо мной.

— Муравейник! — прошептал я. И понял: гибель неизбежна!

Тщетно я оглядывался. Думчева не было видно. Последний раз я оглянулся и посмотрел на солнце. Муравьи втащили меня в свой город.

Нахлебники, гости, хозяева

В муравейнике на меня сразу набросились полчища, орды обитателей. Они трогали, щупали меня, но не причиняли никакой боли, отходили.

Совет, который дал мне Думчев, оценил я только в эти минуты, тут, лежа в муравейнике. Запах муравьиной жидкости, которой я был забрызган, обманул муравьев. Их инстинкт был введен в заблуждение. Этот запах заслонил, скрыл от муравьев присутствие незнакомца в их муравейнике.

Не этим ли объясняется, что обильными запасами пищи, заготовленными муравьями для потомства, кормятся в муравейнике разные пришельцы?

Сколько их! Не перечсть!

В муравейнике живут гости самых неожиданных видов. Кого только здесь нет! Пауки, мокрицы, бескрылые и короткокрылые бабочки, тысячи и тысячи незваных нахлебников.

Одни из них ни пользы, ни вреда муравьям не приносят. Другие никогда не нападают на здоровых муравьев, а очищают муравейник от трупов павших муравьев и погибших личинок, пожирая их. Полезная работа! Санитарная очистка муравьиного города. Ее выполняют жучки из семейства карапузиков. Но есть и такие нахлебники, которые приносят хозяевам бедствия.

Вдруг я услышал крик:

— Держитесь! Ничему не удивляйтесь!

Но разве мог я здесь, в первые минуты моего пребывания в муравейнике, думать об этих примерах к курсу дарвинизма! Конечно, нет. Обо всем этом я уже вспомнил много позже.

Еще там, на тракте, когда я был обрызган муравьиной жидкостью, можно было, пожалуй, обмануть муравьев, выбраться из их круга и уйти. Но я этого не сделал: на всем тракте и далеко по обеим сторонам его бродили сотни муравьев, а запах муравьиной жидкости мог улетучиться раньше, чем я достигну безопасного места. И снова муравьи потащили бы меня в свой «город».

Я послушался Думчева и ждал выручки, но начал сомневаться: скоро ли избавление?! Где и как Думчев найдет меня? Как выручит из беды? «Ламехуза спасет...» Не почудились ли мне эти слова? Как тянется время!..

Прикосновения муравьев становились все больше, все чувствительнее. Спасительный запах, обманывавший инстинкт муравьев, по-видимому, начал улетучиваться. Муравьи уже

сильно толкали меня, волокли из одного перехода в другой. Они тянули меня куда-то в недра своего «города». Встать во весь рост я не мог — галереи, переходы, коридоры муравейника были слишком низки. Можно было только сидеть, ползти или идти сильно согнувшись.

Вот я очутился в крошечной движущейся тьме, наполненной разными шумами, шорохами и острыми, одуряющими запахами. Какие-то проходы, комнаты, спуски по глубоким шахтам, снова комнатки.

Когда-то, давным-давно, еще мальчиком, я вместе с другими ребятами разрывал муравейники. Мы как бы рассекали муравейник и видели его в разрезе. Перед нами были галереи, где лежали куколки; комнаты с личинками; комнаты, где были сложены яйца.

Об этом я вспомнил здесь. Как далеко и давно это было...

Я уже перестал думать, что скоро мое путешествие окончится гибелью. Оживали воспоминания. И в темноте я точно видел: стропила и балки — веточки и хвойные иглы — сложены так, чтобы они не обвалились. Эти деревянные части сооружения крепко держатся. По-видимому, они скреплены между собой затвердевшей землей.

Как кружится голова от «этих шорохов и шумов, от непрерывного движения из этажа в этаж! Странная усталость! Я прислонился к какой-то стенке, но муравьи окружили меня и стали теревить все яростнее и злее. Вдруг резкий толчок. Я упал, закрыв голову руками. Но муравьи отпрянули. Что случилось? Не понимаю! Задев, перебегая через меня и толкая, мчались куда-то полчища муравьев.

Слово «ламехуза» разгадано

Крепкий незнакомый ароматический запах ударил мне в лицо. Муравьиный запах был кисловатый и острый, а этот — густой, жирный и пряный. Я открыл глаза и услышал издалека:

— Ламехуза! Ла-ме-ху-за! Я пригнал к муравьям ламехузу!.. Где вы?

Голос Думчева приближался. Но где же Думчев?! Где? Темно! И вдруг я почувствовал крепкое пожатие человеческой руки.

— Дорогой мой гость! Я ведь вам говорил: ламехуза спасет вас... Сюда, сюда, за мной! — кричал у меня над ухом Думчев, увлекая меня.

— Куда? Куда, Сергей Сергеевич?

— Не бойтесь, теперь им не до нас. Здесь у них ламехуза.

— Ламехуза?

— Ах, да! Вы не знаете, что такое ламехуза! Скорей, скорей!

Он схватил меня за руку.

С удивительным проворством, на четвереньках, а иногда ползком, он переходил из галереи в галерею, спускался из одного этажа в другой по почти отвесным ходам.

Царапая колени и ладони, часто стучаясь головой о какие-то перекладки, я спешил за ним.

— Потом, потом вам все объясню. Скорей! Сейчас муравьям не до нас: они начнут пьянствовать.

— Кто?

— Муравьи.

— Пьянствовать?

— Да, да! Чуть ламехуза появляется в муравейнике, как муравьи забывают и о своих личинках, и о куколках, и о работе, и о яйцах, из которых появляется их потомство, — они начинают пьянствовать. Смотрите, смотрите!

— Я ничего не вижу.

— Я подкинул им ламехузу в одну из галерей. Видите: они мчатся мимо нас — туда, в эту галерею. Пряный запах ламехузы их привлекает. Это какое-то наркотическое средство.

Оно приводит муравьев в состояние опьянения. На этот запах муравьи мчатся из всех

уголков муравейника... Ламехуза, как и булавоусый жучок, выделяет пьянящую жидкость. Но напиток этот во много раз пьянее. То место на теле ламехузы, где выделяется эта жидкость, покрыто небольшими кисточками или щеточками из золотисто-желтых волосков различной длины. Муравьи жадно слизывают жидкость, дышат ее испарениями и так пьянеют, что ламехуза спокойно, совершенно безнаказанно начинает пожирать самое дорогое и бесценное сокровище муравейника — яйца, хранящиеся в галереях. Ламехуза пострашнее булавоусого жучка. Это отместка за вас, дорогой мой друг!..

Так говорил Думчев и пробирался куда-то вперед.

Дневной свет уже просачивался в муравейник и слегка освещал путь, по которому мы спешили.

Чуть ламехуза появляется в муравейнике, как муравьи кидаются к ней.

У ворот города

Мы были уже близки к выходу из города муравьев: В галереи проникал свет.

— Теперь осторожнее, — сказал Думчев. — Там, у выхода из муравейника, — сторожа!

— Сторожа? А ламехуза? — спросил я.

— К ним, видно, еще не проник ее запах. Муравьи-сторожа стоят за проломами — открытыми воротами муравейника.

— Как же быть?

— Вот вам оружие!

Думчев отломал кусок тонкой балки и протянул ее мне. Это был обломок обыкновенной сосновой иглы.

— А у меня, — сказал он, — мой кинжал, неразлучное оружие, — жало сфекса. Присядем. Вот здесь. Отдохнем. Муравьи пьяны. Но за нами все равно будет погоня. Сторожа будут преследовать нас.

Мы уселись на какой-то выступ стены. Место было укромное, спокойное. Отсюда мы могли следить за сторожами, стоявшими у ворот муравейника. Думчев сжимал в правой руке блестящее коричневое жало сфекса. Говорили мы не спеша. Отдыхали.

— Вот беда была бы для нас, — сказал Думчев, — если бы в этом муравейнике были живые двери!

— Живые двери?

— А разве вы не слышали о живых дверях в муравейниках жарких стран? Там проломы в муравейнике не пропускают света. Муравьи закрывают своими угловатыми клинообразными головами все входы. Такие живые двери, конечно, слегка шевелятся. А есть живые кладовые — медвяные горшки. Это тоже муравьи. Огромное шарообразно вздутое брюшко такого муравья янтарно просвечивает. Оно туго наполнено медом. Так хранят муравьи свои запасы. Эти живые кладовые, конечно, не работают, не выходят из муравейника. Запасы в них пополняются рабочими муравьями.

— Сергей Сергеевич! Здесь я сравнивал этот муравейник с постройками термитов, которых иногда называют белыми муравьями. Помню, когда-то я прочел в одном журнале рассказ, будто дворец какого-то губернатора в Индии в один прекрасный день рухнул, подточенный термитами. Там же упоминался факт, который показался мне занятным: ночью араб завернулся в бурнус и заснул, а когда наутро он проснулся, то увидел себя голым — термиты уничтожили его бурнус.

— Что там бурнус! А вот постройки этих термитов — разнообразны и чудесны. Они очень умело выбирают место для постройки. У них есть подземные города и есть города, высоко поднимающиеся над землей — на семь-восемь метров. При этом каждый такой город построен на свой лад: одни города конусообразные, другие пирамидальные. У австралийских

термитов есть компасные или меридиональные гнезда. В гнездах этих можно различить поперечные и продольные стенки. Эти стенки расположены так, что продольная ось сечения направлена с севера на юг, а поперечная — с запада на восток. Направления эти настолько точно совпадают с компасной стрелкой, что заблудившиеся путешественники, глянув на гнездо термитов, всегда могут по ним ориентироваться. Может быть, термиты так сооружают постройки, чтобы защитить свои города-гнезда от чрезмерного нагревания: продольные стенки представляют наименьшую площадь для накаливания солнцем.

Я с огромным интересом и вниманием слушал рассказ Думчева о термитах.

— А эти муравьи... — начал было я.

— Не следует термитов называть муравьями. Они даже не родня муравьям. Людей поражают размеры их построек. Да, действительно, постройки термитов огромны. Термиты проходят через неполное превращение; их личинки, едва покинувшие оболочку яйца, уже до некоторой степени походят на взрослых насекомых. А наши муравьи претерпевают полное превращение. Из яйца выходит личинка, но она не имеет никакого сходства с взрослым насекомым: безногое, мешкообразное животное. Оно должно еще претерпеть ряд коренных видоизменений, пройти стадию полного покоя — стадию куколки — и только после этого стать муравьем. Муравьям надо разместить, устроить в своем «городе» и накормить все это потомство: яйца, личинки, куколки... Ходов, переходов, комнат, комнаток, галерей и этажей в муравейнике неисчислимое количество.

Думчев замолчал. Там, у входов, двигались муравьи-сторожа.

— Теперь пора!

Я сжал свое оружие в руке. Мы кинулись прочь из муравейника.

Стрельба картечью

— Не оглядывайтесь! — услышал я за собой голос Думчева.

Мы уже промчались мимо муравьев-сторожей и очутились на какой-то тихой тропинке в стороне от муравьиного тракта.

Помню резкий шум, который оглушил меня, когда мы выбежали из муравейника. Помню, как я отмахивался своей пикой — обломком сосновой иглы — от сторожей, ударил одного, другого, прыгнул через камни и очутился наконец на спокойной и тихой тропинке.

Думчев догнал меня:

— Скорей за мной! Погоня!

Действительно, муравьи не отставали от нас, почти настигали.

Впереди — песчаный косогор. Думчев ступил было на край косогора, но вдруг схватил меня за руку и круто взял в сторону:

— Подальше! Подальше от края!

Обогнув косогор, мы очутились у его противоположного края. И этим обманули муравьев.

Муравьи-преследователи появились на том самом крае, от которого мы свернули в сторону. Они бежали гуськом один за другим.

— Сергей Сергеевич! Вот... вот муравей... Совсем близко!..

— Картечью! — вдруг яростно крикнул Думчев. — Картечью!

«Какая нелепость! — мелькнуло у меня в голове. — Шутка? Чудачество? Или безумие?»

— Картечью! — почти прохрипел Думчев. — Залп! Картечью! — командовал он.

И тут случилось нечто для меня непостижимое. Град камней бил по нашим преследователям. Снова и снова слышалось:

— Картечью! Картечью!

И снова и снова песчаные «ядра» поражали наших врагов. Откуда? Как? Кто заступился и выручил нас?

Я видел то самое животное, о котором писал Думчев в своих записях, — муравьиного льва.

Я ничего не понимал, но видел, как муравьи-преследователи, осыпаясь песком, срывались с откоса, катились и падали в какую-то яму. А оттуда, из этой ямы, снова и снова взметались песчинки-камни, каждая величиной с голову муравья, взметались и били по врагам.

Новые муравьи устремлялись к косогору, но каждый преследователь, добежав, не мог удержаться на отвесном крае — град песчинок сбивал его с ног, земля под ним осыпалась. Он падал, снова карабкался, но опять песчаный град обрушивался на него, и муравей летел в ту самую яму, откуда некто по команде Думчева стрелял в наших преследователей.

Я был поражен и недоумевал.

Думчев хитро поглядывал на меня и хохотал. Но, когда кончился обстрел и ни одного преследователя не оказалось в живых, он взял меня за руку и бережно подвел к тому песчаному обрыву, из которого шла пальба.

— Смотрите!

И я увидел то самое животное, о котором писал Думчев в своих записях-листочках, — муравьиного льва, погубившего «верблюда» (паука-волка), который нес дневник.

Тайна песчаного косогора

Неуклюжая, толстая, плоская голова торчала из песка. Челюсти словно рога, острые и длинные. Чудовище точно спряталось в песке, выставив напоказ только свою удивительную большую голову.

— Наш спаситель! — сказал Думчев.

— Точный и меткий обстрел!

— Да, личинка муравьиного льва. Хищное насекомое. Оно проходит ряд превращений, чтобы в конце их появиться в виде вяло порхающего насекомого, внешне схожего со стрекозой.

Я слушал Думчева. Но все еще видел перед собой, как муравьи катились в логово чудовища.

Лицо Думчева было сосредоточенным и грустным. Он рассказывал о муравьином льве, но все время словно думал о чем-то другом. Я понял: Думчев вспоминал своего «верблюда».

— Муравьиный лев, — говорил Думчев, — владеет и артиллерийской сноровкой, и инженерным мастерством. Он соорудил эту воронку так, что сбитый с ног муравей непременно должен свалиться вниз.

Мы отошли в сторону. Я посмотрел на Думчева. Его большие серые глаза вдруг оживились. Он остановил меня и воскликнул:

— Скажите, как вы попали в город Ченск?

Я смутился. Я ждал этого разговора, готовился к нему, но вместе с тем он страшил меня... Сколько надо рассказать! Как изменилась Россия!

Я нехотя сказал:

— Поездом... — и вспомнил: мой билет на скорый поезд в Москву пропал.

— Так вы приехали поездом, а потом на лошадах, по тряской дороге. Стучат по шпалам колеса... И бывает так, что поезд летит под откос...

Я сухо заметил;

— Инженеры построили насыпи с точными математическими расчетами. А грунтоведы вычисляют угол естественного откоса для каждого отдельного случая.

— У вас там математика. А здесь вот муравьиный лев без всякой математики так строит

в песке воронку, что стоит одному муравью — лишь одному муравью! — пройти по краю воронки — равновесие насыпи уже нарушено. Понимаете: тяжесть тела одного муравья — и вдруг рязверзается пропасть! Бездна! А вы говорите: вычисления... инженеры... грунтоведы... угол естественного откоса... Муравей ступил на край — песчинки покатались, и ему уже не выкарабкаться. Тут ошибок не бывает. Построит муравьиный лев свою воронку чересчур пологой — муравей выкарабкается, картечь не сшибет его, и хозяин воронки издохнет с голоду. А если чересчур отвесная воронка — пройдет по ней муравей, получится обвал, и песок засыплет хозяина воронки. Нет, тут все точно! Мастерство-то какое!

Я уже знал о муравьином льве из листов Думчева, но внимательно слушал.

— А как эта воронка делается? Спирально. Муравьиный лев ходит по кругу, ножкой захватывает песок, кладет на голову и выбрасывает его. Так он проходит один круг, затем второй, более узкий. Круги все уменьшаются и уменьшаются. Получается перевернутый конус. В самый низ песчаной воронки зарывается лев.

— Поразительный инстинкт! — сказал я Думчеву. — Насекомое решительно не понимает и не знает, что делает, и действует, как хорошо налаженная машина.

— Налаженная машина? Обитатели этой страны — машины? — переспросил Думчев, размышляя, по-видимому, о чем-то другом и все ускоряя и ускоряя свои шаги.

Часть шестая Воздух ушедших минут

Живая лаборатория

Озадачить ли хотел меня Думчев, показать ли мне то, что открыл он в этой стране, или, может быть, моя рассеянность сыграла со мной шутку? Не знаю!

Началось вот с чего. Думчев вдруг скрылся. Мы шли к песчаной гряде холмов. Думчев круто повернул вправо и исчез.

Это было в густых зарослях. Я сделал несколько шагов, раздвигая кусты, и очутился на поляне. Здесь я решил дожидаться Думчева. Но едва я ступил на поляну, как на меня двинулось какое-то странное животное о трех хвостах...

Я отбежал, остановился. Сомнений нет — это червь. Но три хвоста! Вот что меня удивило.

— Сергей Сергеевич! — звал я. Ответа не было.

Я сделал несколько шагов и снова изумился. Что это? В воздухе около меня кружило какое-то животное. Вдруг оно село, заслонив мне дорогу. Я испугался. Потом понял: бабочка. Да, но бабочка без головы!

Неожиданно появился Думчев.

— Вижу, вы удивлены...

— Куда я попал?

— Вы на поле, где я произвожу операции.

— Операции?

— Да, операции! И вы уж не станете думать, будто медицине нечего заимствовать, изучая физиологию обитателей этой страны. Вы удивлены? С меня довольно.

— Ничего не понимаю...

— Здесь вы увидите результаты моей хирургии. Я проверил и убедился на опытах, что отдельные части организма насекомого еще живут и тогда, когда другие части-насекомого погибли. Вот куколки бабочек. Я срезал им головы, и все же каждая из куколок заканчивает свое развитие и превращается в настоящую бабочку, но без головы. И живет без головы. Но проживет она недолго... А ты? — обратился он вдруг к странной, ползавшей по листу пчеле. — Беда с тобой: не хочешь держать на своих плечах чужую голову! Довольно,

перестань чистить усики! Этак голову себе оторвешь... С пчелой плохо! — обратился Думчев ко мне. — Сама же не дает прирасти к своим плечам чужой голове.

— Удивительно!.. — растерянно проговорил я.

— Что тут удивительного? Пойдемте — еще кое-что покажу. А кстати, знают ли наши физиологи... — начал Думчев.

— Позвольте! — воскликнул я. — Вот опять ползет диковинка — животное с тремя хвостами.

— Не диковинка! Это мой подопытный червь. Я удалил часть ткани из конца его туловища и сделал небольшой эксперимент. Ведь обрубленный хвост у ящерицы отрастает вновь. Нет, это уж не такая диковинка. Я хочу сказать глазным врачам: «Коллеги, задумывались ли вы, почему слепой червь реагирует на свет фонаря? Сделайте из этого вывод. Слушайте! Опыты мои показали...»

Но я уже не слушал Думчева. Я вдруг увидел что-то совсем неведомое, столь презанятое, что воскликнул:

— Кто они, эти... красавцы?

К стеблям-деревьям были привязаны три примечательных кузнечика: серый с зеленой головой, зеленый с серой головой и кузнечик с головой сверчка.

— Помог им всем поменяться головами, — сказал Думчев и осмотрел пациентов. — Операция удалась. Головы прижились, — проговорил он и отвязал насекомых от дерева.

Кузнечики скакнули и исчезли в зарослях. На одну минуту перед нами появился кузнечик с головой сверчка.

— Я ставил здесь опыты, — продолжал Думчев, — и пришел к выводу, что в организме насекомого скрыты неизвестные, не разгаданные наукой силы. Ставишь опыт, оперируешь животное и видишь, как начинается в нем какой-то сложный процессу начинается новая форма существования. При этом один член изменился, другой перестроился, а животное... выживает. Ведь в Стране Дремучих Трав, у обитателей этой страны — у насекомых — вновь восстанавливаются утраченные ими ноги, крылья, усики-антенны, глаза. Мне кажется, что эта поразительная регенерация — восстановление утраченных органов — связана с процессом линяния; с гормоном линьки. Я произвожу опыты над насекомыми в естественной среде, где они живут, прыгают, летают, проходят все стадии развития, питаются, размножаются и умирают. Во сколько раз эти опыты эффективнее, чем в лаборатории! Только проведя эти исследования физиологии насекомых, я смог установить, где находятся формообразующие центры, которые вновь создают утерянные органы.

Я нашел здесь и таких обитателей, у которых вместо одного потерянного придатка вырастает другой, выполняющий совсем иную функцию. Известно, к примеру, что у палочника, потерявшего усик-антенну, вырастает иногда... лишняя нога. Какой-то центр, назову это условно точкой организма, формирует, видимо, создает два придатка: и антенну и ногу. И не всегда этот центр «понимает», что к чему. Как это будет полезно, важно для людей! Как много подскажет физиологам, врачам!..

Думчев остановился около одинокого дерева. Верхушка его была сломана, но не оторвалась, а касалась земли, образуя арку. Думчев, стоя у этой арки, смотрел вдаль.

— Слушайте вы, обитатели Страны Дремучих Трав! Миллионы лет вы хранили, прятали от человека свои тайны. Я их разгадал. Я передам эти тайны человеку!

Кругом нас, куда только достигал глаз, лежала зеленая страна — Страна Дремучих Трав. Она шумела, гудела, ни на миг не утихая. И слова Думчева растаяли, потонули в этом постоянном могучем шуме и гуле.

Мы двинулись вперед.

Чаща трав стала вновь редеть, и вот показалась желтая песчаная гряда холмов.

Не помня себя от радости, я воскликнул:

— Вот здесь скарабей закатал мою крупинку в шар и угнали его за грядой холмов! И она там, непременно там, наша вторая крупинка, возвращающая рост! И мы оба вернемся к людям!

С каким восторгом я почти прокричал эти слова! Но Думчев, казалось, не расслышал их. Он молча глядел в чашу сине-зеленых трав, а потом заговорил. И я помню, хорошо помню каждое его слово.

— Хочу ли я к людям? — спросил точно про себя Думчев. — К людям... — Он закрыл глаза и тихо-тихо стал напевать: — «Буря мглою небо кроет...»

Но песня ему не удавалась. Он помнил не все слова. И опять начинал, и снова сбивался:

— Видите, — сказал Думчев с великой горечью, — любимую песню потерял.

Грусть его была мне понятна. Он ведь так любил музыку, много играл...

Чтобы отвлечь его от печальных мыслей, я сказал:

— Вы вспомните, восстановите и заново напишете там, среди людей, утерянный вами дневник.

Но Думчев не слушал. Он задумался, потом тихо проговорил:

— Войти в дом. Взять с полки томик стихов Пушкина: «Моей души предел желанный...»

— Сергей Сергеевич! — воскликнул я. — Едва я увидел вас, как сразу захотелось сказать: ведь люди... Страна... Все переменялось!.. Все хотел сказать, собирался, но откладывал. И вот сейчас...

— Уже три часа дня, — резко оборвал меня Думчев, подняв голову и посмотрев на цветы. — Вы очень устали. Впереди трудный подъем. Отдохнем. Надо подкрепиться.

Мы уселись у подножия холма. Думчев достал из дорожного мешка шелковую салфетку, деревянную тарелку, деревянные ложки, покрытые лаком, и шагнул в сторону:

— Сюда! Сюда! Вот мои запасы!

Я увидел большую глиняную крынку, врытую в землю. Думчев снял крышку. Под ней была шелковая салфетка, туго перетянутая бечевкой. В крынке оказалась цветочная пыльца, круто замешанная медом. Я, конечно, понимал, что салфетку изготовили шелкопряды. Их много в Стране Дремучих Трав. А лак, которым были покрыты ложки, изготовили червецы. Но никак не мог понять — кто же изготовил эту глиняную посуду? И, держа ложку в руке, не принимаясь за еду, я вспоминал, что такие же крынки падали с деревьев.

— Не смущайтесь, кушайте, — сказал Думчев. — Ведь эти горшки изготавливает из земли оса-эвмен. Смачивая глинистые комочки своей слюной, она ловко лепит гнездо для будущего потомства. Она охотится, парализует пауков и гусениц, укладывает их в горшки. На эту свежую пищу оса откладывает яичко и закупоривает бочку землей. Так и висят эти глиняные крынки на ветвях кустов. Из яйца выходит личинка осы, кормится заготовленной для нее свежей пищей, развивается. А когда превратится во взрослое насекомое, выбирается из своего глиняного гнезда и улетает. Пустые горшки падают на землю.

Я был очень голоден и слишком поспешно, суетливо и жадно ел. Думчев, как всегда, сохранял свой обычный вид, полный достоинства и сосредоточенности.

— Скарабеи... скарабеи... Что нужно человеку, чтобы выточить шар, сделать его ровным, геометрически правильным? — спросил вдруг Думчев, думая, наверное, о крупинке.

Я не успел ответить.

— Знаю, знаю! — продолжал Думчев. — Вы скажете — нужен токарный станок. Надо сочетать вращательное движение обрабатываемого предмета и поступательное движение инструмента, снимающего стружку. А скарабей делает свой шар круглым и правильным, даже не сдвигая его с места. Он его строит: сидит на верхушке комочка навоза — основы будущего шара. Поворачиваясь во все стороны, он берет челюстями из навоза кусочек за кусочком, накладывает их на основание, наращивает, лепит, уминает, прижимает, выравнивает. Шар готов — он круглый и ровный. Что ж! Пора! В поход на скарабеев!

Думчев пытается меня развлечь

Нет, ничего не вышло из этого похода за второй крупинкой. Ровно ничего! Напрасное

путешествие! Гулял ветер по вершинам холмов, качал редкие деревья-травы, все бил нас крупным градом песка. Мы стояли на вершине одного холма. По ту сторону гряды была видна пепельно-серая, лишенная растительности равнина. Пусто, одиноко и мрачно было там. И, совсем как раньше, я подумал: эти холмы и песчаные горы — ведь это только насыпи над норками разных мелких зверьков. Но где же, где же скарабеи?

— Скарабеи лепят свои шары ранней весной, — сказал Думчев, будто угадав мои мысли. — По-видимому, шар с крупинкой укатила какая-то запоздавшая пара жуков. Как же выглядели те скарабеи, которые укатили шар за грядку? Опишите. Может, я их отыщу.

— Они были похожи на черных рыцарей, — сказал я.

— А нельзя ли точнее? Скарабеи ведь разные...

— Точнее? Не могу.

— Если бы скарабеи съели шар с крупинкой... — Думчев прищурился и с легкой улыбкой посмотрел на меня, — то они стали бы, конечно, гигантами, и мы их сразу бы увидели. Но так ведь не случилось. Следовательно, — уже серьезно, без всякой иронии закончил Думчев, — следовательно, остается предположить, что эти скарабеи, отложив в шар яйцо, закопали его в землю, как они и делают обычно.

— Напрасное путешествие... — сказал я с горечью. Мы стали спускаться с холма. Ветер дул нам в спину.

Деревья невесело шумели вслед. Нехорошо было у меня на душе. Я то и дело смотрел на свою тень: она так устало и покорно согнулась и плелась вместе со мной!

Всякий раз, когда нам предстоял трудный перевал, Думчев брал меня за руку и осторожно помогал взбираться.

— Я приглашаю вас ко мне на обед! — сказал Думчев. — Вы уже побывали случайно в одном моем доме. Теперь прошу посетить другой дом, летний.

Через минуту он заговорил сам с собой:

— Слушай! Надо гостя повеселить, развлечь. Правда, дом, куда я приведу своего гостя, сделан неважно. Я мог бы лучше построить и украсить его. А если поставить у дома по краям ворот в угрожающей позе двух тарантулов, гость, пожалуй, испугался бы. А сделать это совсем нетрудно: взять и туго набить два чучела тарантулов. Дорожку во дворе следовало бы выложить надкрыльями божьей коровки, как в старом доме. Материал надежный и крепкий. И цвет подходящий: красный и желтый... — Думчев повернулся ко мне: — Вот музыкой во время обеда я еще развлечь не смогу — музыкантов не собрал.

— Какая музыка?

— Ведь у меня будет оркестр. Вдоль по кругу я уже разместил домики-стойла. Каждое стойло закрыто плотно пригнанной дверью, но она легко отворяется. В центре двора к моему пульта сходятся шелковые тросы, привязанные к каждой двери. Стоя у пульта, я могу открывать двери то во всю ширину, то оставляя маленькую щель; могу также открывать попеременно то одну, то другую дверь, то сразу все. А в стойлах — оркестранты. Вот, например, кузнечик. Превосходный смычок у него: зубчатая полоса, по форме — точно изогнутое веретено, изрезанное наискось двадцатью четырьмя треугольными зазубринами. Вот так инструмент! Кузнечик — левша!

— Почему левша?

— Он несет свой смычок на левой стороне надкрылья. Резонатор — натянутая кожаца. Он вибрирует при сотрясении всей рамки.

— Позвольте! Позвольте! — вскричал я. — Тут всё вместе: и смычок и гусли.

— Да, стоило бы присмотреться музыкантам и скрипичным мастерам. Состав оркестра, к сожалению, не весь подобран. Но зато я удивлю и обрадую гостя кое-чем другим. Сразу с жары я введу его в комнату «фонтанов». Да!.. Скажите, пожалуйста, — обратился он ко мне, — вас разве не удивляет, что, в сущности, водопроводы наши строятся так же, как строились и в древнем Риме?

Я начал было разъяснять систему подачи воды под напором в многоэтажные дома, но Думчев рассмеялся:

— Недалеко мы ушли от опытов древних! Даже не додумались до того, что вода может сама подниматься вверх.

— Сама подниматься вверх? — переспросил я. Думчев снисходительно усмехнулся:

— Вы же знаете, что в любом растении вода, поступающая из почвы, поднимается вверх. Это не только потому, что растение втягивает в себя воду по стеблю. Вода от корней идет сама по стеблю. Чего проще! Я взял стебель растения. Он, конечно, состоит из системы тончайших полых трубочек-волосков. Я установил этот стебель в пруду, вырытом у моего дома. Конец стебля достигает окна второго этажа. Вода поднимается вверх и останавливается.

— Понимаю, Сергей Сергеевич, вода поднимается вверх по законам капиллярности.

— Да, да, законы природы! — сказал Думчев. — Наблюдайте природу — и не станете вы тратить столько сил, труда и беспокойства, чтобы гнать воду в верхние этажи.

Тут Думчев просто оговорился. Он перепутал в эту минуту все масштабы: и рост нормального человека, и потребность в воде.

Мне надо было тут же возразить Думчеву, что вода в капиллярах, конечно, может подниматься вверх лишь на ничтожную высоту. Капиллярной воды не хватит человеку даже на одну ложечку чаю.

Но я не сказал об этом Думчеву. Ни единым словом не упомянул о том, что за долгие годы жизни в Стране Дремучих Трав у него вполне естественно выработались иные представления о расстояниях и объемах — совсем не те представления, что у всех людей. И не следует ему с такой категоричностью переносить свои понятия на тот мир, в котором живут люди.

Рассказав о своем водопроводе, Думчев перешел к тому, как освещается его дом. Это свет без огня, без горения. Источники этого света в изобилии имелись в Стране Дремучих Трав: светящиеся насекомые, бактерии, гнилушки.

Здесь, в Стране Дремучих Трав, не веришь даже тому, что сам видишь. Все кругом так удивительно, что кажется недостоверным. В самом деле, какой дом у Думчева? Я себе даже и представить не могу. Но слова Думчева о необычном освещении были убедительны. Ведь я уже побывал в одном из его домов. Эти размышления вызвали в памяти другую картину. Я увидел себя в нашем театре. Мы слушаем доклад о новых источниках света, о применении их при оформлении спектакля.

Помню, как докладчик сказал, что светляки навели ученых на мысль использовать «холодный свет». Подсчитано, что у лампочки накаливания только три процента энергии расходуется на излучение света, а остальное уходит в воздух в виде тепла. А у светляков коэффициент Полезного действия достигает девяноста процентов!

Помню, как об этом писалось в одной газете:

«Если половину ламп накаливания страны заменить новыми источниками света, то можно получить грандиозную экономию электроэнергии».

Великое открытие или великое заблуждение!

— Удивились? — спросил Думчев.

— Нет, нет! — отвечал я. — Тут не то слово. Это не удивление. Я очарован необычайным зрелищем!

— Только забор. Просто забор моего дома... Действительно, было чем залюбоваться: ярко-желтые краски, словно корки спелого лимона, переплетались здесь с огненными, неблекнущими расцветками осенних листьев и с холодным сизо-голубым цветом, каким бывает суровое северное небо. А ярко-белые пятнышки, черные кольца, фиолетовые полосы были разбросаны в самых причудливых сочетаниях.

Солнце играло и освещало этот гигантский своеобразный театральный занавес — «забор», как пренебрежительно назвал его Думчев.

Мы подошли поближе.

Из земли торчали косые балки. Они были усеяны твердыми, острыми, колючими шипами.

— Ноги кузнечиков — подходящий частокол для моего замка, — пояснил Думчев. — А между ними я протянул крылья бабочек. Вот эти ярко-желтые, как лимон, — крылья бабочки-крушинницы; ярко-белая буква «С» — это изнанка крыльев апрельской бабочки; череп и две кости — рисунок спинки бабочки сфинкс антропос.

Цвета гармонически сливались и закрывали частокол, Мы подошли к воротам.

Я ждал приглашения войти во двор, но Думчев не торопился:

— Вспоминаю! Скучным и однообразным был цвет домов в городах. Как унылы и грустны дома осенью, когда идет мелкий дождик. Даже неожиданный свет солнца, прорвавшийся сквозь тучи, делал их еще печальнее. Какого же цвета теперь дома в городах? Не смывает ли дождь краску с ваших домов? Не выгорает ли краска на солнце?

— Ремонт, новая окраска — и здание опять точно заново отстроено, — растерянно отвечал я.

— Краски, бочки красок! Маляры с ведрами красок, архитекторы, бесконечный труд... Смешивать и смешивать краски, чтобы получить в конце концов блеклую, быстро угасающую, скучную окраску.

— Ну да! А как же? Он продолжал:

— Пусть у людей зацветут и засверкают дома, улицы и города всеми цветами радуги. Вот так, как играют на солнце красками и переливаются прихотливыми оттенками крылья бабочек!

— Это невозможно!

— Нет, возможно! Мои цвета и краски совсем не те, к которым вы привыкли. Поймите же меня: тут совсем другое. Это не краски из бадьи маляра, здесь не химия и не пигменты! Это краски вечные, немеркнущие, это такие над которыми не властно время.

Перед нами играло невиданными красками гигантское панно.

Я всматривался, приглядывался, но все еще не понимал Думчева.

Он выжидательно глядел на меня и почему-то был не только серьезен и сосредоточен, но, как мне показалось, грустен. Не оттого ли, что я не понимал его?

Думчев говорит: вечные краски! Но ведь крылышки у бабочек хрупкие. А живут бабочки несколько дней или неделю-другую.

Я стоял у многоцветного, лучезарного театрального занавеса, или, как сказал Думчев, у «забора» его дома, с волнением прислушивался и чувствовал: слова его идут от всего сердца, но сущность дела для меня скрыта.

Но столько было искренности в голосе Думчева, что я было подумал: «Тут нет ошибки!» Потом спохватился: «Нет, здесь ошибка. Не могут быть краски вечны! И как же так? Ведь он говорит, что крылышки эти прозрачны. Они, действительно, очень хрупки, нестойки. Нет, — решил я, — это странный обман. Он сам себя обманывает. Это заблуждение одинокого человека, затерявшегося на десятилетия в Стране Дремучих Трав».

Думчев смотрел на меня, ждал. И мне надо было что-то сказать.

— Никак не соображу, почему эти краски вечны? Что окрашено, то и выцветает.

Качались, сгибались и, как всегда, шумели травы. Думчев уже не смотрел на меня. Он пристально вглядывался в даль, точно рассматривал за могучей зеленью шумящих трав какие-то узоры, видимые только ему одному. Он говорил. Речь его была беспокойна и горестна.

— Что делать? Как разъяснить людям, что здесь совсем иные краски, чем у цветов? Желтый лютик, синий василек, ярко-красный мак выцветают, выгорают. А здесь не то, совсем не то! Как объяснить? Здесь природа красок другая. Краски моего забора не увянут и не

погаснут! Никогда! Оркестр в театре создает бурю нарастающих звуков... Но где ответное нарастание красок? Ах, эта декоративная «зелень» весны, намалеванная на фанере и картоне. Меняется ли она вместе с музыкой оркестра? Нет! Краски застыли раз и навсегда...

Я слушал и говорил себе: «Заблуждение человека! Ошибка, которую он сам не видит и не замечает!»

Все глуше шумели травы, все ярче и живее горел и переливался красками великолепный занавес, за которым был дом Думчева.

Я слушал и запомнил каждое его слово.

— Пояснить все это надо людям. И тогда краски, переливаясь и радуя глаз человека, будут помогать ему трудиться, жить, будут ободрять, утешать, вдохновлять его, как музыка, как песня... Входите! Входите же в мой дом! — закончил Думчев, отодвигая бронзовую створку ворот.

Мимо нас пробежал муравей. Думчев посмотрел на него и с неожиданным беспокойством схватил свою саблю — жало осы, кинулся к муравью и воскликнул:

— Что случилось?! Что случилось?!

В его восклицании была тревога и озадаченность. Я не понимал, в чем дело, и подбежал к Думчеву.

— Неблагополучно в Стране Дремучих Трав, — сказал Думчев и стал громко считать, пристально глядя на антенны-усики муравья: — Пять, десять, двадцать... Ого! Вот беда!

Потом он остановил еще одного муравья и опять стал считать:

— Пять... десять... тридцать... сорок взмахов антенн!

— Что за странный счет!

— Прятаться надо! Думчев схватил меня за руку.

— Муравьи говорят... — прошептал он.

— Что вы! Что вы!

— Скорее домой! — вскричал Думчев. — Нет, нет! Не сюда, а в тот дом, где вы уже были, — он глубоко укрыт под землей.

И мы побежали. Но от кого мы спасались? Я стал на ходу задавать вопросы. Это было смешно и нелепо.

— Почему мы бежим?

— В травах беспокойно!

— А что же случилось?

— Не зацепитесь о корень... Муравьи мне сказали, что они крайне встревожены.

— Но разве муравьи говорят?

— Вот моя рука, держитесь... Как и все насекомые...

— Но муравьи? Ведь они не жужжат, не поют!

— Надо видеть...

— Видеть?

— Видеть — значит понять, о чем они говорят.

— Нельзя ли яснее?

— Правее, правее! До дома уже близко... Надо смотреть за быстротой взмахов антенн. Считать количество взмахов...

— Арифметический язык?!

— Вот именно, он прост и ясен. Даже самый простой таракан, когда хочет сказать: «Я устал, я отдыхаю», взмахивает антеннами только пять раз. Когда исследует новое жилище, он взмахивает пятьдесят пять раз. Когда голоден — тридцать шесть раз. У разных насекомых своя разговорная таблица... Назад! Назад! К речке!

— Но что же?.. Что случилось в Стране Дремучих Трав?..

Опять загадки...

Казалось, где-то грянул гром и, все нарастая и усиливаясь, приближается к нам. Совсем близко раздался реек, шум и грохот. Травы-деревья колыхались. Показались какие-то гигантские колонны. Они опускались на травы, поднимались, вновь опускались. Люди идут! Шагают!

Наверное, заведующая овощной базой Черникова сообщила в Ченск, что моя одежда осталась около пня, профессор Тарасевич, доцент Воронцова и студенты побывали в гостинице, узнали, что я исчез, и пришли сюда опознать одежду.

Но вот уже скрылись, пропали вдаль гигантские колонны. Утих беспокойный шорох обитателей Страны Дремучих Трав, разбегавшихся во все стороны, прекратился треск сухих трав, ломавшихся под тяжестью шагов людей.

И все вокруг успокоилось.

Мы сразу же направились к гнезду халикодомы, где была спрятана крупинка роста.

Подшли к речке Запоздалых Попреков, чтобы через нее переправиться, но не узнали ни речки, ни берега. Гигантские ямы, провалы и новые озера образовались на берегу. В одном месте река переменяла русло — вышла из берегов, в другом сделала неожиданный изгиб: все оттого, что прошли люди.

Мы кинулись к плоту, но он был крепко прижат к земле, и нельзя было его поднять.

Рядом с плотом лег какой-то гигантский зеленый мост.

Как и почему появился здесь мост? Конечно же этот мост — простая зеленая ветка! Ее сломал человек и случайно уронил. Она легла поперек речки. Может быть, нога этого же человека втоптала наш плот в землю.

Мы перебрались по ветке — по длинному узкому мосту — на другой берег. Чем ближе мы подходили к гнезду халикодомы, тем все больше заграждали нам дорогу сломанные деревья-травы. А у самого гнезда травы были плотно прижаты к земле. Наверное, в этом месте люди постояли, посоветались, а потом пошли дальше.

Вместо цементного гнезда халикодомы мы увидели груды развалин. Опустив руки, я вспомнил о том, как Думчев сравнивал пирамиды фараонов с гнездом халикодомы. А где же, где крупинка, которую мы спрятали в гнезде? Кто-то на своей подошве унес ее. Кто? Не все ли равно!

Какой тяжкий день! Там, на гряде холмов, я понял: мне не найти той крупинки, которую закатали скарабеи. А теперь, у раздавленного гнезда халикодомы, я убедился, что обе утеряны навсегда. Навсегда!

Как?! В Москве наступит утро, с тихим шелестом упадут газеты в зеленый почтовый ящик, прибитый к моим дверям. Но я не разверну эти газеты...

Будут звонить по телефону дорогие мне люди. Напрасные звонки!

Вечером в настороженной тишине театра раздвинется занавес. В эту минуту я всегда ощущаю теплое дыхание зрителей, ловлю их взгляды, пытаюсь угадать, какие чувства владеют ими. Неужели все это потеряно?!

Как нелепо! Кончить жизнь в схватке с какими-то пауками и мухами...

И жалость, жалость к самому себе охватила меня.

Думчев торопил: надо было засветло переправиться через речку, добраться до его дома. Но я долго не уходил с этого места, все чего-то ждал.

Когда мы шли назад, мне казалось, что травы уже не так враждебно относятся ко мне. И в шорохе их верхушек мне слышалось: «Не надо отчаиваться, не надо отчаиваться!»

Уже было совсем темно, когда мы перебрались на другой берег реки. Мы устали. В темноте идти к дому Думчева было трудно, и мы решили ночевать в спальнях мешках на берегу. Тянулась ночь. Я слышал, как Думчев ворочался в спальном мешке с боку на бок. Не спалось и мне. Я почему-то вспоминал, какое мглистое, багровое небо раскинулось над сломанными травами около раздавленного гнезда халикодомы, какая стояла страшная тишина.

Я говорил себе: «Останусь в Стране Дремучих Трав. Навсегда!» Но почему-то мои мысли и переживания были далеки и отличны от смысла этих слов. Почему-то я чувствовал

неловкость за то, что не уплатил за номер в гостинице. И еще я чувствовал большую вину перед профессором Тарасевичем — ведь ему надо беспокоиться о ремонте института, а приходится тратить время на поиски и разговоры о моем исчезновении. Тянулась ночь — ночь на берегу речки Запоздалых Попреков.

И было очень тихо. Только резко блестели надо мной звезды. Светились края тяжелых причудливых облаков, медленно проплывавших по небу. И была печаль на душе.

Лежа на берегу в спальном мешке, я пытался уснуть, сосредоточиться на чем-то, но мысли мои всё возвращались то к одному, то к другому событию прошедших дней. Думчев лежал рядом и, по обыкновению, разговаривал с самим собою.

Получился как бы своеобразный диалог из слов, которые я произносил про себя, и из громких, ясных слов Думчева. Я слышал, как Думчев говорил:

— Сколько упустили люди только потому, что не смотрели себе под ноги, не изучали Страну Дремучих Трав.

А я слушал и думал: «Если присмотреться внимательнее, то вся Страна Дремучих Трав — сплошная бессмыслица: инстинкты, инстинкты, инстинкты».

Думчев. Самое тяжкое, когда у человека с умом не хватает дисциплины ума. Вот в чем беда моего гостя!

Я. Конечно! Разве я сам не понимаю, что Думчеву надо заново написать дневник? Но как его передать? Да! Ведь сюда еще будут приходить люди, будут меня искать. И может быть, может быть... Нет, дневник писать надо очень долго, а меня уже скоро перестанут искать.

Думчев. Совсем не страшно, если гостя что-то или кто-то испугает в Стране Дремучих Трав. Но я боюсь, если он испугается своего испуга.

Я. Как странно Думчев говорит, но смысл его слов мне понятен. Ах, как мне хочется сидеть с Думчевым на самых обыкновенных стульях, пить крепкий чай, слышать телефонные звонки, голос диктора и вспоминать, только вспоминать Страну Дремучих Трав!

Думчев. Надо завтра же сказать гостю: то, что вы с собой принесли и потеряли, то и должно помочь.

Я. О чем там Сергей Сергеевич говорит? Ведь обе крупинки потеряны навсегда.

Думчев. Опыт, еще один опыт...

И тут я не сдержался и, обращаясь к Думчеву, громко воскликнул:

— Сергей Сергеевич, объясните же, скажите толком! Ведь то, что я принес, утеряно?..

Повернувшись ко мне, Думчев спокойно ответил:

— Не торопитесь! Завтра я ставлю опыт... Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, Сергей Сергеевич, — ответил я, ничего не поняв, и повернулся на другой бок.

Шумно катила речка Запоздалых Попреков свои волны, и беспокойно дрожал на ее водах луч луны.

Я уже стал засыпать, когда до меня в тишине ночи долетели слова Думчева: «Воздух ушедших минут...»

Что за странные слова: «Воздух ушедших минут»? Я прислушался. И вот Думчев снова проникновенно и с большим волнением повторил: «Воздух ушедших минут...»

— Сергей Сергеевич, что за загадки? Что такое «воздух ушедших минут»?

Из облака вышла полная луна, и показалась она мне бесконечно, бесконечно далекой. Никогда в жизни я не видел такой далекой луны.

— Сергей Сергеевич!

Думчев не ответил. Я подбежал, наклонился над ним. Он дышал ровно и тихо. Спал, как ребенок.

Я вернулся, забрался в мешок. Утром надо спросить Думчева, как понять странные три слова: «Воздух ушедших минут».

И уснул.

Подземный ход

Проснулся я поздно. Утро давно наступило.

— Доброе утро, Сергей Сергеевич! — сказал я.

Никто не ответил. Я увидел, что около меня стоит горшочек с ложкой. В горшке была обычная наша еда. На земле я увидел, что из камешков сложены слова: «Вернусь поздно». Я позавтракал и стал ждать. Деревья-травы все еще были прибиты к земле. Вчера мне казалось, что жизнь в Стране Дремучих Трав навсегда иссякла, прекратилась. А теперь, к своему удивлению, я увидел, что все вокруг меня звучит, шелестит, звенит, двигается, летает. Как всегда.

«Куда ушел Думчев? — подумал я. — Как понять те странные слова, которые я вчера услышал: „воздух ушедших минут“? Не во сне ли их произнес Думчев?»

Бабочка с огромными бурыми крыльями беспомощно билась о берег речки. Крылья ее были поломаны. И вода относила ее все дальше и дальше. Вот в речке появилось какое-то чудовище с большими ногами и огромной головой. У чудовища из-под шеи выдвинулась маска. Маска откинулась, точно на шарнирах. Острые когти маски впились в тело плывущего насекомого, и снова маска вернулась на прежнее место — жертва поднесена к пасти чудовища. Мне вспомнилась запись Думчева на одном из листов. Там он называет чудовище с маской личинкой стрекозы. А в первой микрозаписке, которая была в букете цветов, он писал: «При помощи водяных выстрелов движется личинка стрекозы. По этому принципу летит в небо горящая ракета во время больших праздников и народных гуляний. При помощи этого же способа передвижения люди поведут свои воздушные корабли с Земли на Луну...»

Вот личинка стрекозы поплыла. Двигалась она мягкими толчками. Ногами не гребла, но тем не менее передвигалась быстро: вбирала в себя воду и выпускала обратно.

Время шло. Думчев все не возвращался.

Почти машинально я следил за другим существом с маской. Вот оно подплыло к кочке. На миг замерло. Но что это? Водевиль с переодеваниями? На спине у этого уродливого чудовища лопнула кожа. Образовалась трещина. Кожа расползалась. Из трещины вылезло совсем другое существо: огромные глаза, длинное изящное брюшко и тонкие смятые крылышки. Что же будет дальше?

Утреннее солнце уже грело, даже чуть-чуть припекало. И в розовых лучах наливались жизнью и постепенно расправлялись молодые трепетные крылышки стрекозы, начинали отсвечивать изумрудом зелени. Стрекоза только что, при мне, появилась. Пройдет еще немного времени — окрепнут ее крылышки. И взлетит стрекоза легко и грациозно, высоко-высоко.

Вот в речке появилось какое-то чудовище с большими ногами и огромной головой.

Конечно, если я не исследую Страну Дремучих Трав и если не сообщу людям о поисках, находках и открытиях Думчева, а буду только созерцать, размышлять, вспоминать, то вся моя жизнь скоро станет на самом деле не настоящей жизнью, а только карикатурой на жизнь всякого настоящего человека на земле. Как плохо, дурно и неряшливо я обращался когда-то со своим временем. Как много дней у меня когда-то уходило зря, по пустякам!.. Вот бы написать и сделать фильм о приключениях двух людей в Стране Трав!

Странный шорох привлек мое внимание. Мимо, перебираясь через сломанные деревья-травы, проползла гусеница. Теперь я уже кое-как научился узнавать некоторых животных. А ведь совсем недавно я такую же гусеницу принял за... удава. Но теперь меня озадачило только то, что у «удава» две головы. Одна голова глядела вперед, а другая приросла к хвосту и осматривала пройденный путь. Я сразу догадался, что это одно из подопытных животных Думчева. Вспомнил его «полянну хирургии» и пошел за «удавом». Вдруг он исчез, словно

сквозь землю провалился. И тут я увидел между деревьями, у их корней, полуприподнятую над большим круглым отверстием каменную плиту. Я увидел, что мелкие камешки и песчинки, из которых она изготовлена, добротны и надежно цементированы друг с другом. Еще больше я удивился, заметив, что вокруг плиты закинута петля. Потянул и вытащил из шахты... веревочную лестницу. Работа Думчева?! «В этой стране, где гусеницы плетут сверхкрепкие нитки и веревки, не надо удивляться, если человек сплетет веревочную лестницу», — сказал я себе. Спустил веревочную лестницу и полез в шахту. Чем ниже я спускался, тем светлее и светлее становилось. Вот уж и дно шахты. Я пошел по широкому коридору. Он был освещен совсем так, как и дом Думчева, где я нашел его листы с записями. По-видимому, заботливая рука хозяина в разных местах подземелья расположила гнилушки и светящихся насекомых. Свет был не яркий, но все же я различил: по обеим сторонам коридора тянутся кладовые, камеры, чуланы. Вместо дверей — шелковые шторы.

Подъемы, спуски, неожиданные повороты, круглые залы — и всюду мягкий, ровный, неяркий свет. Воздух помещения был пропитан пахучими и едкими веществами.

Теперь, когда пишу эти строки, я узнал из книг и у энтомологов, как многообразен химический состав выделений насекомых. Давно известно, что креозот найден у ухверток, эфир салициловой кислоты — в железах усача; у одних гусениц — соляная кислота, у других — муравьиная кислота. Известно, что, когда насекомому приходит пора выйти из кокона, оно выделяет едкое кали — сильную щелочь — и прожигает ею отверстия в коконе для выхода. Узнал я, что одни насекомые выделяют масляную кислоту, другие — щавелевую, а у некоторых обнаружен свободный йод, кислородные соединения азота и этилхинон.

Все это впоследствии я узнал из книг и у специалистов. Узнал и то, что еще не назван и не исследован химический состав выделений пахучих желез многих видов насекомых.

Но тогда, в подвалах, я хотя и чувствовал множество разных запахов, но различил только йод и эфир.

Из одной камеры торчал конец какого-то бревна. Я стал его обходить. Посмотрел — ахнул. Опять знакомый шестигранник с золотистыми полосами-буквами на красном фоне. Мой карандаш! Бревно было перевязано веревками. Зачем и для чего Думчев притащил сюда мой карандаш «ЗМ»?

Я пошел быстрее. Коридор стал расширяться. В конце его я увидел широкую пологую лестницу. Стал подниматься по ней вверх и очутился в помещении, которое показалось мне очень знакомым. Да, я уже был здесь! В одной из этих комнат под старым пнем я нашел листы с записями Думчева.

Так вот в чем дело! Из своего дома Думчев сделал подземный ход к речке Запоздалых Попреков!

Пройдя из первой комнаты в другую, я увидел: спиной ко мне сидел Думчев. Он писал.

Холодный бледно-голубой свет падал на листы бумаги и руку Думчева. Вот он прекратил писать. Я хотел его окликнуть, но он устало положил голову на руки. О чем он думал? Не о своем ли фанерном маленьком домике, о котором я ему напомнил, — домике, где он ставил смелые, дерзкие опыты? Не возник ли перед ним снова яркий, пестрый южный ярмарочный день, а он, молодой, дерзкий и смелый, поднимается на вышку, чтобы взлететь на своем летательном снаряде над толпой?..

Вот он встал, взял гнилушку и начал спускаться в подвалы.

Я молча последовал за ним.

Воздух ушедших минут

Я не решался отвлечь Думчева от серьезных размышлений и молча шел вслед за ним. Получилось так, будто я слежу за Думчевым. Конечно, это было нехорошо.

Устало и медленно он спускался со ступеньки на ступеньку в свой гигантский подвал.

Он подходил то к одной, то к другой камере в подвале, отдергивал шелковые шторы.

При мягком свете бактерий я увидел в чуланах и камерах разноцветные шелковые мешки, туго завязанные веревками.

По-видимому, каждый из мешков был наполнен каким-то газом: вот-вот мешок взлетит под потолок; но его придерживали веревки, привязанные к вбитым в землю колышкам. Казалось бы, ничего страшного или удивительного во всей этой обстановке не было: обыкновенные коконы-мешки гусениц, наполненные каким-то газообразным веществом. Но этот подземный лабиринт, камеры, освещенные светом живых существ — бактерий, и человек, по-хозяйски сосредоточенно осматривающий мешки с неизвестными газами, — все привело меня в волнение.

Вот он присел на несколько сложенных пустых мешков, посмотрел в глубь коридора, затем окинул долгим, спокойным взглядом входы в камеры, кладовые, чуланы, из которых лился свет, и заговорил:

— Нет, я не безумец, не чудак! И называю газ, распирающий эти мешки, «воздухом ушедших минут»! Тысячи и тысячи лет человечество мечтало, чтобы мгновение, которому скажешь «остановись», послушалось его. Но мечта оставалась мечтой: уходили в небытие тысячелетия, бежали деловито вслед за ними века, скакали, догоняя их вприпрыжку, месяцы и годы, но никогда, никогда человек не в силах был продлить свою жизнь, остановить мгновение. И неизменными оставались слова Овидия, воспетого Пушкиным поэта-изгнанника древнего мира: «Наши тела изменяются, завтра мы не будем теми же, чем были вчера и сегодня». Но все же народы создавали сказки, мифы, легенды, песни и саги, где герои преодолевают время, недуги оставляют человека, старый становится молодым.

Я жил среди людей, размышлял над этими творениями народов. Видел я, как человек уже стал создавать те ковры-самолеты, о которых когда-то народ складывал сказки. Я и сам построил ковер-самолет и летал на нем. Медики восемнадцатого века возложили свои надежды на электричество. Но нет. Электромедицина не сделалась универсальным средством от всех болезней, а животный магнетизм оказался выдумкой. Даже наука девятнадцатого века не решила задачу о «живой воде». Остались мечты-сказки. Я искал, размышлял, ставил опыты. В мифах говорится, что бессмертные, вечно молодые боги питались амброзией и пили нектар. Так вот где скрыта тайна долголетия и исцеления от недугов, говорил я себе. Все дело в питании! И я стал изучать свойства «амброзии» — пыльцы растений и нектара, того сладкого сока, который выделяется растениями. Подробно и долго исследовал я, почему пчела-матка живет в пятьдесят — семьдесят раз дольше, чем обыкновенная пчела.

Но, чтобы преодолеть время, нужна энергия. О какой энергии мечтал народ, создавая сказки о живой воде? Какую энергию призвать для преодоления времени?

Ломоносов открыл закон сохранения вещества и движения. Наука знает: энергия одного вида переходит в энергию другого вида. Количество энергии остается неизменным. Лишь формы и свойства ее разнообразны. Но ведь не к механической же энергии, вращающей части машин, должен прибегнуть человек, чтобы на деле, въявь осуществить то, о чем мечтал Фауст: остановить мгновение, вернуть ушедшие годы, исцелиться от недугов старости и стать вновь молодым.

Превращения... превращения... превращения!.. Какая титаническая энергия скрыта в превращениях, в метаморфозах насекомых!

Муравьиный лев, закопавшийся в сделанную им воронку и стреляющий песчинками в проходящих муравьев, превращается в летающее насекомое, похожее на стрекозу. Гусеница, которая ползет на шестнадцати ногах, превращается в весело порхающую цветную бабочку. Личинка стрекозы, передвигающаяся в воде, как ракетный двигатель, превращается в грациозную стрекозу. Превращения... превращения... превращения!..

Не через стекла микроскопа смотрел я на процессы превращения насекомых — от вылупившейся из яйца личинки до появления взрослого насекомого. Я жил здесь, в Стране Дремучих Трав, в гнездах одиночных пчел, в муравейниках, зимовал в улье диких пчел.

Я был человеком-микроскопом. И потому я увидел, как протекают все процессы метаморфоза. На моих глазах одни формы насекомых превращались в другие. При разных

превращениях насекомых я собирал ферменты. В моих мешках, лежащих здесь в подвалах, в мешках-коконах, где ранее творилась жизнь, ныне хранятся мощной силы вещества. Уже в первый год моей жизни здесь я вывел формулы инстинктов насекомых и стал непобедим. Я давно уже решил уравнение изменения скоростей развития насекомых и научился задерживать и убыстрять их рост, лепить их организмы по своему произволу.

Но человек? Организм человека внешне прост, но на самом деле сложен, как мироздание, певуч, как океан.

В подвалах я хранил и храню запасы невиданной энергии, оберегаю их, как скупой рыцарь. Но как вооружить человека этой энергией, чтобы он крикнул мгновению: остановись! Вот этого я и не знал. Отчаялся. Но ненадолго. Снова стал искать и думать, исследовать. Вновь стал размышлять над тем, чтобы ферменты-гормоны метаморфоза, хранящиеся в моих подвалах, дали организму человека еще невиданную мощь, чтобы человек мог отодвинуть от себя старость, подчинить себе уходящие минуты. И вот теперь, когда я восстановил дневник, когда отгадка величайшей тайны где-то рядом, совсем рядом со мной, — теперь сюда явился человек и принес с собой то, что поможет мне поставить опыт, чтобы вернуться к людям... Что делать? Остаться здесь и продолжать исследования, поиски, размышления и отгадать тайну «воздуха ушедших минут»? Но могу ли я оставить вместе со мной гостя — пугливого и беспомощного человека, оставить в стране, где все кругом грозит гибелью? Как быть? Вернуться к людям без отгадки тайны, с одним лишь воспоминанием о «воздухе ушедших минут»?

Бросить всё? Отказаться от разгадки тайны «воздуха ушедших минут»? Сказать: прощай Страна Дремучих Трав? Недорешить задачу и уйти отсюда навек — оставить пустые коконы? Оставить так, как оставляют ненужный хлам, поломанные ящики, пустые банки, разбитые тарелки, уезжая с летних дач в дождливую скучную осень. Что делать?..

И я увидел, как Думчев раскрыл обе руки — маленькие ручки маленького человечка, — раскрыл их совсем так, как раскрывает ребенок, потерявший самую любимую игрушку. «Что делать?»

Я молча стоял в нише, прислонившись к стене... Думчев замолчал. В глубоком раздумье он стал обходить камеры. А я... я не в силах был тронуться с места. Ноги мои подкашивались. Все во мне смешалось: недоумение (как же, каким же образом можем мы вернуться к людям?), восторг перед открытиями Думчева, гордость за разум человека и беспокойство, беспокойство...

Наконец я сделал шаг, хотел кинуться к Думчеву. Но он с неожиданной, чуждой ему суетой стал перебегать из камеры в камеру, из кладовой в кладовую. Он трогал, гладил мешки, наполненные удивительным веществом. Он перебирал их, перекладывал с места на место внимательно, любовно и бережно. Вот почему я и подумал: «Думчев не уйдет отсюда ни за что, никогда!»

Но вот он остановился посреди коридора. И я услышал его совсем изменившийся голос: — Хочу домой! Хочу к людям!

Он произнес эти слова так, словно сдерживал рыдания. Я тихо подошел и, взяв его за руку, сказал:

— Я здесь!..

В эту минуту что-то упало рядом с нами. Потолок закачался. Посыпались камни.

— Обвал! — крикнул Думчев.

Мы побежали по коридору, чтобы выйти к речке Запоздалых Попреков. Напрасный труд!

— Хода нет! Потолок обвалился! Назад!

Мы бежали. Минуты казались долгими. Где-то над нами слышался гул. Свет фонариков-бактерий не меркнул. Казалось, эти крошечные живые существа изо всех сил пытаются помочь нам выбраться из подвалов. Когда мы поднялись по ступенькам в комнаты Думчева, я почувствовал, что там пахнет гарью. Дышать становилось трудно. Но как тревожно над нами зашелестели примятые, сломанные, спутанные деревья-травы, когда мы

выбежали из дома Думчева! В тени пня дымилась огромная белая труба. Повеяло нестерпимым жаром.

— Папироса! — крикнул Думчев. — Были люди — вас опять искали! Кто-то уронил горящую папиросу!

Мы попытались спрятаться от дыма в чаще трав. Дым тянулся по земле. Мы попытались прорваться к реке. Но сухие травы загорелись. Огонь загородил дорогу.

— Назад! В подвалы! — крикнул Думчев.

Я подчинился. Держась за плащ Думчева, закрывая рукой глаза, задыхаясь в дыму, я бежал. Очнулся только в подземных комнатах.

Помню, как Думчев поспешно завязал в мешок листы записей своего путешествия и отдал мне этот мешок. Комнаты постепенно заполнялись дымом. Гасли огоньки бактерий. Мы задергивали шторы, закрывали все ходы.

Стали спускаться в подвал. Зачем? Думчев вел меня по коридору. Что будет с нами, я не знал. Тишина коридора и крепкая рука Думчева меня успокаивали. Во всем я подчинялся ему. Помню, как мы вошли в нишу. Он отдернул туго натянутую штору. Мы очутились в небольшой комнате. Она не была освещена, только из коридора сюда проникал свет, но Думчев задернул штору.

— Сядьте здесь! — сказал он.

Я ощутил незнакомые мне освежающие запахи. Из темноты долетел спокойный, ровный голос Думчева:

— Дышите спокойно! Вы ведь очень устали!

Часть седьмая Симфония красок

Сон или явь!

Как бы получше заслониться от лучей заходящего солнца? Так хочется еще спать! Я повернул голову, прикрыл глаза ладонью, но лучи согревали руки и проникали меж пальцев. Перевернулся на другой бок. Хочется спать. И вдруг спохватился — где же мешок с листьями-записями? В комнате под пнем, куда уже проникал дым, Думчев дал его мне в руки. Неужели я его уронил? Сразу проснулся. Огляделся. Стал искать мешок. Надо вспомнить, как все могло случиться, почему я здесь, а не в подвале, где мы спасались от пожара.

Все началось с того, что в доме Думчева, под пнем, мы почувствовали гарь, выбежали и увидели, что дымится гигантская белая труба. Папироса! Самая обыкновенная папироса, которую кто-то не докурил и бросил. Когда-то я и сам курил такие белые трубы-папиросы. Эх, хорошо бы сейчас закурить! Однако где же мешок?

Вот в траве лежит... какой-то окурок. Как понять?! Почему я вижу перед собой обыкновенный окурок, а не обгорелую трубу? А вот около окурка выжженная трава. Обыкновенная горелая трава. Я совсем запутался: то ли этот окурок я вижу во сне, то ли пожар в Стране Дремучих Трав с дымом, полыханием и с нестерпимым жаром огня, от которого Думчев и я спаслись в подвалах, мне только приснились?

— Добрый вечер! — услышал я голос Думчева.

— Добрый вечер! — и подумал: «Какой же добрый вечер в сгоревшей стране?»

— Вы лежите на росистой траве. Вставайте, вставайте!

Но что случилось? Опять полная путаница. Где подвалы, камеры, шторы, мерцание светляков?

Сомнений нет! Вся Страна Дремучих Трав с неожиданными приключениями мне просто приснилась. Конечно, то был слишком длинный и весьма странный сон, но все же это был сон. Ведь вот по пальцу ползет муравей, я могу его сбросить! А муравейник? При одном

воспоминании о муравейнике, куда меня затащили муравьи-похитители, дрожь прошла по спине. Конечно, и муравейник приснился мне. Все ясно. А Думчев? Тоже сон?

Но вот стоит предо мной Сергей Сергеевич... Я не свожу с него глаз. И думаю: «Он такого же роста, как я! Так было и вчера. Так было и тогда, когда я впервые увидел его там, у страшного „города“ — гнезда ос».

Думчев внимательно приглядывался ко мне.

— Вы слышите? — указал он на синеющую рощу. — Кто-то зовет нас: рю-рю-рю-рю...

Я вслушивался, вглядывался, и все кругом было так необычно, что я не мог ничего понять.

Рю-рю-рю...

Вспомнил! Ведь это зяблик рюмит перед дождем.

Зяблик, пение птиц! Я не в Стране Дремучих Трав! Там я не услышал бы зяблика! Там все шумел и шумел бесконечный лес трав, там неистовый треск кузнечика оглушал меня.

Или все же это сон? И мне снится этот зяблик?

Рю-рю-рю... — рюмит зяблик.

Я сел рядом с Думчевым на зеленый пригорок у пня, у обыкновенного пня. Я слышал знакомый шелест листьев, долгий, сладостный; вдыхал запах свежескошенного сена.

Покой, тишина и какая-то светлая веселость переполняли меня. Не вернулся ли я в мир своего раннего радостного детства, и сирень, стукнув в низенькое окошко, заглянула в комнату и разбудила меня?..

Хорошо знакомый костюм

Думчев долго сидел в раздумье рядом со мной. Неожиданно он встал и начал что-то искать у корней пня. Я был вне себя: может быть, Думчев еще не почувствовал свой настоящий рост и ищет ход в жилище, построенное им некогда под пнем? Трава у пня была прибита, утоптана ногами. Наверное, все подвалы Думчева засыпаны землей. Надо напомнить Думчеву, но я медлил: он так деловито, спокойно шарил рукой по земле, к чему-то присматривался.

— Вот, вот, нашел! — воскликнул Думчев — Смотрите!

И я увидел маленький, едва заметный кокон гусеницы. Кокой был туго завязан шелковой ниточкой. Так вот в чем дело! Это был тот мешок-кокон, куда сложил он свои записи о путешествии, тот мешок, который он вручил мне.

Молча смотрели мы то на этот кокон, то друг на друга. Думчев развязал узелок. Он держал на ладони кокон с листками и маленькую ниточку. И я почувствовал, что эта ниточка связывала в его душе два мира — две жизни: его прошлую жизнь в Стране Дремучих Трав и ту жизнь, в которую он вступит, завязав снова мешок с листками. Ведь эти листки станут предисловием к его рассказам о тайнах Страны Дремучих Трав.

А я? Чем больше я смотрел на эту ниточку и кокон гусеницы, тем больше я чувствовал, что все спутавшиеся впечатления начинают проясняться. Там, в Ченске, под микроскопом доцента Воронцовой я прочту снова листки, хранящиеся в этом коконе. На душе у меня было отраднo и прозрачно. Думал я теперь только об одном: как бы помочь Думчеву тихо и спокойно вернуться в жизнь.

Несколько поодаль от пня лежал чей-то аккуратно сложенный костюм, серый, в широкую клетку. Он показался мне очень знакомым. Вязаный галстук — темно-серый с красным. Коричневые ботинки с узелками на шнурках тоже показались мне знакомыми.

Я видел когда-то на ком-то этот костюм. Но на ком? Когда я посмотрел на ботинок, я вспомнил шагающие колонны, которые раздавили наш плот у речки.

— Это костюм гиганта, — сказал я.

— Да, костюм гиганта! Знаете, в Стране Дремучих Трав я раздобуду вам шелковые брюки из ниток шелкопряда, ватную куртку соткет психея. И мы будем в плащах. Но стойте!

Что же это такое? Возможно, я и сам еще путаю... То я сознаю, что стал таким, как все люди, то теряю это ощущение. Не пойму... — Думчев вскочил: — Грохот! Что это за грохот? — Он закрыл ладонями уши.

Да, какие-то странные прерывистые звуки. Они мне знакомы, я их уже слышал когда-то. В траве мелькнул пушистый хвост. Собака. Это ее лай. Вот там какой-то навес, покрытый травой. Я подошел к нему и стал спускаться по каменным ступенькам... Площадка. Стол. Два стула. На столе мятый жестяной бидон. Я остановился. И вот из глубины появилась человеческая рука с фонарем, и предо мной предстала знакомая, очень хорошо знакомая фигура женщины в ватнике. И сюда же прыгнула собака желтой масти, с пушистым хвостом...

И тут я сразу все, все вспомнил! Все понял!

— Здравствуйте, товарищ Черникова! Я вернулся! — прокричал я с восторгом и радостью.

— Что такое? Голый человек?!

Я выскочил из подвала. Вслед раздался бешеный лай собаки.

Разбой среди бела дня

— Думчев! Сергей Сергеевич! Где вы? Молчание. Лай собаки утих.

Но вот кусты всколыхнулись, раздвинулись, и Думчев опросил шепотом:

— Что, уже умолк грохот?

— Лай собаки? Да!

— Нет, не лай, а грохот.

— Это лай собаки! Здесь база Райпищеторга

— Поймите же меня. Я уверен...

Думчев не договорил — на нас мчалась собака. Я схватил ветку и замахнулся. Собака, поджав хвост, с лаем побежала обратно к своей хозяйке.

— Эта собака показалась мне сначала огромным допотопным животным, — сказал Думчев. — А вы на нее — веткой... И она прочь от вас! Теперь только я поверил, что грохот — не грохот, а лай и что мы оба...

— Тише! Слушайте!

Там, у базы Райпищеторга, Черникова громко разговаривала со своей собакой. Мы оба прислушались.

— Ну и работа! Понимаешь, Курчавка? Мне за новой книжкой ордеров в город идти, а приказано: стой здесь и сторожи одёжу. А если за овощами приедут? Как же овощи без квитанции отпускать? А потом отвечай, отчитывайся, кому и почем отпускала. Несколько дней люди пропавшего человека искали! Рощу прочесывали. А я им говорю: «Не ищите. Он тут, на этом месте, на моих глазах что-то проглотил... сразу вдруг растаял, пропал... Сама же я об этом в город сообщила». А мне скачали: «Ну, так сторожи эту одёжу». С пня сняли, аккуратно сложили и сказали: «Не трогай, береги. Сюда ученая собака прибудет. В Москве про нее известно, Эльфой прозывается. Она одежду понюхает и в роще, в развалинах кого надо отыщет». Вот тут и стой! За что напасть такая?! Кто же я есть — заведующая государственной базой Райпищеторга или сторож чужих пиджаков? А тут голые ходят... пугают еще...

Черникова смолкла.

— Гражданка, — крикнул я, — верните мне мою одежду!

— Твоя, что ль?

— Моя! Киньте костюм сюда, в кусты. Вы отвернитесь, я сам ее возьму!

— Приказано охранять! Кого надо, того ученая собака Эльфа отыщет.

— Прошу вас, товарищ Черникова...

— Не упрасивай. Приказано — ни на шаг!

— Ну и не надо! Дождусь ученой собачки.
Мы переглянулись с Думчевым и сразу поняли друг друга.
— Идут! Ведут! — крикнул я из кустов.
— Кто? Что? — отозвалась Черникова.
— Собаку ведут! Ученую собаку Эльфу!
— Где? Где?
— Там! Смотрите! Там они, за поворотом...

— Кто же я есть — заведующая государственной базой Райпищеторга или сторож чужих пиджаков?

Черникова сделала несколько шагов, заслонила рукой глаза, стала всматриваться в даль. Я выскочил из-за кустов, схватил одежду и кинулся обратно. Вслед нам несло:
— Разбой! Разбой среди бела дня!
Но мы были уже далеко и приближались к беседке.
Вот он, мой костюм! Но один на двоих! И мы поделили одежду. Пиджак и брюки — Думчеву. А у меня.. у меня был чересчур «спортивный» вид. Думчев был весел: еще немного — и засмеется. А я хохотал, хохотал до слез...
Рю-рю-рю, — где-то рядом рюмил зяблик.
Мы весело топтали кусты. Испуганный дрозд чокал свое: чок-чок-чок...
И лай собаки и то, как рюмил зяблик и как чокал дрозд, — все это казалось мне трогательным отрывком какой-то дорогой мелодии.

У порога старого дома

Теперь, когда я пишу эти строки и восстанавливаю в своей памяти наше возвращение в Ченск, я вновь ощущаю то веселое, светлое чувство, которое наполняло нас в те часы. Припоминаю, какой странный и смешной вид был у Думчева в моем широком, большом костюме и какой нелепый «спортивный» вид был у меня, как мы ве- село смеялись, глядя друг на друга!

До вечера мы прятались в роще, а чуть стемнело — вышли на дорогу и направились в город.

Должен напомнить, что оказавшись в Стране Трав, в потоке опасностей, я не смог, не успел ввести Думчева в курс тех событий и изменений, которые произошли на земле за время его отсутствия.

Мы медленно шли мимо окон чужих домов. В одних зажглись огни, в других было еще темно. Окна открыты, слышны обрывки разговоров, всплески смеха. Думчев то и дело останавливался, недоуменно оглядывался. Он вернулся к жизни, но всеми мыслями, чувствами, переживаниями еще не расстался со Страной Дремучих Трав.

Вот под большим синим абажуром собралась семья за вечерним чаем. На высоком стульчике сидит белокурая девочка, размахивает ручками, что-то лопочет, а все кругом смеются.

Припоминаю, что тогда на улицах Ченска я подумал: «Кто из людей, спокойно сидящих за столами в домах, провожающих нас слегка насмешливой улыбкой на улицах, — кто из людей поверит мне, если я скажу, что рядом, совсем рядом лежит страна, где обитают тысячи хищных животных, где широко и мощно разлилась река, через которую не может переправиться человек, где грядой встают песчаные холмы и неистовый ветер далеко разносит пыль и где грозно день и ночь шумят деревья-травы.

Думчев озирался, вслушивался, останавливался и внимательно всматривался в лица

людей, дома, деревья... Он не верил, что находится в родном городе.

И, когда из раскрытого окна зазвучал передаваемый по радио романс «Для берегов отчизны дальней», Думчев вскинул голову вверх. Точно музыка и слова шли не из окошка, находящегося на уровне его головы, а откуда-то с неба. Он постоял, послушал и, вырвав свою руку из моей, зашагал вперед.

— Куда вы? — догнал я Думчева.

— Он бежит за нами!

— Кто?

— Поющий невидимка.

Я опять взял Думчева под руку.

Это действительно могло показаться ему очень странным: ведь радио вошло в обиход в те годы, когда он жил в Стране Дремучих Трав.

Вслед за нами и рядом с нами шли новые слова романа: «...ис-чез и по-це-луй свидань-я...»

Точно одно окно передавало другому предыдущий слог, а следующее окно подхватывало новый слог: «...Но жду е-го, он за то-бой!»

Слова и музыка не отставали от нас.

Я подробно и спокойно объяснил Думчеву, что такое радио.

— Да, да! — сказал он. — Понимаю! Понимаю!

И тут же он стал утверждать, что радио существует и в Стране Дремучих Трав. Он даже привел в пример какую-то бабочку, для которой ее усики служат антенной. Припоминаю, что все время, когда мы шли по улицам Ченска, меня неотступно занимала одна мысль: надо спросить Думчева, как понимать его слова: «... то, что вы с собой принесли и потеряли, то и должно помочь». Эти слова он сказал ночью на берегу речки Запоздалых

Попреков, после того как мы убедились, что и вторая крупинка, возвращающая рост, утеряна для нас навсегда.

И вот мы в Ченске! Так что же нам помогло оставить Страну Дремучих Трав?

Вот за окном склонились над картой два вихрастых мальчугана; один из них быстро водил по карте карандашом и что-то доказывал другому. А этот другой ему возражал и с деловым видом оттачивал карандаш.

— Собираются в путешествие, — сказал я.

Думчев в ответ произнес только одно слово:

— Графит!..

И как часто в Стране Дремучих Трав, так и теперь я с недоумением посмотрел на Думчева. Но он тут же ответил:

— Вы, кажется, меня все еще не понимаете? Для того чтобы мой опыт, последний опыт, удался и не случилось несчастья, мне требовалось малоактивное вещество для замедления реакции. Нужна была пылинка графита. Вы уронили около города бумажных ос карандаш, и я получил графит. Опыт удался. Мы, как видите, не в Стране Дремучих Трав, а среди людей, в Ченске.

Я так и не успел дослушать его: мы дошли до дома, где жила Полина Александровна Булай.

Здесь некогда жил и он. Вот старое, покосившееся крыльцо. Поблескивала белая эмалированная дощечка. Я поднялся уже по ступенькам на крыльцо и хотел было постучать в дверь. Но не постучал.

— Сергей Сергеевич, что же вы остановились? Ведь мы пришли!

Но он стоял в нескольких шагах от крыльца и не двигался.

Я сбегал с крыльца и взял его за руку:

— Вот мы и пришли!

Думчев молчал. Это длилось несколько минут. Я ждал.

Потом он вдруг заговорил сам с собой, совсем так, как в Стране Дремучих Трав:

— Что же ты медлишь? Ты ведь стоишь у родного дома. Смутился? Боишься?

Возможно..

Бесстрашный путешественник, он не боялся проникнуть в гибельное гнездо ос. Отважный охотник, поражающий одним ударом хищного богомола, он стоит здесь, у старого, покосившегося крылечка своего родного дома, и... робеет!

Время шло. Наконец Думчев медленно и осторожно поднялся на крыльцо.

И опять я поднял руку, чтобы постучать в дверь.

— Не надо! — схватил меня Думчев за руку. — Обождите... Я — я еще не собрался с силами.

Он был в смятении — я это видел, понимал.

Город постепенно затихал. Потухали огни.

А Думчев точно оправдывался в чем-то предо мной:

— Сейчас... Еще немного — и я осмелюсь...

Было тихо. И мне казалось, что я слышу, как колотится сердце Думчева. Я ждал.

— Что ж, все равно, стучите! — сказал Думчев каким-то глухим и далеким голосом.

Скрипка снова зазвучала

На мой стук открыла дверь Полина Александровна. Из-за двери своей комнаты выглядывала соседка.

— Вот мы и пришли! — произнес я так просто и естественно, точно по поручению Полины Александровны сбегал в скверик позвать Думчева пить чай.

Полина Александровна вдруг схватилась руками за край шкафа. Она вглядывалась в лицо Думчева и шептала:

— Нет, нет! Не может быть!

Все молчали. Растерянность, смятение и тревога словно вошли с нами в дом и овладели всеми. Я тут же вспомнил, что у меня весьма странный вид...

Я хотел было непринужденно засмеяться, шутливо сказать что-то, но чувствовал себя связанным, и все слова казались мне фальшивыми.

Всех выручила соседка:

— Самоварчик! Теперь надо самоварчик поставить! Я поставлю свой... Пожалуйста, гости дорогие!

Я был ей благодарен.

А на наше странное одеяние никто не обратил внимания.

Я успел сказать Полине Александровне:

— Главное — не спрашивайте ни о чем Сергея Сергеевича! Берегите его. Придет время — и он сам расскажет, где был. Не спрашивайте его сейчас.

Соседка проводила Думчева и меня до дверей лаборатории и при этом приговаривала очень тепло и гостеприимно:

— Самоварчик у меня быстрый! Уголочки лихие, лучинушки сухие! Вмиг закипит! Сейчас подам!.. Полина Александровна, что же вы?! То всё ждали, ждали, а теперь чайком угостить не хотите! — слышался уже внизу ее хлопотливый голос.

Дверь в лабораторию за нами закрылась.

Очень осторожно Думчев открыл шкаф, долго смотрел, потом достал свой старый костюм. Я помогал ему одеваться. За все время он не проронил ни слова. Только присматривался ко всему.

В дверь лаборатории тихо постучала Булай. Вошла и молча стала накрывать на стол.

Соседка подала самовар. Стали пить чай. В сахарнице лежали щипцы.

Думчев взял их в руки:

— Жук-рогач!

Полина Александровна и соседка с недоумением посмотрели на меня. Но я молчал. Откуда-то донесся гудок.

— Чай, пароходом прибыли? — спросила соседка.

— Пароходом? — переспросил Думчев. — Пароходом... Значит, все еще пар? А личинка стрекозы — ракетный двигатель...

Булай и соседка опять посмотрели на него с удивлением.

Тут мне вспомнилась первая микрзаписка Думчева с упоминанием личинки стрекозы, запись на одной из карточек в его лаборатории: «Циолковский... личинка стрекозы». Вспомнил и утро на берегу речки Запоздалых Попреков, где эта личинка с необыкновенной откидной маской на голове передвигалась в воде толчками.

Конечно, способ передвижения личинки стрекозы упрощенно напоминает принцип работы реактивного двигателя. Но ракета перемещается в пространстве не простым вбиранием и выталкиванием воды (газа, воздуха). В камере ракеты сгорает топливо, и образующиеся при этом массы газа давят на верхние стенки ракеты, толкают ее вперед. Поэтому ракета может двигаться в безвоздушной среде — в «пустоте».

Самовар заглох. Соседка унесла его подогревать.

Как видно, она перестала бояться Полины Александровны. Больше того, она все время беспокоилась и заботилась о ней, а теперь изо всех сил старалась ради гостя.

Думчев оглядел всех и сказал:

— Спасибо за тишину! Они ко мне придут... Не сразу, но они придут... нормальные масштабы!

— Какие масштабы? — спросила Булай.

— Не надо, не спрашивайте меня ни о чем! Я привыкну... Мне так трудно... Не задавайте вопросов. — Думчев опустил голову.

Наконец он встал и начал ходить по лаборатории. Подошел к висячему шкафчику, открыл его, взял шприц, долго рассматривал его и сказал:

— Шершень...

Я понял: игла шприца полая, совсем как жало шершня.

Я слушал Думчева и думал: «Вот Думчев уже дома, среди людей, но он все еще видит перед собой обитателей Страны Дремучих Трав с их инстинктивной работой». Возражать ли ему? Нет! Сам он скоро возьмет в свои руки инструменты, созданные человеком. Какие чудеса творит, какие великолепные вещи создает человек, владея инструментами! Думчев сам это поймет. И, когда вспомнит скарабея, шершня, жука-рогача, он улыбнется и скажет: «Как я был смешон в своих рассуждениях!»

Я внимательно следил за ним и видел, что шаги его становятся все тверже, увереннее и соразмернее с обычным шагом человека.

Он тронул рукой футляр скрипки. Вынул скрипку, прижал к плечу. Но не играл. О чем он думал?

Самовар заглох. Соседка унесла его подогревать.

Послышался тихий-тихий поющий голос. Я не сразу догадался, кто это поет.

В дальнем углу, сидя на табуреточке, прижавшись спиной к стене, Полина Александровна чуть слышно напевала:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...

Она пела, точно разговаривала сама с собой. Не пение, а воспоминание...

Кажется, это было совсем недавно: большая русая коса, соломенная шляпа, широкие поля, синяя лента. Тихий весенний вечер. Цветет сирень. Она идет и оглядывается. А из окна глядит ей вслед молодой Думчев, и льется, льется этот мотив...

То как путник запоздалый
К нам в окошко застучит...

И, по мере того как она пела, лицо Думчева прояснилось. Точно в нарушенный строй его переживаний входили какие-то живые поправки, входили и ставили все на место.

Нервным жестом он протянул руку и повел смычком по струнам.

Эту песню, этот давно знакомый мотив он теперь заново постигал. Вот-вот — и любимая песня поможет ему вернуться к жизни.

Песня раздавалась все яснее и громче.

Скрипка Думчева вторила ей все увереннее.

Глаза Булай смотрели куда-то вдаль, а по щекам текли слезы.

Я отошел к дверям — мне было трудно, очень трудно.

Прижавшись к косяку, соседка неслышно плакала.

Опять в гостинице

Была поздняя ночь, когда я тихо, только кивком головы, простился с Булай, Думчевым и Авдотьей Васильевной.

Я вышел из дома и долго стоял на знакомом крыльце.

Нужно вспомнить что-то важное, самое главное... Но что именно?

Я хорошо знал дорогу к гостинице. Но теперь все кругом мне казалось незнакомым, и я долго приглядывался и соображал, пока уяснил себе, куда нужно идти.

Сделал шаг, другой — и остановился.

Глухой шум листвы, свесившейся через забор на улицу, испугал меня. Что это? Вдруг я снова почувствовал себя в Стране Дремучих Трав. Мне надо кого-то искать, спастись. Скорей! Скорей! Тревога и беспокойство охватили меня...

Потом, опомнился и тихо побрел дальше. Надо мной было небо, такое глубокое, звездное. Спокойная ночь маленького городка. Какая тишина! Но почему-то казалось, что тишину разрывают странные шумы, звуки, шорохи и звоны. И теперь, в Ченске, настороженность, напряженность и ощущение близкой опасности не оставляли меня. Я остановился и, словно для того, чтобы стать невидимым и уберечь себя от беды, прижался к стене на мгновение. Опомнившись, я пошел дальше, но вдруг снова остановился.

Что будет с Думчевым завтра, когда он выйдет на улицу и весь мир — непривычный, новый для него мир — глянет ему в глаза?

Ведь я совсем немного пробыл в Стране Дремучих Трав, но не могу привыкнуть к тихому городку. И трудно понять, что здесь за окнами люди спят крепким, спокойным сном. Все мне кажется другим.

Что же будет с Думчевым?

Ведь в больнице заботливо и осторожно приучают прозревшего больного к свету, после того как окулист сделал операцию. Строго выполняется наказ врача: столько-то дней темная комната, столько-то дней полутемная, и только потом разрешается больному посмотреть на окружающий мир, но все еще не при ярком солнце.

Я шел в гостиницу, и так было тихо кругом, так спокойно светили звезды! Где-то совсем рядом беззаботно пропел петух, мирно тявкнула собака. Тревожная мысль о судьбе Думчева стала рассеиваться.

Помню: открыл дверь гостиницы. Остановился: стало грустно. Ведь я уеду, расстанусь с Думчевым...

Дежурная по гостинице машинально протянула было ключ, но, глянув на меня, остолбенела. Ключ остался у нее в руке. Наконец она выговорила:

— Вы?! Нет, нет, не может быть! Ведь вы пропали!

— Я был за городом. Недалеко отсюда, — смутившись, ответил я. — Простите, что не

предупредил...

— Но сюда приходили, вас искали! Был переполох... Так нельзя... Надо предупреждать!

Все тот же номер гостиницы. Лежит на стуле мой старый чемодан. Он уже в чехле, застегнут на все пуговицы. Ведь я собирался уехать в Москву. За окном совсем такая ночь, как та... когда влетел сюда букет. И все тот же светлый квадрат соседнего окна лежит на земле. Все как будто так, как раньше. Но все и не так, и не то. Я стал другим: за это время я побывал в Стране Дремучих Трав!

На столе лежало письмо от профессора Тарасевича, ожидавшее меня уже несколько дней.

«Уважаемый Григорий Александрович! Я вызван на областную конференцию. Очень сожалею, что вы не застанете меня. Какая-то женщина, по фамилии Черникова, из Райпищеторга распространяет в городе слух, что вы „растаяли и пропали“ у нее на глазах. Какая чепуха! Надеюсь, что вы всё сами объясните. Но так как ваша одежда, по словам Черниковой, почему-то осталась за беседкой, то я помог, на всякий случай, организовать поиски и уезжаю с большой тревогой за вас. С приветом. Ваш Тарасевич».

Строится дом, поются песни

Прошла ночь. Проснувшись довольно поздно, я оглядел светлый номер гостиницы и почувствовал тревогу: как Думчев?

Я сейчас же отправился к нему, но на одной из улиц увидел Думчева. Никого не замечая, точно забыв обо всем на свете, стоял он на углу улицы и смотрел на стройку какого то многоэтажного дома.

Поодаль стояли Полина Александровна и соседка. Они не спускали с Думчева глаз. Соседка знаком пригласила меня подойти к ним. Я узнал, что утром, совсем рано, она услышала, как хлопнула дверь на улицу, и увидела, что Думчев уходит. Беспокоясь — Сергей Сергеевич еще и чаю не напился, — она позвала Полину Александровну. Обе пошли вслед за ним. Всё собирались его окликнуть — и всё не решались. И вдруг он остановился у этого дома, и вот стоит! Стоит, все смотрит и смотрит. А на что тут глядеть? Разве не видел он, как большой дом строится?

Думчев долго и неподвижно стоял на одном месте.

Потом в каком-то нетерпении, точно негодуя на себя, он стал быстро менять места наблюдения.

...Плыла в ясном утреннем небе стрела крана с бункером, наполненным цементным раствором. Трепетали на легком ветру и то припадали к забору, то рвались вверх к небу огромные красные полотнища со словами: «Досрочно выполним и перевыполним полугодовой план строительства жилых домов!» А из открытого окна другого дома в небо лилась песня:

...по камушкам, по желтому песочку...

Фраза обрывалась, был слышен только настойчивый аккомпанемент, и снова все начиналось» с самого начала:

...по камушкам, по желтому песочку...

Певица в соседнем доме разучивала арию Наташи из «Русалки», и растекался в свежем воздухе ее высокий голос.

Она смолкла. И стало слышно, как девушки-маляры, стоя на подоконниках, крася рамы, открывая и закрывая окна, поют что-то свое. Слова песни были грустные, но девушки пели

беззаботно и даже с каким-то озорством, так что становилось весело на душе.

А в небе, утреннем, голубом, высоком небе плыла, плыла стрела крана с бункером. Вот кран двинулся вдоль стройки. Опустились тросы. Вот они опять уходят в высоту. И стрела кружит, кружит над стройкой — новой стройкой, без лесов.

К одноэтажному дому, около которого стоял Думчев, подошли юноша и две девушки. Не входя в калитку палисадника, перегнувшись через низенький забор, за которым росли кусты жасмина и роз, юноша позвал:

— Оля, Оля, скорей! Сережка ждет на яхте. Ведь договорились к двенадцати!

— Иду! — ответил чей-то звонкий голос.

Юноша и девушки уселись на скамейку у палисадника.

Думчев подошел к ним. Юноша встал и предложил Думчеву сесть. Но Думчев не сел. Он точно изучал их. Как широко и светло улыбаются они! Как весело смеются, продолжая свой разговор!

Хлопнула калитка. Выбежала Оля из палисадника, в белом платье, с ярко-синей косынкой в руке. Она запела:

Споете ж, друзья,
Ведь завтра в поход..,

Все подхватили песню и, взявшись за руки, побежали по улице.

Долго им вслед глядел Думчев.

Пела певица. Пели девушки-маляры. Издалека доносилась песня Оли и ее друзей.

А в утреннем небе совсем ажурной стала стрела с бункером. Легко, плавно и весело плыла она в высоком небе.

Думчев наконец очнулся и пошел по направлению к дому.

Мы шли за ним. Но он нас не замечал. Он говорил сам с собой:

— Поют! Все поют! Удивительно! А дом? Где, куда спрятались оборванные каменщики в лаптях — строители этого дома? Механизмы... И все поют... Откуда же такая радость? Как это все понять?..

Так говорил сам с собой Думчев. А где-то далеко певица снова запела:

Пробегала... пробегала... быстра... реченька..

«Спасибо, от всей души спасибо!»

Думчев заперся в своей лаборатории и не выходил оттуда. Мы решили его не тревожить. Так прошел день.

Я очень устал от всего пережитого. Да и пора было возвращаться в Москву.

— Сергей Сергеевич все говорит о странных вещах, я не пойму его, — жаловалась мне Булай. — Скажите, где был Сергей Сергеевич эти годы? Откуда он вернулся?

Но я медлил с ответом. Ведь мне надо теперь же, сегодня или завтра, свершить еще один путь с Думчевым. Пройти с ним по дорогам десятилетий — дорогам, уже пройденным всеми людьми, ввести его в жизнь. Надо подобрать для этого правильные слова, так много объяснить... И он увидит, поймет все, что произошло за эти десятилетия. А тогда пусть и Булай узнает о Стране Дремучих Трав. А сейчас всякие разговоры и расспросы только встревожат.

Под вечер второго дня я постучал в дверь лаборатории Думчева. Пора было мне уезжать из Ченска.

Я был чрезвычайно удивлен, увидев на лице Думчева совсем неожиданную улыбку, даже по-детски чуть-чуть шаловливую. Она то пряталась в уголках рта, то появлялась в блеске глаз. Точно первое знакомство с новой жизнью осветило его лицо.

— Друг мой! — начал Думчев. — Я уже увидел, услышал и приметил такое, что и слов не подберешь!

— Для этого я и пришел к вам, Сергей Сергеевич! Мне кажется, что я помогу вам скорее понять, почувствовать все, что вы еще увидите.

— Спасибо за ваше доброе намерение, но я не отстающий ученик в гимназии...

Я понял его: долго, слишком долго он жил без людей, без всякой помощи в Стране Дремучих Трав, привык во всем разбираться сам.

— Вы меня не поняли, Сергей Сергеевич. Перед вами совсем-совсем новая жизнь...

— Вот я и хочу попытаться без чьей-либо помощи войти в эту жизнь. Понять. Сам хочу! Все понять, все почувствовать! Тут моя гордость! Моя честь!.. — И Думчев круто повернул тему разговора: — Знаете ли вы, Григорий Александрович, какой сегодня день?

— Пятница...

— Ах, я не о том! Сегодня самый высокий и светлый день в моей жизни! Я вновь стал писать, восстанавливать дневник тех многих лет, что прожил в Стране Дремучих Трав. Я возобновлю и вновь напишу все то, что ветер по листочкам разметал, развеял. Вот смотрите, — указал он на узкие, длинные листочки, лежащие стопками полукругом на большом столе. — Пусть ученый мир учтет мои наблюдения и последует за моими выводами.

— Дневник вы будете писать долго, очень долго. А я должен уехать. Пробуду еще в Ченске день или два. За это время прошу вас набросать статью-заявку. Коротенько, только коротенько изложите в ней основную суть вашего дневника, поставьте вехи, по которым пойдет направление ваших мыслей, и укажите основные открытия. А я передам в журнал «Наука и техника».

— Как вы сказали? Заявка? Я не понимаю этого слова. Ведь не о патенте и не об авторском свидетельстве на техническое изобретение я хлопочу.

Я все старательно ему разъяснил. И Сергей Сергеевич меня понял.

— Ах да... конспект... Надо составить конспект.

Это слово «конспект» звучало у Думчева как-то по-особому выразительно, точно в этом слове был заключен глубокий смысл, понятный ему одному.

Какой радостью и воодушевлением горели его глаза!

— Спасибо! От всей души спасибо!

И я отложил свой отъезд из Ченска: дождусь заявки Думчева.

Я привык к этому городку с его садом, где деревья смыкают над аллеями свои кроны; с тихими улицами, где рядом со светлыми, ясными домами, построенными совсем недавно, стояли домики нарочитой, кудреватой, старомодной архитектуры — домики, напоминавшие мне некоторых героев из бытовых романов прошлого века; с библиотекой-читальней, в которой оказалось так неожиданно для меня много примечательных книг. Мне все больше нравился этот городок за его чуть-чуть солоноватый воздух, который веет в лицо, когда утром смотришь из окна на далекое море.

Сразу за городом начиналась степь. Из степи, уже выгоревшей на солнце, двумя рядами своих каркасов тянулись к городу недостроенные дома. Шумел и пыхтел паровозик на узкоколейке, таща платформы, груженные песком, кирпичом, блоками. Подъезжали грузовые краны, регулируемые машинистом, сидящим в будке, забирали блоки прямо с платформы на верхние этажи, а рабочие, весело перекликаясь с машинистом и друг с другом, выкладывали в высоту ряд за рядом полые блоки. А там, далеко в степи, поднималась к небу остроугольная вышка и слышался резкий, пронзительный скрип лебедки.

Прошел день-другой. «Наверное, Думчев закончил свой конспект», — подумал я.

И вот однажды под вечер я зашел к нему. Думчев стал говорить о Стране Дремучих Трав, о ее замечательных обитателях, об их удивительных формах. Он надеялся, что его наблюдения помогут ученым внести много нового в технику.

— Все эти дни и ночи я обдумывал разные варианты конспекта, вернее — совсем разные конспекты. Но завтра я отберу, непременно отберу самое важное. Я надеюсь, что мои выводы и положения подскажут совсем новые пути в ряде отраслей техники. Вот еще день-

два — и все будет готово, — сказал он мне.

Конечно, я не сомневался в значительности открытий, о которых сообщит Думчев в своем проекте.

Через несколько дней я снова зашел к Думчеву.

— Мой друг! — сказал он решительно. — Вся Страна Дремучих Трав полна открытий, и вся она неизведана. Превеликое множество проектов у меня в голове. И все, все одинаково важны. Какой же конспект мне писать? Остается одно: молча, совсем молча указать людям на эту страну. И вовсе ничего не писать!

Когда я уходил из домика с башенкой, у меня было такое ощущение, что Думчев захлебнулся в море наблюдений и открытий, сделанных им. Я жалел, что не спросил Думчева об удивительных ферментах, так чудесно влияющих на человеческий организм, и о том, возможно ли приготовить здесь эти составы. Неужели мир не узнает этой тайны? Я боялся, что мой вопрос растрожит его: ведь подвалы, где хранились замечательные газообразные ферменты метаморфоза, завалены и засыпаны землей. Все там погибло.

Мои пометки на конспекте

Через несколько дней я получил два экземпляра конспекта Думчева. Они были аккуратно переписаны острым, крупным почерком. По-видимому, писала Булай.

А Думчев все повторял:

— Из этого конспекта мир узнает много нового! Вы помогли мне вернуться к людям! За это спасибо! Но все величие вашего подвига я особенно чувствую сейчас, когда вы предлагаете мне свою помощь. Спасибо вам за то, что вы передадите людям открытия, сделанные мною в Стране Дремучих Трав!

Он много и часто повторял «Спасибо, спасибо!», был как-то смущен и растроган. Он не знал, как благодарить меня за то, что я принимаю такое большое участие в его деле, и сказал:

— Один экземпляр лично для вас.

Мне почему-то не хотелось читать конспект в душном номере гостиницы. Я дождался утра, взял из библиотеки книги, справочники, словари и пришел в сад, чтобы разобраться во всем.

Как старший друг, суровый и взыскательный, этот сад уже много раз встречал меня своим протяжным, долгим шумом. Чуть свернешь с главной аллеи — темно, тихо. Тропинки заросли травой. Сад не огорожен. Но огромная деревянная голубая арка стоит у входа в главную аллею. На арке приветливая надпись: «Добро пожаловать!»

На большой, с покатой спинкой скамейке я разложил книги и приступил было к чтению.

Зеленый кузнечик прыгнул ко мне на ногу, подскочил и исчез в траве. Я улыбнулся своим воспоминаниям. Где-то совсем рядом перекликались веселые детские голоса,

— Палочка-выручалочка!

— Выручай!

— Нашел! Выходи! Раз! Два! Три!

Но я углубился в чтение, и ко мне уже совсем издали доносилось:

— На-шел! На-шел!

Конспект Думчева начинался необычно: «Люди науки! Я вижу, как вы читаете конспект моего будущего дневника. Некоторые из вас, дальнорюкые, надели очки, другие, близорюкые, сняли очки. А некоторые одну пару очков надели, а другую держат про запас в кармане.

Оставьте свои очки! Идите к любому пруду. Там вы найдете нечто гораздо более совершенное. Поймайте жука-вертячку. Да! Да! Я не безумен: жука-вертячку. Он живет на границе воздуха и воды, то есть и в воздухе и в воде. Но световые лучи, падающие в глаза жука, находящегося в воздушной среде, преломляются на один лад, а световые лучи, проходящие через воду, преломляются иначе — гораздо слабее. У вертячки каждый глаз

разделен пополам. Одна половина лежит выше — она видит в воздухе, а другая, нижняя, половина видит в воде. Фокусные расстояния половинок разные. Когда вертячка скользит по воде, то верхняя половинка наблюдает за тем, что делается в воздухе, нижняя — за тем, что в воде.

Бросьте свои очки! Исследуйте вертячку! Примените этот принцип двухфокусного зрения! Устройте себе стекла двухфокусных очков!»

Здесь я сделал пометку карандашом:

«Поздно! Кассир в Москве, когда выдавал мне железнодорожный билет, посмотрел на меня через свои очки довольно странно. Это меня заинтересовало. Кассир разъяснил: обычные двухфокусные очки! Их можно заказать в любой аптеке».

Это предложение Думчева, конечно, устарело! «Но, наверное, — подумал я, — дальше я прочту что-либо новое и неожиданное». Я пропустил несколько строк и остановился на другом месте.

«Люди! Вы роете туннели в горах, пробиваете разные породы земли. Учитесь у жуков-древоточцев! Исследуйте, почему они чувствуют, где слой дерева тоньше и где толще».

Дальше Думчев писал о торедо новалис — корабельном древоточце:

«Обратите внимание на то, что этот древоточец-моллюск, похожий на небольшого червя, покрыт согнутой пластинкой и легко проходит сквозь самое твердое дерево. Непременно изучите, как он пробивает это дерево. И создайте по примеру торедо новалис аппарат для пробивания дерева».

Я выразил сомнение и написал на полях:

«Совет интересный, но вряд ли этот древоточец подскажет человеку идею изобретения нового бура».

Думчев говорит:

«Строитель, учись у пчелы экономно строить! Каждая стенка ячеиного вместилища используется дважды. Здесь все преимущества постройки вместилищ с шестиугольным сечением. Какая экономия строительного материала, и при этом большая прочность! А именно: вес воска (строительного материала сот) в шестьдесят раз меньше заключенного в нем меда».

Я сделал самоуверенную пометку: «Зачем рекомендовать вниманию архитекторов ячейки с шестиугольным сечением? Фантазия архитектора не нуждается в подсказке пчелы.

Самый плохой архитектор, прежде чем построить дом, создает план этого дома в своем мозгу. А потом, если нужно, он меняет и улучшает этот проект. Пчела ничего менять не может. Пчела всегда «строит» инстинктивно. Если проколоть ячейку, мед будет вытекать. Но пчела все будет носить и носить мед в эту дырявую ячейку, отложит сюда яичко и запечатает пустую ячейку. Слепой инстинкт! Она и прилетает именно столько раз, сколько необходимо для заполнения ячейки».

И тут я вспомнил, как пробивал крышу гнезда, куда листорезная пчела отложила яичко. А она бестолково, инстинктивно все укладывала и укладывала новые крыши. И уложила она столько крыш, сколько укладывает всегда, «не заметила», что все они были пробиты.

«...Вес воска в шестьдесят раз меньше заключенного в нем меда». Это примечательно. Но воск как строительный материал для человека?! Довольно странное предложение!

Думчев пишет:

«Человек, научись защищать свои дома от холода!

Самка богомола, откладывая свои яйца, обволакивает их особой жидкостью, которую непрерывно выделяет. Эта масса с пузырьками воздуха внутри предохраняет яйца от чрезмерной жары и сильного холода. Исследуйте эту жидкость».

Моя пометка:

«Речь идет о тепловой изоляции. Но ведь воздух как изоляционный материал давно известен. А совсем недавно техника наших дней, учитывая воздух как термоизоляционный материал, создала особый вид пеностекла. Материал этот по легкости и пористости превышает даже пробку. Чтобы получить подобную массу, необходимо было найти способ

регулирования образования пористой структуры в стекломассе. Секрет заключается в том, чтобы поры с газом распределялись в стекломассе равномерно».

«Незачем в пене богомола искать равномерность распределения отдельных пор!» — подумал я.

Так со смущенной душой читал я конспект Думчева и все отмечал на своем экземпляре: «Поздно! Поздно!»

Все тяжелее становилось на душе у меня: неужели зря прошла вся жизнь Думчева? Что же будет с ним, когда он сам в этом убедится? Что ответят ему из Москвы? А ведь он из Страны Дремучих Трав бросал вызов современной науке.

И вот мне стало трудно читать дальше...

— Палочка-выручалочка!

— Палочка-выручалочка! — повторял я вслед за звонкими колокольчиками детских голосов.

Что же мне делать?

А солнце высоко, оно пробивается сквозь зеленую листву. И тени всё короче. Уже полдень.

— Палочка — вы-ру-ча-лоч-ка... — звучит то близко, то далеко.

Читать ли дальше? Я медлил. Я чего-то ждал.

Поздно! поздно!

Как шумно, как пестро на аллее! Звонкие молодые голоса, яркие платья девушек. Появились, прошли. Все стихло. Из глубины сада слышны два знакомых голоса. Узнаю их. Это Лена и Павел.

— Последний мяч я взяла у сетки. Он был решающий. Даже ракетка зазвенела!

— Сегодня отдыхай. Завтра полуфинальная встреча.

— Буду отдыхать и писать письмо. Совсем маленькое, микроскопическое!

— Как то, что принес в спичечной коробочке тот... из Москвы?

— Помнишь? Дижонваль... Эратосфен... Смех.

Ушли.

Я стал читать дальше.

Думчев пишет:

«Водяной паук — аргиронета подсказывает принцип устройства водолазного колокола. Но есть и другие подсказчики. Отыщите личинку мухи-ильницы. Она сама в воде, а хвост ее торчит из воды. Зачем? Чтобы дышать.

Когда вода поднимается, удлиняется и хвост. Хвост этой личинки — две воздушные трубки, два канала в прозрачной оболочке. Эти трубки укорачиваются самым неожиданным образом. Здесь есть чему удивиться. И есть чему поучиться. Стройте такие же приборы и опускайтесь на дно морское!»

Моя пометка:

«Об этом я уже читал в листах Думчева о путешествии с дневником. Правда, в книге, которая вышла совсем недавно, о глубоководных водолазных спусках даже прямо сопоставляется скафандр с этой личинкой. К самым точным техническим терминам прибегает автор, сравнивая личинку и скафандр.

Он говорит о том, что хвост личинки вытягивается в воде, как перископ, и о том, что хвост личинки состоит из внешней прозрачной оболочки со «звездообразной втулкой» на конце и двумя воздушными трубками, по которым всасывается воздух.

В этой же книге указывается, что водолазы в скафандре пользуются тем же техническим способом всасывания воздуха для дыхания, каким пользуется это насекомое.

Говорится и о том, что трубки хвоста личинки удивительно похожи на водолазные шланги — они не сминаются благодаря спиральной кромке, скрепляющей их

цилиндрическую форму».

«Совпадение! — думаю я. — Вряд ли изобретатель скафандра обращался за советом к личинке».

На долгие десятилетия потонул Думчев в Стране Дремучих Трав, потонул в своих наблюдениях. А жизнь шла. Каждый изобретатель, создавая свое творение, учитывал поиски других, обменивался опытом с другими людьми, изучал достижения науки и техники. А Думчев требует: человек, учись у насекомых!

Да, да! «Учись у паука! — утверждает он в этом конспекте. — Учись постройке мостов, учись новому способу изготовления нитей у... паука!»

Я пытался разобраться в этих тезисах Думчева.

«Паук учит строить мост без быков, — пишет Думчев. — Такой мост недорог и прочен. Мост на цепях».

Странное предложение! Ведь люди уже давно строят цепные мосты. Без подсказа паука.

Правда, в одном справочнике я отыскал заметку, которую легко можно было принять за шутку: будто действительно первый строитель висячего моста обратил внимание на паутину, протянутую через дорожку сада, по которому он гулял в ясный осенний день. Ему и пришла в голову мысль: не построить ли мост на железных цепях?

Думчев пишет:

«Еще в семнадцатом веке люди пытались использовать паутину для изготовления тканей. Не в этом, конечно, дело: из паутины одежды не сделаешь. Но заимствуйте у паука самый способ приготовления нитей!»

Дальше Думчев предлагал изобретателям повторить тот самый процесс получения нити, который я наблюдал, когда попал в паутину.

Я заглянул в энциклопедию и отметил на полях конспекта Думчева:

«Запоздалое предложение! В 1890 году уже была пущена первая фабрика искусственного шелка».

Отмечая это на полях, я заинтересовался технологией самого процесса производства искусственного шелка. И пришел к заключению, что сопоставление паука, или живой машины, с вискозной машиной довольно любопытно.

У паука капельки клейкой жидкости, выходя из трубочек на бородавках, застывают в воздухе и превращаются в нить паутины.

Повторяет ли этот процесс прядения паутины машина? В машине жидкий раствор выдавливается из тонких капиллярных трубочек — фильер — и сразу в воздухе превращается в шелковые нити.

Увлечшись, я попытался точнее сопоставить эти два процесса и записал:

«Прядильная машина и паук!»

У паука — паутинная бородавка, железа. Она когда-то мне представлялась огромным наростом, из которого торчат короткие прядильные трубочки. На концах этих трубочек находятся выводные протоки паутиных выделительных желез.

У машины — прядильный раствор, подающийся под давлением в тридцать — сорок атмосфер в трубопровод, выдавливается из фильер — тончайших трубочек — с отверстием от 0,05 до 0,1 миллиметра. Иногда отдельные трубочки заменены одной, на которой надет платиновый колпачок со многими отверстиями (больше пятидесяти). У паука — клейкая масса, выделяемая в виде отдельных ниточек, слипается на воздухе в одну крепкую нить.

У машины — выдавленный прядильный раствор затвердевает на воздухе в тонкую нить и наматывается на шпульку (сухой способ).

У паука — задняя пара ножек тянет за собой паутину, не давая ей приклеиваться к посторонним предметам. У машины — полученная нить направляется на шпульку особым эмалированным острием.

Соединение нескольких нитей в одну происходит при помощи небольших эмалированных вилок.

Да! Но этот способ производства искусственного шелка устарел. Есть множество

технических новшеств. Прядильный раствор после выдавливания проходит через специальную жидкость — восстановительную ванну — и, в дальнейшем затвердевая, наматывается. Таким образом, машина, созданная человеком, давно перегнала паука! И все меньше и меньше процесс производства искусственного шелка походит на процесс прядения паука».

Но почему вдруг стало тихо в саду? Не слышно голосов. Ветер перелистывает книги и справочники.

На небе быстрые дымчатые облака плывут, сливаются. И вот уже темная туча застилает небо и низко ползет над землей.

Стало холодно и ветрено. Пора уходить... В номере гостиницы я дочитал конспект Думчева. Здесь уже были более чем неожиданные и весьма странные положения и утверждения.

История человеческого оружия начинается, по мнению Думчева, в Стране Дремучих Трав. Древний человек якобы заимствовал свое оружие у насекомых.

Чтобы это доказать, Думчев устанавливает, что все виды своего вооружения человек некогда изготовил по двум принципам: по принципу режущей плоскости и по принципу острого клина.

Челюсти насекомых с зазубренными краями (принцип режущей плоскости) подсказали человеку изготовление ножа, меча и сабли. Рогач-олень — копьё и кинжал (принцип острого клина).

Бронзовке, говорит дальше Думчев, не страшны пчелы. Пусть жалят: ее твердый хитиновый покров неуязвим!

Человек это увидел, учел и изготовил щит, предохраняющий от ударов копья. Бронзовка подсказала человеку: создавай себе такую броню, как у меня!

«Странное утверждение, — записал я тут же на полях. — Никогда, ни при раскопках, ни в пещерных и наскальных рисунках первобытного человека, не найдено ни следа, ни намёка, ни указания на то, что первобытный человек обращался за подсказкой к миру насекомых.

Первичное орудие — ручной топор, или рубило, грубо обитый камень, лук, стрелы — все это никак не связывается с «техникой» в мире животных.

В конспекте Думчев рассказывает, как насекомое тащит, толкает, передвигает груз, во много раз превышающий вес его тела. Он говорит о роющих, скребущих, режущих, хватающих приспособлениях насекомых. Вот это, пожалуй, интересно...

Я читаю дальше — о выносливости насекомых.

Обитатели Страны Дремучих Трав могут жить без пищи месяцами, замирать на годы. Паук-крестовик ткёт свою паутину длиной семьдесят два метра, не принимая никакой пищи, а если добыча не попадается в эту сеть, он плетёт в другом месте новую.

Грустно и тяжело читать этот конспект будущего труда Думчева, — труда, на который уже потрачены десятки лет жизни в Стране Дремучих Трав и ещё уйдут годы и годы. Вот настанет час — труд будет закончен, и станет тогда ясно: в основе его лежит идея совершенно произвольная, случайная и просто смешная: «Человек, учишься технике у насекомого!»

Все советы и «откровения» Думчева запоздали!

Конспект заканчивался таким же необычным обращением, как и начинался:

«Ученые! Не на папирусах и не на пергаментах вы сегодня пишете свои труды, а на бумаге из древесной массы. Не забывайте: бумажные осы подсказали человечеству, что бумагу можно готовить из древесных волокон. И с этого дня великая экономия в расходовании средств на бумагу многократно увеличила распространение науки и знаний».

Неожиданный визит

Как! Все тайны Страны Дремучих Трав, покровы с которых сорвал Думчев, все загадки

инстинктов обитателей этой страны, которые он разгадал, все открытия, которые он сделал, все это предстало предо мной в виде убогого перечня на тему: «Человек, учись технике у насекомых»?

Что случилось? Я видел, как много Думчев открыл, изобрел в Стране Дремучих Трав. Я сам убедился, что много нового он может сказать людям. Я был свидетелем, как подчинил он разуму человека инстинкты обитателей этой страны. И все это словно исчезло. В своем конспекте Думчев — покорный раб каких-то случайных знаний. Я вспоминаю смятение его, когда он мне сказал: «Тысячи вариантов конспекта у меня в голове, и все одинаково важны». И он все откладывал, откладывал... Не сумел отличить главного от второстепенного. И не Думчев выбрал проект, а один из проектов — самый случайный — овладел воображением Думчева, покорило его.

Видно, все дело в том, что в дни одиночества в Стране Дремучих Трав Думчев тысячи и тысячи раз готовился к разговору с людьми и создавал в своем воображении проекты, варианты, новые и новые редакции этого разговора. И вот невысказанные варианты и варианты вариантов множились, стали душить его. Чем больше он молчал, тем меньше мог разобраться и отобрать главное, что нашел в Стране Трав. Все открытия и наблюдения были ему одинаково дороги и значительны.

Варианты подчинили себе мысль человека.

И вот вместо хватающей за душу симфонии мы слышим несколько бессвязных тактов.

«Конспект ошибок»! Я написал эти слова на обложке рукописи Думчева.

Горечь! Грусть!

Довольно! Пора уезжать! Я начал снова укладывать чемодан. Конечно, Думчев — бесстрашный путешественник по неизвестной стране — сам заблудился в дремучем лесу своих находок, открытий, замыслов и предположений.

Вот уже вечерет... Не закрылась ли библиотека? Надо успеть сдать книги. Переложу вещи потом.

Я вышел из гостиницы, а рукопись оставил на столе.

Рассеянность? Недосмотр? Поспешность? Не все ли равно? Но беда случилась только потому, что конспект со своими пометками я оставил на столе, а сам ушел в библиотеку.

Чуть моросил дождик. Людей на улице не было видно. Небо заволочило густыми серыми облаками. Было сыро и ветрено. Безотрадные, унылые мысли не оставляли меня.

Что я напишу Думчеву из Москвы? Сдать его рукопись в редакцию? Но в пей нет открытий. Ах, зачем я, не подумав, в горячем порыве сердца обнадежил, воодушевил Думчева? Зачем вызвался отвезти в журнал его заявку? Думчев мне поверил. Он верит, что перевернет науку своими открытиями. А рукопись из редакции ему вернут. Может быть, напишут: «У вас есть интересные сопоставления форм инстинкта в мире насекомых с техникой, создаваемой умом человека. Вместо того чтобы открывать давно открытое, напишите увлекательную книжку для детей».

Я вспомнил рассказ одного писателя о старике с большой седой головой и лицом цвета пергамента. Этот старик когда-то бродил по захолустному городку и десятки лет пытался всем доказать, что он открыл какие-то совсем новые приемы и методы исчислений. Но его никто не слушал. Однажды приезжий студент-математик взял его записи и увидел, что старик «открыл» давным-давно открытую таблицу логарифмов.

Старик не без труда убедился в правильности слов студента. Долго благодарил его и ушел к себе домой. В тот же день его нашли мертвым. Вот история старика.

Было уже совсем темно. Я сдал книги и вышел из библиотеки. Низкие тучи висели на небе. Одинокими показались мне огни фонарей на улице.

С грустным чувством спускался я с высокого мокрого, скользкого крыльца библиотеки. До гостиницы оставалось пройти квартала два и переулок. Потом я узнал; в этот же час Думчев спешил ко мне — спешил радостный и счастливый. Но мы разминулись.

Думчев не застал меня в гостинице. И случилось то, чего я не ждал и не предполагал.

От Булай я узнал все, что произошло с Думчевым в этот день.

После обеда Сергей Сергеевич, сопровождаемый, как обычно, Полиной Александровной, вышел из дома и, проходя мимо нового здания школы, остановился. Сюда подъехала грузовая машина, свежесмытая, убранная ветками зелени. На крыльцо выбежали ребята с веселыми криками, шумным смехом:

— За нами приехали! За нами! В поход!

И на лице Булай, когда она рассказывала об этом, выразилось крайнее недоумение:

— Почему Сергей Сергеевич остановился? Все смотрит, смотрит и не может насмотреться. Точно никогда не видел, как пионеры уезжают в лагерь.

Тут надо сказать, что Полина Александровна так еще и не узнала, откуда прибыл Сергей Сергеевич. Она не хотела тревожить его расспросами. А я так и не успел и не знал, как ей рассказать об этом.

Сергей Сергеевич увидел, как высокая белокурая девушка спустилась с крыльца и скомандовала:

— Смирно! К выносу знамени приготовься!

И, когда мимо затихших ребят, быстро построившихся в линейку и взметнувших руки в салюте, под звуки двух фанфар и маленького барабана стали проносить знамя, трепещущее красное знамя с золотыми буквами, лицо Сергея Сергеевича выражало почти восторг.

Он вглядывался в глаза ребят — серые, голубые, карие, черные глаза, такие лучистые, бойкие, блестящие. Эти глаза гордо и строго провожали свое пионерское знамя.

Потом знамя водрузили на машину, и сразу все смешалось, зашумело, засмеялось. Ребята, обгоняя и опережая друг друга, кто как мог со всех сторон взбирались на машину. Шофер стал подсаживать младших.

Но одна девочка, совсем маленькая, крикнула:

— Я сама! Я сама!

Она быстро, цепко и ловко взобралась на колесо, перегнулась через борт — отлетели в сторону две косички и синенькая в складочку юбочка. Девочка прыгнула, села на скамейку рядом с фанфаристом и горделиво посмотрела на ребят.

Тут уж Сергей Сергеевич не выдержал — он сам засмеялся и замахал ребятам.

Шофер посигналил. Ребята запели песню. Машина скрылась за поворотом.

Потом Думчев пошел домой. Всю дорогу он молчал. На этот раз даже сам с собой не разговаривал, хотя был взволнован.

Молча он прошел в лабораторию, заперся.

Потом неожиданно спустился со своей башенки и сказал Полине Александровне:

— Я должен признаться — главного, самого главного мне самому не понять...

Он был в большом смущении, уселся глубоко в кресло и задумался. И тут Полина Александровна и соседка Авдотья Васильевна стали его осторожно расспрашивать: чего же он, собственно, не понимает?

— Я смотрел, как дом строится, быстро растет, а людей там почти и не видел. Не удивился. Увидел на улицах вместо конных экипажей и телег много машин. Понял. Не удивился. Но вот... Скажите мне, откуда эти пески? Откуда эта радость? И дети и взрослые... И утром и вечером... Другие люди!

— Чему ж тут удивляться? Чего ж тут не понимать, Сергей Сергеевич? — сказала Авдотья Васильевна, всплеснув руками. — Чему ж тут удивляться, Сергей Сергеевич? — повторила она и вскочила: — Ах, молоко на кухне убежало!

И тут только Полина Александровна узнала, что Сергей Сергеевич пробыл, подобно Робинзону, не встречая все эти долгие годы ни одного человека, в какой-то неведомой стране. Но в какой? Она не решалась об этом спросить.

О, как много, много придется ему узнать, прежде чем он поймет новую жизнь!

Полина Александровна начала с пионеров, которых он видел в этот день, и перешла к тому, что произошло за все годы.

Улыбка глубокой, сосредоточенной радости преобразила и осветила лицо Сергея Сергеевича. Полина Александровна посмотрела на него и вдруг узнала, вспомнила эту

улыбку. Вот с такой радостной улыбкой Сергей Сергеевич когда-то, давным-давно, пришел к ней и просил послушать сочиненную им пьесу для скрипки. Перед тем как сыграть ее, он сказал:

«Представьте себе — широкая степная дорога, уходящая вдаль. Летний полдень. Воздух зноен. Все живое умолкло, спряталось, притаилось. Такая тишина в степи бывает, когда долго стоит сухая, жаркая погода. Но эта тишина вся напряжена. И вот откуда-то издалека слышен гром, приближается гроза. И, предвосхищая грозу, слышны отдельные вопрошающие голоса. Удар колокола. Тишина взорвалась. Голоса сливаются в хор. Гроза разразилась не на шутку. Хор голосов приветствует грозу, сливается с ней. Гроза прошла. Остался торжествующий хор. Умылась живительным дождем степь. Все ожило. Хор постепенно, постепенно тает. Только близко, совсем близко заливается радостной песней степная птичка».

И Полина Александровна через много-много лет снова увидела на лице Сергея Сергеевича ту же улыбку, с какой он некогда играл свою скрипичную пьесу.

И все, о чем рассказывала Булай, Сергей Сергеевич слушал так радостно, так горячо, будто он узнавал в этом очень знакомое, близкое и родное, что жило в его воображении, с чем сроднился он в своих думах еще тогда, давным-давно. Мягче и светлее становилось его лицо, и радостно шептал он:

— Знаю! И все понимаю... Знаю!..

Столько было убежденности в его восклицании: «Знаю!», что Полина Александровна подумала: «Полно, уж не пошутил ли Сергей Сергеевич, когда говорил, что жил в какой-то необитаемой стране много лет?»

Взволнованный, вскочил он с кресла, где так долго сидел, слушая Булай, и воскликнул:

— Теперь понимаю! Там, в Стране Дремучих Трав... где я жил много лет... не об этом ли там хотел мне рассказать мой друг, с которым я вернулся сюда? А я!.. Я не слушал его, не понимал, обидел там, в Стране Дремучих Трав!

Полина Александровна всплеснула руками:

— Какая страна?

Но Думчев не расслышал.

— Бегу в гостиницу! Извиниться и сказать два слова.

Итак, мы разминувшись.

Я шел в это время из библиотеки в гостиницу; надо взять чемодан — и на вокзал!

«Не забыть бы переложить вещи в чемодане. Рукопись... оба экземпляра... на самое дно», — вспомнил я, уже подходя к гостинице.

Все чаще и сильнее дождик. Надвигался с моря туман.

Гостиница. Ключа в шкафчике на обычном месте не видно. Он торчал в двери. Я открыл дверь в свой номер и замер.

Ярко горела лампа. Было тихо. Но где же рукопись Думчева?

На столе ее не было.

Она исчезла.

Девушка, читающая романы

— Товарищ дежурная! Кто был в моем номере? Молчание в ответ. Девушка продолжала читать.

Я подошел, положил руку на книгу и прикрыл страницу.

— Ах, это вы!.. — подняла наконец на меня глаза дежурная. — Если бы вы знали, какой это чудесный роман!

— Так кто же был в моем номере?

— Ах, кто был?.. Я дала ключ от номера седьмого тому гражданину из Москвы... Он все уезжал, уезжал и так и не уехал. Потом снова сказал: «Я уезжаю» — и опять вернулся...

— Вы говорите обо мне! Я уходил в библиотеку. Ключ сдал вам. Только что вернулся, а ключ в двери торчит. Кому вы давали ключ? Кто вам его не вернул?

— Ах, значит, это были не вы?.. «Герцогиня подняла свои дивные голубые очи: „Виконт! В звуках ваших роковых слов...“

— Так вы не знаете, кто был в моем номере?

— Простите!.. Вспомнила! Такой почтенный человек приходил к вам... Вот я и дала ему ключ. Что ж, в коридоре ему ждать? Вежливый такой! Ничего плохого от таких не бывает.

Я махнул рукой, вернулся в номер и тут только заметил записку на столе:

«Мой друг!

Знаете ли Вы, с какой радостью я шел, почти бежал к Вам! Какой светлый праздник был у меня на душе!

И еще: я хотел прибавить листок-другой к моему конспекту. Но барышня, которая дежурит в гостинице, показала мне весьма рассеянной особой, и я не решился оставить ей свои листки. В номере Вашем на столе увидел свою рукопись, стал подкладывать новые листки и тут прочел Ваши заметки на полях. На один миг пришел в отчаяние. Но опомнился. В конспекте моем нет ошибок! Немало тайн разгадал я и немало открытий сделал в Стране Дремучих Трав. Но из них я выбрал те, что дороже и ближе моему сердцу и важнее всего для науки.

Ах, молодой человек! Вы, Ваше поколение, — знаете ли Вы, какое трудное, какое невыносимое было время тогда, когда я был молодым? Каким одиноким я чувствовал себя!

А потом Страна Дремучих Трав на долгие годы...

Жить мне осталось недолго. Я старик.

Сейчас мне очень тяжело. Я хочу остаться один. Немного побуду один.

Одиночество вернет мне душевное равновесие. Так что мы не скоро увидимся. Да и Вам уезжать пора... Прощайте!

А я ведь Вас полюбил.

Ваш Сергей Думчева.

Я пошел, почти побежал к Думчеву. Но лаборатория была пуста. Печка догорала. Около печки валялся обгорелый листок. Это, по-видимому, все, что осталось от конспектов Думчева. Полина Александровна была внизу, в своей комнате.

— Сергей Сергеевич взял зонтик и куда-то поспешно ушел. Я думала, что он снова пошел к вам. Ведь в первый раз он вас не застал. Где же он? Такой туман! Дождь!

Встреча в тумане

В эту ночь на море пал туман. Какая темень! Сыро, зябко, холодно. В седой, густой сетке дождя потерялась дорога к поселку научных работников.

Почему я устремился сюда в поисках Думчева? Сам не знаю! Может, потому, что этим путем я с Думчевым возвращался в город.

Думчев хочет остаться один? Пусть! Но старый человек, не знающий ни новых улиц этого города, ни дорог к городу, — один в тумане, под дождем...

В беспокойстве, в отчаянии, мучась, что я так небрежно отнесся к рукописи Думчева, но все же в надежде, в последней надежде, что он где-то здесь, рядом, на этой же дороге, я спешу, ищу, зову:

— Думчев! Думчев!..

Мой плащ и костюм промокли, струйки воды текли за воротник.

Но я все шел и звал:

— Думчев! Думчев!

— Эй! Кто кричит?

Телега в тумане чуть не наехала на меня. В телеге — два человека. Я расспросил и узнал: это был Коля Сенцов, учащийся сельскохозяйственного техникума, и санитар из городской больницы.

Спрашиваю:

— Не видели вы на этой дороге старого человека? И вот что рассказал мне Коля:

— Часа два назад в этом тумане я чуть не наехал на человека, вот как на вас сейчас. Стрелка — моя лошадь — сразу остановилась. Человек посторонился. Я осветил электрическим фонариком и вижу: старый, невысокого роста, под большим зонтиком. Похож на нашего преподавателя химии. Только тот в очках. Я ему говорю:

«Гражданин, садитесь! Подвезу!»

Он сел. Поехали шагом. Совсем недалеко отъехали, и гражданин этот хочет слезть с телеги. Я ему помог.

«Спасибо, — говорит, — молодой человек, я уже приехал».

«Куда, — думаю, — он приехал? Жилья здесь не видно, дождь». Гражданин этот свернул куда-то в сторону, потом обратно возвращается на дорогу, идет-бредет... Я поехал рядом с ним, но он меня не замечает. Громко сам с собою говорит. Потом с дороги куда-то уходит. И опять на дорогу возвращается.

Думаю: «Как все это понять? Что он ищет в такую темень и в такой дождь?»

Я снова ему:

«Гражданин, я могу еще подвезти вас!»

Сел, поехали вместе.

«Через час в поселке будем, — говорю. — Обогреетесь».

«Мне не туда. Я скоро слезу. Беседку поищу».

«Какую такую беседку в дождь он ищет?» — подумал я, хотел засмеяться, но вспомнил.

«Так вы ту беседку ищете, что за рощей?.. Она же развалилась совсем. Никто туда и днем не ходит. А сейчас дождь, ночь».

А он все в туман всматривается. Тут я понял: больного человека везу. Может быть, профессора какого-то? Хорошенько укрыл ему плечи брезентом. Поехали. Профессор долго молчал, потом заговорил сам с собой. Про каких-то удивительных животных из какой-то небывалой страны. И опять замолчал.

Дождь сильнее. Я спрыгнул с воза, на ноги его положил мешок с сеном, поправил брезент у него на плечах.

«Спасибо, молодой человек! Ваши родители хорошо воспитали вас».

Я говорю:

«Нет у меня родителей. Они умерли, когда я совсем маленький был».

«Но кто же воспитал вас?»

Объясняю:

«Рос в детдоме. Потом ремесленное училище, а теперь я в техникуме. В общем, комсомол воспитал».

А он спрашивает:

«Кто, кто? Как вы сказали? Не понимаю...»

«Ну, — думаю, — надо скорей ехать. Ведь он совсем больной».

Спрыгнул с телеги. Чересседельник подтянул, подпругу и супонь проверил. Вернулся к телеге, а гражданина моего и нету!

Тут я себе приказ даю: «Голову себе, Колька, сверни, но больного отыщи и в больницу доставь».

Повернул я Стрелку назад в город, погнал прямо к больнице. Посадил на телегу санитару — и обратно... Вот этого профессора мы и ищем. Кругом обшарили. Надо в роще поискать.. — заключил свой рассказ Коля Сенцов.

Туман как будто рассеялся, но дождь то прекращался, то вновь лил.

Я оставил Колю с санитаром на проселочной дороге и велел им ждать. А сам побежал с

фонарем по аллее. Да, здесь где-то беседка. В ней мы одевались. Ждали вечера...

Аллея! Как она в темноте бесконечно длинна!

А что, если Думчев заблудился, устал, уснул где-нибудь или упал?

Вот и акация. Она заслоняет вход в беседку. Я резко отстранил ветки, они осыпали меня частым дождем. Мой фонарь осветил полусгнившие столбы от стола и скамеек. Никого...

Скорее к базе Райпищеторга! Может быть, он там!

Какая тишина! Только стучат капли по дырявой крыше беседки. Но что это? Не почудилось ли мне? Какой-то вздох.

Свет фонаря упал на столб возле акации, и за ним, за этим столбом, — Думчев.

Я оглянулся. Свет фонаря упал на столб возле акации, и за ним, за этим столбом, Думчев...

— Сергей Сергеевич!

Он выглянул из-за столба и тотчас отвернулся от меня.

Я кинулся к нему:

— Сергей Сергеевич!

Схватил его за руку. Зябкая, холодная, ледяная рука. Он весь дрожал. Озноб. Думчев не смотрел на меня. Я окликнул Колю Сенцова и санитара. Они подбежали к нам. Санитар быстро снял ватник и надел на Думчева, набросил на его плечи свой брезентовый плащ. Думчев молча всему подчинился. Коля взял его под руку. Мы пошли. Санитар освещал фонарем дорогу. Иногда свет фонаря падал на Думчева: лицо усталое, бледное, но глаза строго и пристально смотрели мимо нас куда-то вдаль. Все молчали. Так дошли до дороги, где стояла лошадь, привязанная к придорожному дереву.

— В больницу? — спросил Коля Сенцов. Я нагнулся к нему и тихо сказал:

— Сергею Сергеевичу будет лучше дома.

Телега тронулась. Было совсем темно. Дождик, теперь уже вялый и долгий, шумел в листве придорожных деревьев. Все молчали. Телега спокойно и медленно катилась по дороге в город.

Площадка цветов

Шумит полуденным шумом Москва. Бесперывно мчатся машины, огибая площадку у станции метро, мчатся вверх, к Арбату. Гудки машин, звонки трамваев висят в воздухе. Всего миг-другой, и иссякают. И, как бы догоняя, разыскивая эти растаявшие звуки, тут же возникают новые гудки и звонки, возникают настойчиво и непрерывно чтоб усилить этот гул и так же раствориться в нем.

Шумит Москва. Машины мчатся к Арбату. У станции метро людно. В институт на Метростроевскую и к трамваям спешат, выбегая из метро, студенты и студентки. Им навстречу идут люди, медленно и увесисто, проворно и быстро, чтобы спуститься в метро и через несколько минут уже быть в магазинах на Петровке, стать со второй сменой за рабочий станок, сесть за рабочий стол где-то в Сокольниках или на Красносельской.

Тысячи и тысячи шагов! Все слилось в один долгий многообразный гул.

Вот уже два дня, как я в Москве. Работа, заботы, встречи, дела, звонки по телефону — все точно слилось с этим шумом и гулом. И этот гул отодвинул от меня далеко все то, что было несколько дней назад.

Как давно это было! Да и было ли?

Телега в тумане... Коля Сенцов и санитар... Темная гладь шоссе, полуразрушенная беседка... А в ней Думчев. Один под дождем. Потом опять шуршание колес телеги по шоссе... Мы тогда же ночью сдали Думчева на попечение Полины Александровны. А рано

утром я узнал от нее, что Сергей Сергеевич лишь слегка простудился. Он просил только об одном: никого к нему в лабораторию не пускать.

Я сразу же простился с Булай. Она записала мой московский адрес.

Потом я зашел к Тарасевичу. Он еще не вернулся с областной конференции. Я оставил у него свой адрес и в тот же вечер сел в поезд на Москву...

Как весело, громко и ярко здесь, у метро! Полукольцом стоят продавцы цветов.

Под августовским еще жарким солнцем горят огненно-красные настурции в низеньких глиняных кувшинах. К жердочкам, прибитым к столам, привязаны готовые букеты цветов, обрамленные обязательным узорчатым папоротником. Из каждого букета смотрят и гордятся своими пунцовыми, малиновыми и оранжевыми тонами георгины. Но пытаются спрятаться в букете и стать незаметными белые шарики жемчужин. Напрасно. Они видны и придают ласковость и скромную прелесть букету.

Цветы августа! Ваша окраска так ярка, сильна и разнообразна! Но скоро осень. Дождь... Желтое увядание...

И вот тут, в эту минуту, на этой площадке, у этих корзин с цветами, я вдруг вспомнил живой огонь тех, иных красок.

Страна Дремучих Трав!.. Я тогда ждал: вот-вот раскроются ворота в заборе из надкрыльев медного жука! И предо мной уже не забор, а гигантский театральный занавес, горящий, блестящий совсем незнакомыми мне красками.

Да! Какая же тайна скрыта в силе, яркости, причудливости и разнообразии тех красок? И почему Думчев говорил, что эти краски вечны и не померкнут никогда?

А что, если... если здесь скрывается какое-то открытие? Ведь может быть... Как знать!

Как легко и быстро я назвал конспект Думчева «конспектом ошибок»! И вот обидел старого человека. Напрасно я убедил его писать непривычную для него заявку. Заявка! Даже звучание этого слова было чуждо его слуху. Я сбил его с толку. А чем же и как помог я Думчеву?

Вот, например, он показал дивные краски на сооруженном им заборе около летнего дома. И горячо говорил о них, как о великом открытии. Кому об этом рассказать? Проверить, спросить...

А не обратиться ли мне к Калганову? Он физик. Проблемы света, цвета и красок — его область. О нем я часто читал в наших газетах.

Да! Сегодня же, если успею, пойду в институт к Калганову. После кино съемки, после репетиции.

В павильоне киностудии, глядя при шумном свете юпитеров на декорации, я продолжаю думать о красках Думчева. И на репетиции в темном зрительном зале, за режиссерским столиком, над которым горит одинокая лампа под темным абажуром, в спокойной, чуть-чуть жесткой тишине, нарушаемой репликами актеров на сцене, глядя, как осветители подбирали цвет софитов и освещали декорации, я снова вспомнил слова Думчева.

«Ах, эта зелень весны, нарисованная в театре на фанере и картоне! Меняется ли она вместе с музыкой оркестра? Нет! Краски застыли раз и навсегда...»

Репетиция кончилась в четыре часа дня. Успею зайти к Калганову!

Прежде всего — эксперимент!

Еще кипел московский день, а я уже был в кабинете физика Дмитрия Дмитриевича Калганова. Он попросил меня подождать, пока закончит беседу со своими сотрудниками. Разговор их был для меня непонятен — о какой-то сложной физической проблеме.

Лицо физика мне чем-то напоминало знаменитый портрет Ермолова, неустрашимого героя сражений с Наполеоном.

Но физик Калганов не воин, а ученый и живет не в девятнадцатом веке, а в наши дни. Он не воин. Но этот жест, четкий и повелительный, эти движения без всякого оттенка

суеты... Какой львиный поворот головы! Черты лица крупные, резкие, почти могучие. Голос раскатистый...

Я смотрел и думал: «Да, такой человек наведет порядок в круговороте научных проблем, проектов, замыслов и предложений — наведет добротный хозяйский порядок на своем ученом дворе».

— Хотите — верьте, хотите — нет и посчитайте все это фантастической повестью... — так начал я свой рассказ о Думчеве, когда Калганов усадил меня в кресло рядом с собой.

Сначала он слушал меня с каким-то свирепым добродушием. Но, когда я заговорил о ярмарке, где давным-давно Думчев показал свой первый полет, а предприимчивый купец за показ смертельного номера считал пяточки, глаза Калганова заблестели, он резко отвернулся от меня и стал рассматривать что-то в вечернем окне.

Потом посмотрел на меня в упор и заговорил:

— Сколько уничтоженных, задавленных народных талантов! То было проклятое время. Оно загнало Циолковского с его вычислениями на чердак, втиснуло Мичурина на полнадела земли...

Калганов умолк.

Когда я начал рассказывать о том, как Думчев, которого я отыскал в Стране Дремучих Трав, упорно предлагал заимствовать у насекомых разного рода технические «целесообразности», как он выражался, Калганов в волнении встал с кресла.

— Вот как! Вот как! — повторял он.

— Вы удивляетесь? — спросил я.

— Нет, почему! Чему тут удивляться? Человек издревле присматривался к великой лаборатории природы, изучал ее не только праздного любопытства ради. Он примечал все поучительное, использовал, ставил себе на службу. Человечество и впредь будет настойчиво и пытливо исследовать, открывать новые и новые законы природы, чтобы управлять ими. Овладевая природой, подчиняя ее себе, изменяя ее, наука не слепо, не механически подражает готовым образцам. И греха не вижу в том, чтобы воспользоваться подсказкой природы. А как же иначе?!

«Надо скорее, спросить Калганова о главном», — подумал я. И стал рассказывать о том, как Думчев в Стране Дремучих Трав привел меня к своему летнему дому, а я остановился, изумленный красками его забора. Забор был сложен из крыльев обычных бабочек.

И этот забор переливался и горел красками необычайной яркости и красоты, а Думчев мне сказал, что крылышки эти природой не окрашены, что состоят они из бесцветных прозрачных чешуек и не содержат в себе красящих пигментов в виде цветных крупинок.

— Скажите, как понять Думчева? Ведь если они бесцветны, не окрашены, то откуда же эта игра красок? Как понять? Ведь это вздор!

— Нет, не вздор, а верное наблюдение, — сказал спокойно Калганов.

— Верное наблюдение?! И Думчев не ошибся? Разве прозрачно-бесцветное может быть красочным?

— Для того чтобы вы поняли меня, почему прозрачные, бесцветные крылышки бабочек переливаются яркими красками, я начну, конечно, с самого простого. С того, что такое свет и цвет.

Любое тело излучает в пространство энергию в виде электромагнитных волн, длина которых меняется в зависимости от температуры тела: от десятков микрон до миллионов долей микрона.

В зависимости от частоты колебаний различаются волны: электрические, инфракрасные, световые, ультрафиолетовые, рентгеновские и другие. Наш глаз может воспринимать только световые волны. Ньютон доказал, что видимый нами белый свет есть совокупность цветных лучей.

Вы, конечно, знаете, как был разложен луч света.

Ньютон поставил стеклянную призму на стол. Солнечный луч ударил в призму и преломился на семь цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и

фиолетовый. Между семью цветами нет резкой границы: есть взаимные переходы от одного цвета в другой. Например, между желтым и зеленым различают еще цвет лиственной зелени, между зеленым и голубым — цвет морской зелени.

Разному числу колебаний световых волн соответствуют свои цветовые тона.

Как известно, обычно предметы не имеют собственного цвета. Они обладают способностью отражать, преломлять или поглощать лучи.

Что такое цвет черного предмета? Все световые лучи, падающие на этот предмет, поглощены, и поверхность предмета не отразила никаких лучей.

Что такое синий цвет? Синяя краска. Поверхность предмета поглотила все цвета спектра, а синий цвет отразила. И мы видим предмет синим.

Так физика объясняет природу света и цвета.

Тончайшая, прозрачная и совсем невидимая чешуя, покрывающая крылья бабочек, — словно набор прозрачных пластинок, по-особому, своеобразно пропускающих свет. Толщина этих пластинок, или чешуек, различна и соизмерима со световыми волнами разной длины. Та или иная пластинка окрасится в соответствующий цвет, однако зависящий от угла зрения зрителя.

Вот перед вами пример, который ясно показывает, как изменяется окраска в зависимости от толщины пленки: мыльный пузырь. Как часто дети очарованы прихотливой сменой окраски мыльного пузыря! Эта смена, эта игра красок кажется случайной, неожиданной. Но здесь в чередовании цветов есть строгая закономерность. Когда мыльный пузырь начинают надувать и пленка его толста, он еще лишен цвета. Но вот пузырь раздувается — пленка становится тоньше, и на его поверхности начинают играть радужные краски. А ведь мыльная пленка не окрашена, в ней нет красящих пигментов.

Но не у всех бабочек такие крылья. Есть бабочки с пигментной окраской, и эта окраска выцветает, выгорает. Есть даже группа бабочек с такими крылышками, в которых сочетается пигментная окраска с прозрачностью отдельных пластинок.

Ваш Думчев выбрал те крылышки, в которых луч света — один только луч света! — создает чарующую окраску. Он обратил ваше внимание на ту бабочку, в крылышках которой отсутствует пигмент красящего вещества.

И тяжелое чувство негодования на самого себя (зачем я, не зная сути дела, так легкомысленно отнесся к человеку), смешалось во мне с волнением и радостью.

— Так что же! — вскричал я: — Значит, мысль Думчева на верном пути? Значит, он прав — и такие краски вечны, они никогда не выцветают!

— Да, да! — с живостью отозвался Калганов. — Его наблюдения и выводы верны. Игра красок на таких поверхностях вечна, она не иссякнет. Луч света всегда струится над землей и, проходя через крылышки бабочки, зажигает гаммы красок.

Я вскочил с кресла и в волнении проговорил:

— Сегодня же напишу, обрадую Думчева! Здесь решается судьба человека, здесь участь человека!

Калганов спокойно заметил:

— Не увлекайтесь! Конечно, луч света всегда струится над землей. Но бабочка живет дни, недели, а чешуйки их крылышек бесконечно хрупки...

— Да! Какая уж тут вечность! — сказал я с огорчением и опустил в кресло.

— И все же здесь правильный подсказ, тонкое наблюдение. Краски... краски из луча света, проходящего через тончайшие, прозрачные чешуйки... Никогда еще человек не применял таких. Я учту наблюдение Думчева. Хрупкие крылья бабочек!.. Но чаш институт поищет пленки попрочнее, чем чешуйки. Я уже сказал: слепо, раболепно подражать природе смешно... Здесь Думчев наивен. Но наблюдение — творчески осмысленное!.. О!.. Знаете ли вы, что такое острое, меткое, сделанное вовремя наблюдение? Три слова выбиты на фронтоне биологической станции в Колтушах. И слова эти: «Наблюдательность, наблюдательность, наблюдательность». Это любимый девиз нашего Ивана Петровича Павлова. Да, да, я испытаю, проверю! И тогда скажу. Прежде всего — эксперимент! Звоните, осведомляйтесь.

Буду рад.

Ночью на волхонке

Часы на кремлевской башне уже пробили полночь, а у станции метро все еще стоит корзина с цветами. Около нее продавец.

Скоро до утра утихнет Москва, успокоится ненадолго в прохладной и по-летнему неглубокой тишине. Тишина эта уже давно пробиралась в город, но ее пугали тысячи восклицаний, окриков, возгласов, пугали смех, песня... А грохот улиц и площадей заставлял ее останавливаться. И все же тишина пробралась. Просочилась. Пришла.

Ночь.

Над входом в метро все ярче горит остроконечная буква «М». Сейчас там, внизу, проходят последние поезда. И теперь, поздней ночью, как и утром, как и днем, их встречает колоннада мощных многогранных мраморных стеблей. Из каждого стебля вырывается могучий цветок. Он тянется вверх и, подсвечиваемый скрытым мягким светом, растекается по потолку в узор великолепной пятиконечной звезды.

И вся колоннада этих цветов говорит неслышным языком о величии, простоте и благородстве.

Наверху, за арками входа и выхода из метро, чернеет тенистый, густой Гоголевский бульвар. Киоск с водой ярко освещен, но уже закрыт. Все торопливее и слышнее шаги прохожих: не опоздать бы на последний поезд!

Вот из метро выбежал юноша. Посмотрел кругом. Подошел к корзине с цветами. Он в очках и с книгой под мышкой. Покупает букет. Он нетерпеливо смотрит то на часы, что на углу улицы, то на дверь метро, которая вот-вот закроется. Ждет кого-то? Он опустил руку, и цветы касаются земли. И вдруг мчится со своим букетом вниз и скрывается за дверью, которую начинают запирать. Площадка перед павильоном метро опустела. Дверь закрылась. Продавец складывает в корзину цветы. Уходит.

Кругом все тихо. Я медлю. Я думаю о том, что завтра снова пойду к физику Калганову. Что же он мне ответит? Вот приду: «Помните, тайна вечных красок Думчева...»

Мягко и спокойно освещают площадку молочные шары фонарей.

И в эту минуту возникла предо мной грозная, дикая Страна Дремучих Трав: возник могучий, то нарастающий, то затихающий, но бесконечный, непрерывный шум трав, колеблемых ветром. И Думчев... Один среди живых машин, слепых и многоглазых, уродливых и ядовитых! Каждый шаг грозил гибелью. Но он человек, и его гордый разум победил.

Пора домой. Уже поздно.

Вот и Волхонка. Недвижно лежит на асфальте узорная тень решетки большого двора Института Академии наук. На небе полная луна. Белые колонны Музея изящных искусств стали такими, точно кто-то подсинил их белизну. Стекло крыша музея чернеет. А цветы табака, что растут вдоль дорожки к главному входу, стали вдруг резко белыми, раскрылись.

Тихо и лунно на Волхонке. Легкий ветерок приносит запах цветущего табака. Легла и протянулась по асфальту тротуара тень одинокой липы. Чуть дрожит листва. И в ночной светотени так легки, зыбки, так шатки и едва изменчивы тени этой листвы, что останавливаешься: как же ступить ногой на этот чуть-чуть дремлющий узор?

Все тихо. Плышет ночь над Москвой...

Вот и дверь моей квартиры. В почтовом ящике газета... одна... другая... письмо.

Потом звонок по телефону, совсем ненужный. Еще звонок — тот, который давно ждешь.

Но кто это тихо скребет стекло открытого окна? Это, видно, соседский кот; он весь черный, с крошечным белым «галстуком». У соседей окна закрыты, и он осторожно по

карнизу пробрался ко мне. Рама открытого окна мешает. Я ему помогаю войти.

— Входите, гость, входите! Небо уже потемнело, и будет дождь — вы можете промочить лапки. Входите, гость!

Кот устраивается спокойно и неторопливо на столе около стакана с васильками.

«Вы, васильки, были днем синие, а стали теперь, при лампе, лиловыми. Некоторые совсем поседели. Те, что отцветают... Вот я вас отодвину, а то кот так развалился, что столкнет со стола стакан».

Я все смотрю на седые васильки, и беспокойное, тоскливое чувство овладевает мною: «Что скажет завтра физик о вечности красок? Что напишу я Думчеву?»

В открытое окно потянуло с Москвы-реки свежестью. На дворе совсем темно. Небо в тучах, и мягко стучит по подоконнику мелкий дождик.

Скоро осень.

Нет, не заблуждение, а открытие!

В очень поздний час я шел домой от физика Калганова. Были тихи старинные переулки Москвы. Мирно горели лампочки у ворот, освещая из-под жестяного козырька номер дома и спокойный полукруг букв — название переулка.

Люди давно спят. Окна домов и домиков темны.

Как часто в этих переулках в такой глухой час у меня становилось смутно на душе: черные, пустые, чужие окна с какой-то враждебностью глядели на меня, одинокого прохожего в пустых переулках — ведь я нарушал гулками шагами их кратковременный ночной покой!

Но сейчас мне казалось, что окна радостно и приветливо встречают меня скользящим отсветом фонарей по черным стеклам. Радостная весть была у меня для Думчева.

Калганов с кем-то говорил по телефону, когда я вошел в его кабинет. На минуту он прервал разговор, поздоровался со мной и сказал:

— Мой разговор касается вас. Слушайте!

И Калганов снова продолжал с кем-то говорить:

— Что? Нет, нет! Это не дневной свет, не лампы дневного света, которые освещают подземный вестибюль метро. Здесь краски... Что? Вы слышали? Даже видели, как стена и платье светятся красками в темноте? Но это вовсе не то. Стена, стул, платье... если к их окраске подмешать соли кадмия и цинка и облучить ультрафиолетовыми лучами, станут светиться. Это люминесценция. А я говорю совсем о другом... Как меня понять? А вот как... Гонялись ли вы когда-нибудь за бабочками? Пускали вы мыльные пузыри? Так вспомните очаровательную игру цветов в мыльном пузыре. Но пленка мыльного пузыря мгновенно лопается. А чешуйки бабочки... к ним лучше и не притрагивайся — так они хрупки. Но представьте себе сверхпрочную пленку мыльного пузыря или сверхпрочные чешуйки на крыльях бабочки. Такой сверхпрочный прозрачный состав я пытаюсь получить из особой пластмассы... Что? Думаете, не добьюсь? Все это лопнет, как мыльный пузырь на соломинке? — Калганов раскатисто рассмеялся. — Вы забыли, что я физик. Верю только в эксперимент. Найду. Испытаю. Проверю. Вам покажу... Что? Ведь и конструктор самолета не снабжает свой аппарат перьями птиц. О, дошло! Вы спрашиваете, для чего все это? Это совсем новый, совсем необычный материал для облицовкизданий... Что?.. Мечта? Попытаюсь, чтобы мечта стала былью!

Калганов попрощался с кем-то по телефону и обратился ко мне:

— В нашей лаборатории, оснащенной уникальной техникой, я ищу и, кажется, уже нашел состав, толщину которого будут измерять десятymi долями микрона. Чешуйки бабочек... мыльные пленки... Мы получили новую сверхпрозрачную и сверхпрочную пленку. Она пойдет на изготовление стандартов великого множества пластинок разной, достаточно малой толщины. Физик объединится с художником и архитектором. И тогда

предметы обихода, жилища, здания заиграют перед каждым из нас всеми цветами радуги...

Я подумал: «Вот уже идет проверка наблюдений Думчева, вот уже оказалось, что он прав! И, может быть, сам я, назвав его конспект конспектом ошибок, сделал крупную ошибку?!»

В дверь кабинета постучали. Вошел ассистент Калганова, высокий бледный, очень неторопливый человек, посмотрел на меня спокойным, долгим взглядом серых глаз, поклонился и не спеша уселся на край большого кожаного дивана.

Калганов и ассистент заговорили об экспериментах над сверхпрочным облицовочным материалом. А я все думал о том, как обрадую Думчева. Завтра же на самолете вылечу на один день в Ченск.

Калганов и ассистент продолжали свой разговор. А я уже видел будущую встречу с Думчевым. И только отдельные слова их разговора долетали до меня: электролиз... покрытие электролизом... окислы на поверхности металлов... цвета побежалости... покрытие лаком...

Ассистент ушел.

Калганов сказал:

— Я написал письмо Думчеву. Я поздравляю и благодарю его.

— Дайте мне письмо. Завтра утром я вылетаю в Ченск.

— Вот это отлично! Счастливого пути! — Калганов вдруг громко рассмеялся. — А Страну Дремучих Трав вы придумали так... для занимательности... Сознайтесь! Ваш Думчев просто любитель-энтомолог. Наблюдатель природы...

Я промолчал и стал прощаться. Калганов вышел из кабинета.

— Я провожу вас, — сказал он мне.

Мы прошли по тихим, светлым коридорам института. Легко отворилась стеклянная дверь. Калганов спустился на несколько ступеней и остановился. С деревьев в скверике стекали редкие капли дождя. На широкой московской улице было уже безлюдно.

Я протянул руку Калганову, чтобы попрощаться и уйти. Но он задержал мою руку в своей широкой теплой ладони.

— О чем вы думаете, Дмитрий Дмитриевич? — спросил я его тихо.

Он вздрогнул, точно опомнился, и сказал:

— Мечтаю... Только мечтаю... — И, все еще держа мою руку в своей, продолжал: — Я вижу Москву будущего, с ее симфонией красок, зажженных лучом света. Когда-нибудь рабочие закончат облицовку зданий Москвы невиданным доселе облицовочным материалом.

Знаете ли вы, что композитора Скрябина называли чудачком, когда он говорил: «Каждому звуку соответствует цвет. Звуки светятся цветами... бемольные тональности имеют свой металлический блеск, а диэзные — яркие, насыщенные по цвету и без такого блеска...»

Скрябин хотел, чтобы исполнение его симфонии сопровождалось световой симфонией.

Что ж! Световая симфония так же возможна, как и звуковая. Но оркеструет эту симфонию — симфонию красок — физик-композитор. Он напишет эту партитуру. Это действительно будет солнечная симфония! Симфония города Солнца! И каждая улица Москвы предстанет перед нами в своем неповторимом ансамбле красок.

Упал первый луч света! И сразу заиграли, «завучали» краски Москвы. Они переливаются, ослабевают, почти иссякают, тают, как звуки, как музыка. И вновь разгораются. Москва — город Солнца! Эти краски вечные! Навсегда! Потому что всегда над землей текут потоки света. А в ответ на симфонию Москвы зазвучат под этими же лучами солнца световые симфонии в городах всего мира. И музыка эта, световая музыка, созданная лучом солнца, управляемая нашими физиками, будет звучать, пока светит во Вселенной солнце, пока струится световая волна!..

Доклад не состоялся

В палате у больного горит лампочка под синим абажуром. Сергей Сергеевич Думчев болен.

С аэродрома я поспешил прямо к Булай. С радостным, светлым чувством вошел в хорошо знакомый мне дом с башенкой. И только тут узнал о том, что произошло.

В поселке научных работников должен был состояться доклад Думчева. Это предложил, потребовал сам Думчев. Он назвал тему: «Предварительное сообщение о некоторых новых возможностях в развитии техники». Он сам назначил день доклада.

С изнуренным лицом, в каком-то страстном порыве готовился Думчев к своему выступлению, воспаленными от бессонницы глазами перечитывал страницы книг. Кидался от книги к книге. Он точно сразу хотел войти в двери всех наук!

— Сергей Сергеевич, не отложить ли доклад? — спрашивала тихо Полина Александровна.

— Нет! Доклад назначен. Сообщение будет сделано в объявленный день! — отвечал Думчев.

И настал день. Еще накануне вечером Полина Александровна и соседка тщательно гладили и приводили в порядок костюм Сергея Сергеевича.

День был тихий, погожий. Думчев спустился с башенки-лаборатории. Булай должна была его сопровождать.

И вот перед самым уходом, Думчев увидел на зубоврачебном столике Полины Александровны кусочек воска. Простой кусочек воска!

— Воск! — воскликнул Думчев. — Вот удивительный материал! Пчелы его создают в своем организме. С этого кусочка воска я и начну свое сообщение. Люди восхищаются фаюмскими портретами, созданными в Египте две-три тысячи лет назад. Они сохранились потому, что живописец древности учел, как велика стойкость воска. Давно уже всем известно, что из воска делают свечи и мази. А вот там, где я был, там я наблюдал новые, неожиданные применения воска. Об этом я сообщу, и пусть ученые задумаются. Это первый урок Страны Дремучих Трав, где я пробыл так долго.

«Объясните же наконец, что это за Страна Дремучих Трав!» — чуть не вырвалось у Булай. Но она промолчала, не желая в этот тревожный для Думчева день беспокоить его расспросами. Она прошла в другую комнату, достала из комода свои перчатки.

Натягивая их, она вернулась в кабинет и в испуге остановилась у дверей. Думчев был бледен, очень бледен. Он стоял у небольшого круглого стола и держал в руках какой-то журнал. Он читал и перечитывал вслух:

«...Воск уже давно применялся в кустарных промыслах, а также и в медицине, закрывая во время хирургических операций кровеносные сосуды. Сталелитейная и химическая промышленность широко пользуется воском. Воск применяется также для повышения качества стали, при изготовлении, а равно для увеличения зоркости оптических стекол...»

— Сталь... Оптические стекла... Я вижу, что люди уже нашли десятки возможностей применения воска. А я... я опоздал. Не буду ли я смешон со своими открытиями?

Молча и тихо вышел Думчев, сопровождаемый Полиной Александровной, из дому.

Возле крыльца уже стояла легковая машина, присланная из поселка научных работников. Молодой шофер, приоткрыв дверцу, приветливо объяснил, что прислан за профессором.

Думчев поблагодарил шофера, бережно взял под руку Полину Александровну и отправился пешком. Все на нем было выглажено. Сияла чистотой подкрахмаленная сорочка, твердый, старого фасона воротничок подпирал подбородок. Рука твердо держала трость.

Так они шли, а машина тихо, очень тихо следовала за ними.

Но Думчев был неспокоен. И едва они вышли на асфальтированное шоссе к поселку научных работников, как Думчев стал говорить. С кем? С Полиной Александровной? Нет!

Думчев обращался к себе самому. Он говорил:

— Послушай! Твое сообщение о применении воска устарело. Что ж, пусть! Так я

расскажу о другом. Знаете ли вы все, что в Стране Дремучих Трав моя рука обладала огромной, неведомой вам чувствительностью, потому что я был тогда совсем не такой, как сейчас? И вот однажды я потрогал светляка и удивился: он холодный, он вовсе не греет! Светит, а не греет. «Здесь источник нового света! — воскликнул я. — Так зачем же нам электростанции? Вот новый свет!» Что? Устарело?.. Пусть! Но уроки Страны Дремучих Трав неисчислимы! И я буду говорить совсем о другом. Я медик. И там я производил опыты. Вы взяли у насекомых очень мало: муравьиный спирт, пчелиный яд. А я вам расскажу, как я заставлял обитателей Страны Дремучих Трав лечить меня от ран... Или вот опухоль... Вы смеетесь? И это устарело? Опоздал?

Думчев вдруг остановился и воскликнул:

— Полина Александровна, что же это такое?! Что поздно, а что не поздно? Как узнать, как угадать?

Вопрос этот: «что поздно, а что не поздно?» — видно, овладел всем его существом. Сколько боли и страдания было в его голосе, когда он произносил эти слова!

Но вот он задумался, замолчал. А потом просто и уверенно сказал:

— Все-таки я узнаю, что поздно и что не поздно. И начну все сначала!

— Сергей Сергеевич, — почти с мольбой сказала Полина Александровна, — не вернуться ли нам домой?

— Нет, нет! — воскликнул Думчев останавливаясь. — Доклад состоится! И ровно в шесть часов вечера!

И снова они пошли.

А небо было высокое, голубое. Легкий ветерок приносил с моря волны тепла. Кругом было хорошо, спокойно и тихо. Но Думчев, видно, устал. Полина Александровна предложила:

— Не доехать ли нам на машине?

Думчев отказался: он не устал. И они снопа пошли. Так дошли до того места, где от шоссе идет к базе Райпищеторга проселочная дорога.

Здесь Думчев остановился:

— Полина Александровна, я действительно немного устал. И хорошо бы отдохнуть! Здесь неподалеку беседка.

— Какая беседка?

— Вот рядом, налево, за той рощей.

— Но ведь это далеко!

— Совсем близко! И тут же, у беседки, — Страна Дремучих Трав. Там я прожил все годы!

— Сергей Сергеевич, — уже взмолилась Полина Александровна, — вернемся домой!

Думчев покачал головой:

— Доклад состоится!

Полина Александровна присела на какие то бревна, что лежали у края дороги. Думчев машинально сел рядом. Он все почему-то глядел туда, в сторону рощи, где была беседка, и все молчал. Потом вдруг сказал:

— Пора!

Попытался встать. Но сил не хватило. И Думчев почти упал на бревна.

Симфония красок

Я сидел в светлой палате больницы, где лежал больной Думчев. Здесь же дежурил врач. Только мне одному было понятно, о чем говорил Думчев в бреду.

То он спрашивал себя: «А хорошо ли к кузнечнику приросла голова сверчка?» То звал гостей к себе в узорный дом и тут же смущался — гости видели перед собой только дупло. Потом вдруг горько-горько жаловался, что опять становится все меньше и меньше, а дорога

под его ногами растягивается, удлиняется без конца. И все тащил, спасал паука из ловушки муравьиного льва: «Он гибнет, гибнет мой друг, мой верблюд! Помогите! Помогите!»

Когда ночь кончилась и взошло солнце, больной забылся, замолчал.

Главный врач больницы — женщина (по-видимому, хирург: руки быстрые, уверенные, сильные) внимательно выслушала мои тревожные и беспокойные расспросы о здоровье Думчева и сказала:

— Мы будем лечить больного длительным сном. Много я хотел сказать врачу и о самом Думчеве, и почему он мне так дорог. Но говорить о Стране Дремучих Трав? Кто поверит мне?

— Вы хотите еще о чем-нибудь спросить? — обратился ко мне врач.

— Нет!

Я не уехал из Ченска. Поселился в поселке рядом с больницей и послал в Москву несколько телеграмм. Одну в театр, о том, что вынужден задержаться на несколько дней в Ченске. Другую — Калганову с извещением о болезни Думчева.

Каждый день я приходил в больницу:

— Не проснулся ли больной?

— Нет, не проснулся. Состояние неопределенное.

Я устал от пережитого. Жил, не веря во все то, чему сам был свидетелем, ожидая выздоровления Думчева.

Однажды вечером, выйдя из больничного корпуса после очередного посещения больного, я увидел, что под окнами палаты Думчева стоит какой-то человек. В сумерках я не мог хорошо рассмотреть его, но ясно увидел, как человек прошел вдоль белого корпуса больницы, а затем снова вернулся под окна палаты Думчева. Так повторялось несколько раз. Стало совсем темно, и, несколько озадаченный, я ушел домой.

Думчев все не просыпался. И вот опять в сумерки я застал под окнами Думчева все того же неизвестного. Он все ходил вдоль стены больницы и возвращался к окнам палаты.

В больнице мне сказали, что какой-то старик просил допустить его к больному и долго и настойчиво упрасивал, чтобы ему разрешили ночью дежурить у больного. Но главный врач разъяснил, что в больнице достаточно квалифицированный медицинский персонал, посторонней помощи не требуется и что больному обеспечен надлежащий уход.

Узнав об этом, я сразу направился к неизвестному и горячо пожал ему руку. Это был старый актер, автор уже известных мне записок.

Через три дня Думчев проснулся. Он увидел около себя Полину Александровну, старого актера, Авдотью Васильевну, которая держала в белом узелке какие-то гостинцы.

Мы все молчали, не зная, с чего начать разговор. Так бы мы и промолчали положенное посетителям время, но вдруг Думчев начал внимательно всматриваться в лицо Булай.

— Вы хотите мне что-нибудь сказать, Сергей Сергеевич?

— Я вспоминаю... — сказал Думчев ясно и отдельно. — Сейчас вы, Полина Александровна, склонили голову надо мной совсем так, как много лет назад. Море, упавший летательный снаряд, и я на песке... Я поднял голову и увидел вас.

— Я тогда была молодой...

— Я сейчас вижу вас такой, какой вы были тогда. Слезы навернулись на глаза Полины Александровны.

Она незаметно смахнула их рукой.

Пристально, сосредоточенно всматривался Думчев в черты ее лица. А слезы снова и снова набегали на глаза старой женщины. Думчев ласково глядел на нее. Они молчали.

Поздней осенью сквозь дождь и слякоть иногда проглянет неожиданно и сильно солнце, совсем не осеннее. И вдруг зеленым, ярко-зеленым кажется тот или другой пучок травы. Рукой бы потрогать, посидеть бы, зарыться в траву... Совсем весенняя трава! Теплота разливается в воздухе. И дождик кажется смелым, задорным. Весна, весна на дворе! И хочешь благодарить осень за это весеннее тепло.

Это вспомнилось мне, когда я смотрел на Думчева и Булай. Пришла на память давно

забытая мною мелодия, вспомнились и слова:

Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час...

...Гул самолета ворвался в палату. Думчев о чем-то спросил. О чем? Я не расслышал. Булай громко и ясно объяснила:

— Это прилетел самолет из Москвы!

— Как из Москвы? Не верю! Такое расстояние... — проговорил Думчев.

— Расстояние? Какое же это расстояние для самолета? До Москвы всего...

— ...до Москвы больше тысячи, тысячи верст!.. А я... я-то хотел, чтобы стрекозы и мухи научили...

Эти слова он выговаривал со злой насмешкой, с горькой иронией над самим собой, за которой человек иногда скрывает большое несчастье.

Мы все вышли в сад. Я посидел на скамейке. Короткие тени деревьев спокойно тянулись одна к другой. Там и здесь мелькали халаты больных.

Потом вернулся в палату. Где-то в коридорах больницы разговаривали. Мне почудился чей-то знакомый голос. Вот все умолкло. А теперь голоса совсем близко.

Дверь палаты распахнулась. На пороге стоял физик Калганов. За ним вошел его ассистент с небольшим чемоданом в руке.

— Здравствуйте, Сергей Сергеевич! — сказал Калганов и кивнул нам головой.

Он широко и размашисто придвинул стул и уселся возле кровати Думчева.

— Кто вы такой? — спросил Думчев.

— Физик Дмитрий Калганов.

— Не помню. Не знаю... Калганов?

— А я подарок вам привез из Москвы!

— Какой подарок?

— Ого! Любопытный какой! А вот возьму и вовсе уйду! — захохотал Калганов. — И не узнаете, какой у меня подарок для вас!

— А я стану у дверей и не пущу! — уже засмеялся в ответ Думчев.

Калганов открыл чемодан.

Он клал перед больным на столик, на стул и даже на край кровати какие-то очень легкие пакеты, завернутые в черную бумагу.

— Что же это такое?! — воскликнул Думчев.

— Облицовка! Будущая облицовка домов!

— Не понимаю! О чем вы толкуете?

— Знаете ли вы, Сергей Сергеевич, что в эти черной упаковке? Здесь пластинка точно такой же толщины, как толщина чешуйки бабочки.

— Вздор! Чешуйка бабочки так тонка, что простым глазом и не увидишь, а взять в руки совсем нельзя!

— Правильно, правильно! Вот потому мы в лаборатории покрывали нашим сверхпрочным прозрачным составом зеркальную поверхность этих брусков.

— Как же так? — оживился Думчев.

— Смотрите же! Вот здесь цифры — обозначения длины световой волны и толщины слоя, покрывающего бруски. И на каждой буква «Д» — Думчев. Вашим именем мы называем этот облицовочный материал.

— Вы смеетесь! Это насмешка, шутка? Думчев опоздал! Так не смейтесь же над ним, над этим Думчевым! — громко сказал Сергей Сергеевич. И резко повернулся к стене.

— Ах, так?! — тепло и просто рассмеялся физик. — Посмотрите же...

Он стал разворачивать образцы.

Загорались, потухали и вновь загорались цветные лучи. Думчев всматривался. И вдруг он точно что-то вспомнил: он стал перебирать и прилаживать образцы один к другому. Краски резкие, неожиданные, краски беспокойные, без всякой гармонии металась по палате.

Я посмотрел на Калганова. Ласково и терпеливо он помогал Думчеву. Ассистент разворачивал образцы и называл вслух какие-то цифры.

Калганов прислушивался и в то же время вглядывался в игру красок, следя за движениями рук Думчева.

— Так! Так! — радостно говорил Калганов. — А теперь не так. Посмотрите!

Очень осторожно, спокойно, тихо и бережно помогал он Думчеву, так трогательно, как помогают ребенку.

Где-то хлопнула дверь, и мне показалось, что в палате стало еще тише. Солнечные пятна медленно двигались по стене. Иногда эти пятна на стене встречались и перекрещивались с новыми, неожиданными красками.

Потом снова в тишине послышались тихие голоса физика и его ассистента. Они очень тихо переговаривались:

— Микроны... цифра... минус... степень... волны... толщина...

А когда они смолкли, тишина стала еще напряженнее.

В траве под окном сильнее застрекотали кузнечики и ящерица подставила свою желто-бурую, всю в черных пятнышках спинку лучу солнца, скользнула, исчезла в траве.

Вдруг легкий ветерок шелохнул занавеску. И по комнате прошел мягкий, влажный, чуть-чуть сырой запах травы. Он скользнул по нашим лицам. И в эту минуту сломалась тишина.

Думчев внезапно приподнялся. Он радостно и светло улыбнулся и посмотрел на нас.

— Вот! Вот! — крикнул он радостно. — Смотрите! Смотрите же!

Перед нами горели и переливались краски в том самом сочетании, как там, в Стране Дремучих Трав.

С помощью Калганова Думчев составил из привезенных образцов то причудливое, живое сочетание красок, что горело на его заборе из хрупкого материала — из крыльев бабочек.

— Вот, вот!.. — повторял Думчев, и глаза его светло и смело глядели на нас.

Физик долго присматривался, что-то подсчитывал и стал диктовать цифры ассистенту. При этом он сказал:

— Закрепите... закрепите... это сочетание, этот узор... Перед нами лились яркие краски, они расцвели палату. Цвета переливались, смешивались, и уже нельзя было отделить один от другого. Цвета застенчивые и робкие переходили в сильные, бодрые; цвета грустные появлялись на миг и туг же иссякали, чтобы превратиться в горячие, торжественные, долгие и величавые.

В тишине разливалась световая музыка, звучала величавая и торжественная, светлая и гордая симфония цветов и красок.

КОНЕЦ